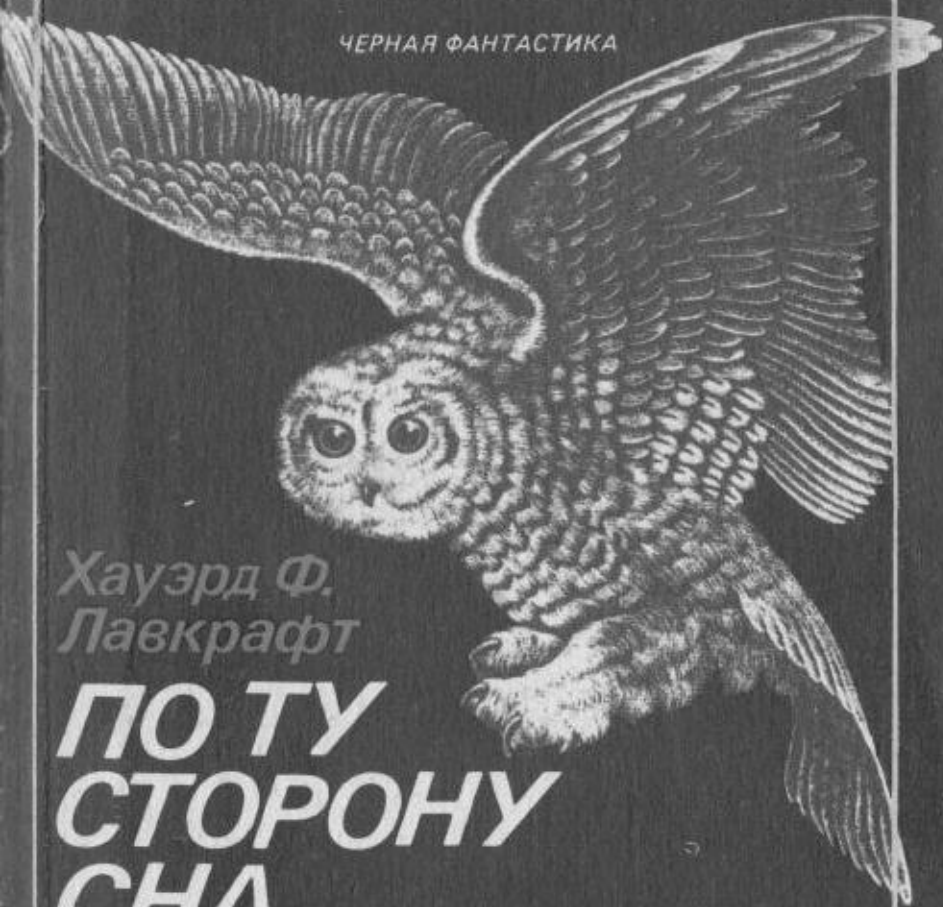


ЧЕРНАЯ ФАНТАСТИКА



Хауэрд Ф.
Лавкрафт

ПО ТУ СТОРОНУ СНА

КОЛЛЕКЦИЯ

ГАРФАНГ



КОЛЛЕКЦИЯ

ГАРРАНГ

После
и рассказы

H.P. Lovecraft
Beyond the wall of sleep



Хауэрд Ф.
Лавкрафт

ПО ТУ СТОРОНУ
СНА

Повести
и рассказы

Перевод с английского В. Бернацкой

Петербург 1991



Составление и перевод В. Бернацкой
Послесловие Е. Головина
Редактор перевода Л. Петрова

СОДЕРЖАНИЕ

По ту сторону сна	5
Затаившийся страх	16
Герберт Уэст — воскреситель мертвых	37
Артур Джермин	68
Кошки Улгара	78
Болото Луны	81
В склепе	89
В стенах Эрика	97
Собака	124
Заброшенный дом	132
Тень над Инсмутом	160
Наследство Пибоди	224
В. Головин. Лавкрафт — исследователь аутсайда	242

Л 13 Лавкрафт Х. Ф. По ту сторону сна. Повести и рассказы. Пер. с англ. В. Бернацкой. — Петербург: Terra Incognita, 1991. — 256 с.

Американский писатель Х. Ф. Лавкрафт (1890—1937) — блестящий мастер черной фантастики, хоррора и литературы «беспокойного присутствия». Не признанный при жизни, он считается ныне классиком этого жанра. Его успех был, так сказать, неизбежен, поскольку сюжетная изобретательность и ощущение тотального ужаса человеческого бытия соединяются у него с великолепной научной эрудицией. Это писатель мрачный и беспощадный, изобретатель новой карты ада, магический географ потустороннего космоса. Американская критика считает его последователем Эдгара По. Насколько это справедливо, пусть рассудит читатель.

ББК 84.4Вл
И (Вл)

- © Перевод В. Бернацкой, 1991
- © Послесловие Е. Головина, 1991
- © Художественное оформление А. Григорьева, 1991

Интересно, задумывается ли большинство людей над могущественной силой сновидений и над природой порождающего их темного мира? Хотя подавляющее число ночных видений является, возможно, всего лишь бледным и причудливым зеркалом нашей дневной жизни — против чего возражал Фрейд с его наивным символизмом, — однако встречаются изредка не от мира сего случаи, не поддающиеся привычному объяснению. Их волнующее и не оставляющее в покое воздействие позволяет предположить, что мы как бы заглядываем в мир духа — мир, не менее важный, чем наше физическое бытие, но отделенный от него непреодолимым барьером. Из своего опыта знаю: человек, теряющий осознание своей земной сущности, временно переходит в иные, нематериальные сферы, резко отличающиеся от всего известного нам, но после пробуждения сохраняет о них лишь смутные воспоминания. По этим туманным и обрывочным свидетельствам мы можем о многом догадываться, но ничего — доказать. Можно предположить, что бытие, материя и энергия не являются в снах постоянными величинами, какими мы привыкли их считать, точно так же пространство и время значительно отличаются там от наших земных представлений о них. Порой мне кажется, что именно та жизнь является подлинной, а наше суетное существование на земле — явление вторичное или даже мнимое.

Именно от подобных раздумий меня, еще молодого тогда человека, оторвали в один из зимних дней 1900—1901 годов, когда в психиатрическую лечебницу, где я работал, доставили мужчину, чей случай вскорости необычайно заинтересовал меня. Из документов явствовало, что его звали то ли Джо Слейтер, то ли Джо Слайдер, на вид он был типичным жителем Катскиллских гор, то есть одним из тех странных, отталкивающего вида существ — потомков старого земледельческого клана, чья вынужденная почти трехвековая изоляция среди скал, в безлюдной местности способствовала постепенному вырождению, в отличие от более удачливых соплеменников, выбравших для поселения обжитые районы. Это своеобразное племя напоминает тех опустившихся обита-

телей юга, которых презрительно именуют «белая рвань», им равно незнакомы законы и мораль, а их интеллектуальный уровень самый низкий в стране.

Джо Слейтера доставили в лечебницу четверо полицейских, заверивших меня, что их подопечный весьма опасен, однако при первом осмотре я не заметил в его поведении ничего пугающего. Хотя он был значительно выше среднего роста и, казалось, состоял из одних мускулов, но сонная, выцветшая голубизна его маленьких слезящихся глаз, редкая и неопрятная светлая борода, тяжело отвисшая, вялая нижняя губа производили впечатление какой-то особой незащитности недалекого человека. Каков был его возраст, не знал никто: там, где он жил, свидетельств о рождении не существовало, так же как и прочных семейных уз, но, учитывая плешь на голове и удручающее состояние зубов, главный врач положил ему сорок лет.

Прочитав медицинские и судебные заключения, мы пришли к определенным выводам о болезни этого человека: бродяга и охотник, он всегда казался своим темным сородичам несколько чужаковатым. Он подолгу спал, а пробуждаясь, часто рассказывал о непонятных вещах в манере столь странной, что вызывал страх даже в сердцах лишенных фантазии соплеменников. Необычным был не язык — свой бред он описывал на примитивном местном наречии, — а тон и окраска речи, которые обретали такую таинственную мощь, что никто не оставался безучастным. Сам он бывал потрясен и озадачен не меньше слушателей, но уже через час после пробуждения всё забывал и снова впадал в тупую безучастность, свойственную жителям этого горного района.

Со временем приступы утреннего безумия у Слейтера участились, становясь все иступленней, пока наконец не произошла — приблизительно за месяц до его появления в лечебнице — та жуткая трагедия, которая и вызвала его арест. Однажды около полудня, очнувшись от глубокого сна, в который он впал после изрядной попойки, имевшей место часов в пять предыдущего дня, Слейтер издал такой душераздирающий вопль, что соседи прибежали к нему в хижину — грязный хлев, где он жил со своими родными, наверняка такими же жалкими людишками, как и он сам. Выбежав из хижины прямо на снег, он, воздев руки, старался подпрыгнуть как можно выше, крича при этом, что ему «надо в большую-большую хижину, где сверкают стены, пол и потолок и откуда-то гремит музыка». Двое крепких

мужчин пытались держать его, но он яростно вырывался с необъяснимой силой маньяка и продолжал кричать, что ему во что бы то ни стало надо найти и убить «эту штуковину, которая сверкает, трясется и хохочет». Свалив вскоре одного из мужчин неожиданным ударом, он набросился на другого в каком-то кровожадном, демоническом экстазе, истошно вопя, что он «допрыгнет до неба, спалив на своем пути все, что будет мешать».

Родные и соседи в панике разбежались, а когда самые смелые вернулись, Слейтера уже не было и на снегу темнело нечто бесформенное, что еще час назад было живым человеком.

Никто из горцев не осмелился преследовать убийцу, возможно надеясь, что он замерзнет в горах. Но несколько дней спустя, тоже утром, они услышали доносящиеся из отдаленного ущелья вопли и поняли, что ему удалось выжить. Следовательно, надо было самим расправиться со злодеем. Тут же снарядили вооруженный отряд, передавший вскоре свои полномочия (трудно сказать, какими они им представлялись) случайно встреченным в этих местах полицейским, которые, наткнувшись на отряд и узнав, в чем дело, присоединились к погонщикам.

На третий день Слейтера обнаружили без сознания в дупле дерева и отвезли в ближайшую тюрьму, где, как только он пришел в себя, его обследовали психиатры из Олбани. Им арестант объяснил все чрезвычайно просто. Однажды, изрядно выпив, он заснул еще до сумерек. Очнувшись, увидел, что стоит с окровавленными руками в снегу перед своим домом, а у его ног — изуродованный труп Питера Слейтера, его соседа. Объятый ужасом, он бросился в лес, не в силах лицезреть то, что могло быть делом его рук. Ничего другого он, по-видимому, не помнил, и даже умело поставленные вопросы специалистов не прояснили сути.

Ту ночь Слейтер провел спокойно и, проснувшись, тоже ничем особенным о себе не заявил, хотя выражение его лица несколько изменилось. Доктору Бернарду, чьим пациентом он стал, показалось, что в светло-голубых глазах появился странный блеск, а обвисшие губы слегка сжались, как бы от некоего принятого решения. Однако на вопросы Слейтер отвечал с прежней безучастностью жителя гор, повторяя то же, что и вчера.

Первый приступ болезни произошел в больнице на третье утро. Сначала Слейтер метался во сне, а затем, проснувшись,

впал в такое бешенство, что лишь усилиями четверых санитаров на него удалось надеть смирительную рубашку. Психиатры, чье любопытство было до крайности возбуждено захватывающими — при всей их противоречивости и непоследовательности — рассказами родных и соседей больного, дружно обратились в слух. В течение четверти часа Слейтер делал отчаянные попытки освободиться, бормоча на своем примитивном диалекте что-то о зеленых, полных света зданиях, о громадных пространствах, странной музыке, призрачных горах и долинах. Но более всего его занимало нечто таинственное и сверкающее, что раскачивалось и хохотало, потешаясь над ним. Это громадное и непонятное существо, казалось, заставляло Слейтера мучительно страдать, и его сокровенным желанием было свершить кровавый акт возмездия. По его словам, он готов, чтобы убить это существо, лететь через бездны пространства, сжигая всё на своем пути. Слейтер повторял это много раз, а потом вдруг замолк. Огонь безумия потух в его глазах, и вот он уже в тупом недоумении смотрит на врачей, не понимая, почему связан. Доктор Бернард освободил больного от пут, и тот провел на свободе весь день, однако перед сном его убедили надеть смирительную рубашку. Слейтер признавал, что иногда немного чудит, но вот почему — объяснить не мог.

На протяжении недели у Слейтера было еще два приступа, но они мало что нового подсказали докторам. Те ломали голову над подоплекой его видений: читать и писать их подопечный не умел, сказок и легенд тоже, очевидно, не знал. Откуда же брались эти фантастические образы? Их внелитературное происхождение выдавала речь несчастного безумца, остававшаяся во всех случаях крайне примитивной. В бреду он говорил о вещах, которых не понимал и о которых не мог толком рассказать; он переживал нечто такое, о чем никогда ранее слышать не мог. Врачи вскорости сошлись на том, что причиной болезни стали патологические сны пациента, необычайно яркие образы которых и после пробуждения владели разумом этого жалкого существа. Дабы соблюсти необходимые формальности, Слейтер предстал перед судом по обвинению в убийстве, был признан сумасшедшим, оправдан и направлен в лечебницу, где я тогда занимал скромное положение интерна.

Как я уже говорил, меня всегда занимала жизнь человека во сне, отсюда понятно нетерпение, с каким я приступил к осмотру пациента, предварительно ознакомившись со всеми

документами. Он, казалось, почувствовал мою симпатию и нескрываемый интерес к нему, оценил и ту мягкость, с которой я его расспрашивал. В дальнейшем он не узнавал меня во время приступов, когда я затаив дыхание внимал его хаотичному рассказу о космических видениях, зато всегда узнавал в спокойные периоды, сидя у зарешеченного окна за плетением корзины и, возможно, тоскуя о навсегда утраченной жизни в горах. Родные его не навещали, они, наверное, нашли другого главу семейства, как это принято у остальных горных племен.

Постепенно я все более восхищался безумным и фантастическим миром грез Джо Слейтера. Сам он был поразительно убог в интеллектуальном и языковом отношении, однако его ослепительные, грандиозные видения, пусть и переданные на бессвязном варварском жаргоне, могли зародиться лишь в особом, высшем сознании. Я часто задавал себе вопрос: как могло случиться, что неразвитое воображение дегенерата с Катскилских гор могло вызвать к жизни картины, отмеченные искрой гения? Как мог неотесанный тушица воссоздать эти блистающие миры, полные божественного сияния и необъятных пространств, о которых Слейтер вещал в безумном бреде? Я всё больше склонялся к мысли, что в жалком человечешке, подобострастно азирающем на меня, таится нечто, выходящее за рамки понимания, как моего, так и моих более опытных, но наделенных скудным воображением коллег.

От самого же больного я не мог узнать ничего определенного. Мне удалось лишь выяснить, что в своем полусне Слейтер бродит, а иногда плавает в неведомых людям пространствах — среди огромных сверкающих долин, лугов, садов, городов, сияющих дворцов. Там он уже был не полудиким вырожденком, а личностью яркой и значительной, чьи деяния исполнены достоинства и величия. Существование ему омрачал лишь некий смертельный враг, который был не похож на человека и обладал хотя и видимой, но нематериальной структурой. Именно поэтому Слейтер и называл его «штуковиной». Эта «штуковина» причиняла Слейтеру чудовишные, непонятного свойства страдания, за которые наш маньяк (если он таковым все же являлся) порывался отомстить.

Из того, что рассказывал Слейтер, я уяснил, что он и «сверкающая штуковина» обладали равной мощью, что сам он во сне тоже был «сверкающей штуковиной» — словом, принадлежал к той же породе, что и его враг. Эту догадку

подтверждали и его частые упоминания о полетах сквозь пространства, когда он сжигал на своем пути все преграды. Эти видения облекались больным в нескладную, совершенно неадекватную форму, что позволило мне прийти к выводу, что в мире его сновидений, если он действительно существовал, общение происходит без помощи слов. Может быть, душа, сопутствуя этому убогому созданию в его снах, изо всех сил пыталась передать ему нечто такое, что не выговаривалось на его примитивном и ограниченном языке? И возможно, я встретился с интеллектуальной эманацией, чью тайну я мог бы раскрыть, если бы нашел способ. Я не поверял свои мысли старым врачам: с возрастом люди становятся скептиками и циниками, с трудом принимая новое. Кроме того, совсем недавно главный врач по-отечески предостерег меня: по его мнению, я слишком много работаю и нуждаюсь в отдыхе.

Я всегда думал, что человеческая мысль в своей основе поток атомов и молекул, который можно представить в виде либо радиоволн, либо лучевой энергии, подобно теплу, свету и электричеству. Эта идея развилась в убеждении, что телепатия, или мысленная связь, может осуществляться с помощью соответствующих приборов. Еще в колледже я собрал приемник и передатчик, напоминающие те громоздкие устройства, которые применялись в беспроводном телеграфе, когда еще не существовало радио. Со своим другом, тоже студентом, я провел ряд ни к чему не приведших опытов, после чего запрятал приборы подальше, вместе с другим учебным хламом, пообещав себе когда-нибудь заняться этим снова.

И вот теперь, охваченный желанием разгадать тайну сна Джо Слейтера, я отыскал эти приборы и провозился с ними несколько дней, готовя для испытаний. Приведя устройство в порядок, я не упускал ни одного случая испробовать его. Как только у Слейтера начинался приступ бешенства, я тут же закреплял передатчик на его голове, а приемник — на своей и, слегка поворачивая рукоятку настройки, пытался отыскать, возможно, существующую волну умственной энергии. Я с трудом представлял себе, в какой форме — в случае успеха — будет усваиваться эта энергия моим мозгом, но не сомневался, что сумею распознать и истолковать ее. Я проводил эти эксперименты, никого не поставив о них в известность.

Это случилось 21 февраля 1901 года. Оглядываясь назад, я отдаю себе отчет в фантастичности случившегося и иногда

задумываюсь, не был ли прав доктор Фентон, приписавший мой рассказ игре больного воображения. Помнится, он выслушал его сочувственно и терпеливо, однако тут же дал мне успокоительное и сделал все, чтобы уже на следующей неделе я смог уйти в полугодовой отпуск.

Той роковой ночью я был до крайности возбужден и расстроен, так как стало ясно, что, несмотря на прекрасный уход и лечение, Джо Слейтер умирает. То ли ему не доставало его родных горных просторов, то ли ослабший организм уже не мог справляться с бурями, сотрясавшими его мозг, но, каковы бы ни были истинные причины, огонек жизни еле теплился в его измученном теле. В тот день он всё время дремал, а с наступлением темноты впал в беспокойный сон.

Против обыкновения я не надел на него смирительную рубашку, решив, что он уже слишком слаб и не может представлять опасности, даже если перед смертью переживет еще один приступ помешательства. Однако я все же закрепил на наших головах провода космического «радио», смутно надеясь получить, хоть в эти последние часы, первое и единственное послание из загадочного мира сна. В палате кроме меня был еще санитар, простоватый парень, ничего не смысливший в моем устройстве и не пытавшийся расспрашивать меня о цели моих манипуляций. Часы тянулись медленно; я заметил, что голова санитара свесилась на грудь, но не будил его. Вскоре я и сам, убаюканный равномерным дыханием здорового человека и умирающего, должно быть, задремал.

Меня разбудили звуки странной музыки. Аккорды, отзвуки, экзотические вихри мелодий неслись отовсюду, а перед моим восхищенным взором открылось захватывающее зрелище неизъяснимой красоты. Стены, колонны, архитравы, как бы наполненные огнем, ослепительно блистали со всех сторон. Я же, находившийся в центре, казалось, парил в воздухе, устремляясь ввысь, к огромному, уходящему в бесконечность своду, великолепие которого я бессилен описать. Рядом с величественными дворцами (а точнее сказать, время от времени вытесняя их в калейдоскопическом вращении) появлялись бескрайние равнины, мирные долины, высокие горы, уютные гроты. Я сам мог прибавлять им очарования: стоило мне подумать о чем-то, что могло украсить их еще больше, и это тут же возникало, вылепляясь по моему желанию из некой сверкающей, легкой и податливой субстанции, в которой

равно присутствовали и материя и дух. Созерцая всё это, я быстро осознал, что во всех восхитительных метаморфозах повинен мой мозг: каждый новый, открывающийся передо мной вид был именно таким, каким хотело видеть мое переменчивое сознание. Я не чувствовал себя чужим в этом раю: мне был знаком каждый его уголок, каждый звук, как будто я обитал здесь и буду обитать вечно.

Затем ко мне приблизилась сверкающая аура моего солнечного собрата, и у нас завязался разговор — душа с душой, бессловесный и полный обмен мыслями. Приближается час его триумфа, скоро он отбросит сковывающую его тленную плоть, навсегда освободится от нее и ринется за своим ненавистным врагом в отдаленный уголок Вселенной, где огнем свершит грандиозное возмездие, которое заставит дрожать небесные сферы. Мы парили рядом, но вот я заметил, как вокруг нас начали меркнуть и исчезать предметы, будто некая сила призывала меня на землю, куда мне так не хотелось возвращаться. Существо рядом со мной, казалось, почувствовало это и стало заканчивать беседу, готовясь к расставанию, однако оно удалялось от меня с меньшей скоростью, чем всё остальное. Мы обменялись еще несколькими мыслями, и я узнал, что у нас со сверкающим братом еще будет встреча, но уже в последний раз. Сдерживающая его жалкая оболочка должна вот-вот распасться, меньше чем через час он будет свободен и погонит своего врага через Млечный Путь, мимо ближних звезд к самым границам Вселенной.

Весьма ощутимый толчок отделял последние картины постепенно затухающего света от моего резкого, сопровождаемого чувством неопределенной вины перехода в состояние бодрствования. Я сидел, выпрямившись на стуле, глядя, как умирающий беспокойно мечется на койке. Джо Слейтер, несомненно, просыпался, хотя, по-видимому, уже в последний раз. Вглядевшись, я заметил, что на его впалых щеках появился отсутствовавший доселе румянец. Плотные сжатые губы тоже выглядели необычно, словно принадлежали человеку с более сильным, чем у Слейтера, характером. Мускулы лица окаменели, глаза были закрыты, но тело конвульсивно сотрясалось.

Я не стал будить санитаря, а, напротив, поправив съехавшие наушники телепатического «радио», ждал последних, прощальных сигналов, которые мог передать мне спящий. Тот же внезапно повернул ко мне голову, открыл глаза, и я остолбенел: катскиллский вырожденец Джо Слейтер

смотрел на меня не прежними выцветшими глазками, а широко распахнутыми огненными очами. В его взгляде не было ни безумия, ни тупости. Никаких сомнений — на меня глядело существо высшего порядка.

В то же самое время мой мозг начал ощущать настоящие сигналы извне. Чтобы лучше сосредоточиться, я закрыл глаза и тут же был вознагражден отчетливо уловленной мною мыслью: «Наконец-то мое послание достигло тебя». Теперь каждая посылаемая информация мгновенно усваивалась мною, и, хотя при этом не использовался ни один язык, мой мозг привычно переводил ее на английский.

«Джо Слейтер умер», — произнес леденящий душу голос, пришедший с той стороны сна. За этим, однако, не последовало то, чего я с ужасом ожидал — страданий, мук агонии, — голубые глаза смотрели на меня так же спокойно, выражение лица было таким же одухотворенным.

«Хорошо, что он умер, он не способен быть носителем космического сознания. Его грубая натура не смогла приспособиться к неземному бытию. В нем было больше от животного, чем от человека, однако только благодаря его невежеству ты узнал меня, ибо космическим и планетарным душам лучше не встречаться. Ведь он в течение сорока двух земных лет ежедневно переживал мучительные пытки.

Я — то существо, каким бываешь и ты сам в свободном сне без сновидений. Я — твой солнечный брат, с которым ты парил в сверкающих долинах. Мне запрещено открыть твоему дневному, земному естеству, кем ты являешься в действительности; знай только, что все мы странники, путешествующие через века и пространства. Спустя год я, возможно, попаду в Египет, который вы зовете древним, или в жестокую империю Тиан Чана, чье время придет через три тысячи лет. Мы же с тобой странствуем в мирах, вращающихся вокруг красной звезды Арктур, пребывая в обличье насекомых-философов, которые горделиво ползают по четвертому спутнику Юпитера. Как мало знает земной человек о жизни и ее пределах! Но больше ему, ради его же спокойствия, и не следует знать.

О моем враге мне нельзя говорить. Вы, на Земле, интуитивно ощущаете его отдаленное присутствие — недаром этот мерцающий маяк Вселенной вы нарекли Алголь, что означает Звезда-Дьявол. Тщетно пытался я вырваться в вечность, чтобы встретиться с соперником и уничтожить его, но мне мешала земная оболочка. Этой же ночью я, подобно

Немезиде, свершу праведное возмездие, которое ослепит и потрясет космическое пространство. Ищи меня в небе неподалеку от «дьявольской звезды».

Я не могу больше говорить: тело Джо Слейтера застывает, его грубый мозг перестает мне повиноваться. Ты был моим единственным другом на этой планете, единственным, кто прозрел меня в этой отвратительной оболочке, лежащей сейчас на койке, и стал искать ко мне путь. Мы вновь встретимся — может, это случится в сияющей туманности пояса Ориона, может, на открытых плоскогорьях доисторической Азии, может, сегодня во сне, который ты под утро забудешь, а может, в каких-то новых формах, которые обретет вечность после гибели Солнечной системы».

На этом импульсы прекратились, а взгляд светлых глаз спящего — или, точнее сказать, мертвеца? — потух. Еще не придя в себя от изумления, я подошел к постели больного и взял его руку — она была холодна и безжизненна, пульс отсутствовал. Впалые щеки вновь побледнели, рот приоткрылся, обнажив омерзительные гнилые клыки дегенерата Джо Слейтера. Я поежился, натянул одеяло на уродливое лицо и разбудил санитаров. После чего ушел из палаты и молча направился в свою комнату, почувствовав внезапную и неодолимую потребность забыться и видеть сны, которые не смогу вспомнить.

А кульминация? Но разве можно требовать от простого изложения событий, представляющих научный интерес, художественной завершенности? Я просто записал некоторые вещи, показавшиеся мне любопытными, вы же можете толковать их по-своему. Как я уже упоминал, мой шеф, старый доктор Фентон, не верит ничему из рассказанного мною. Он убежден, что у меня было сильнейшее нервное переутомление и что я срочно нуждаюсь в длительном оплаченном отпуске; каковой он мне великодушно предоставил. Исходя из своего профессионального опыта, доктор уверяет меня, что у Джо Слейтера был параноидальный синдром, а его фантастические рассказы почерпнуты из народных преданий, существующих даже у самых отсталых сообществ. Что бы он ни говорил, я не могу забыть того, что увидел на небе в ночь после смерти Слейтера. Если вы считаете меня сомнительным свидетелем, то окончательное заключение пусть выведет другое перо, что, возможно, и станет желаемой кульминацией. Позволю себе привести следующее описание звезды *Nova Persei*, сделанное знаменитым астро-

номом Гарретом П. Сервиссом: «22 февраля 1901 года доктор Андерсон из Эдинбурга открыл новую удивительную звезду неподалеку от Алголя. Ранее на этом месте ее не наблюдали. Через 24 часа незнакомка разгорелась настолько, что по своей яркости превзошла Капеллу. Спустя неделю-другую она потускнела, однако на протяжении еще нескольких месяцев ее можно было, хоть и с трудом, различить невооруженным глазом».

ЗАТАИВШИЙСЯ СТРАХ

I. Тень на печке

В ночь, когда я направлялся в заброшенный особняк на Горе Бурь, чтобы понять, что же такое этот затаившийся страх, в небе гревели грозовые раскаты. Я был не один: страсть ко всему сверхъестественному и ужасному тогда еще не сопровождалась тягой к безрассудному риску, которая впоследствии превратила мою жизнь в нескончаемую цепь опасных предприятий и в литературе, и в жизни. Со мной были два преданных и мужественных друга, призванных мною, когда пришла на то пора. Эти люди и раньше сопровождали меня в моих небезопасных вылазках — именно в таких спутниках я нуждался.

Мы покинули селение, соблюдая строжайшую конспирацию, чтобы не привлечь внимания журналистов: те так и кружили вокруг в надежде что-нибудь пронюхать после кошмарных событий прошлого месяца, прозванных ползучей смертью. Впоследствии я жалел, что ускользнул от репортеров — их присутствие могло пригодиться. Прими они участие в нашем походе, мне не пришлось бы так долго хранить одному ужасную тайну из страха прослыть сумасшедшим или рехнуться на самом деле. Теперь, позволив наконец себе выговориться, чтобы не стать законченным маньяком, я жалею, что не сделал этого раньше. Ведь только одному мне известно, что таит в себе эта безлюдная, таинственная гора.

Проехав в автомобиле несколько миль по холмистой, заросшей девственным лесом местности, мы оказались у подножья горы. Во мраке ночи это место выглядело еще более зловещим, чем днем, при обычном теперь стечении любопытствующего народа. Мы с трудом сдерживались, чтобы не включить фары, свет которых мог бы привлечь внимание. Чем-то необычным веяло от этого ночного пейзажа, и мне кажется, я почувствовал бы некую скрытую опасность, даже ничего не зная о случившемся здесь ужасном событии. Никакой живности поблизости не было — звери, как никто, ощущают близость смерти. Старые, иссеченные молниями деревья казались неестественно большими и искривленными, остальная же растительность была на удивление роскош-

ной и обильной. Странные продолговатые холмики и бугры, возвышающиеся над землей, кое-где глубоко взрытой, а кое-где заросшей сорной травой, напоминали своими очертаниями гигантских змей и человеческие черепа.

Страх поселился на Горе Бурь более ста лет назад. Об этом я узнал из газетной статьи о жутком событии, впервые привлечшем внимание к небольшому селению в той части Катскиллских гор, которую датчане цивилизовали лишь слегка, как бы мимоходом, и ушли, оставив после себя несколько теперь уже разрушенных временем особняков и разбросанные тут и там по склонам жалкие лачуги скваттеров. Так называемые нормальные люди редко сюда заглядывали, потом, правда, эти места стали навещать патрули государственной полиции, впрочем, нельзя сказать, чтобы часто. О затаившемся страхе местные жители слышали чуть ли не с самого рождения. Даже выбираясь за пределы родных мест, эти полукровки постоянно толкуют о нем на корявом своем наречии, когда пытаются выменять самодельные корзины на предметы первой необходимости — ведь они не умеют ни стрелять дичь, ни выращивать злаки, ни делать еще что-нибудь путное.

Затаившийся страх угнезвился, по слухам, в уединенном и заброшенном особняке Мартенсов, стоящем на вершине высокого пологого холма, обладающего способностью притягивать к себе грозы и получившего поэтому название Горы Бурь. Уже более ста лет об этом старинном каменном доме, расположенном посреди небольшой рощицы, ходили жуткие слухи. Рассказывали страшные истории об обитающей здесь бесшумной ползучей смерти, выбирающейся на свет божий каждое лето, и о некоем демоне, похищающем во тьме одиноких путников. Иногда он уносил их с собой, а иногда тут же безжалостно загрызал. Понизив голос, скваттеры рассказывали также о кровавых следах, ведущих к уединенному особняку. Некоторые считали, что именно гром вызывает затаившийся страх из его убежища, другие утверждали, что гром — это его голос.

Люди со стороны не верили этим противоречивым рассказам, да и описание самого демона, хоть и было впечатляющим, тоже вызывало сомнения. И все же никто из фермеров и жителей ближайших деревень не сомневался, что в особняке Мартенсов водится нечистая сила. Они упорно стояли на своем, хотя ни один из смельчаков, попытавшихся на месте проверить их полные ужасающих подробностей

рассказы, не нашел в особняке ничего подозрительного. Старухи рассказывали захватывающие истории о призрак Мартенса; упоминалось при этом и само семейство, с его наследственной чертой — разного цвета глазами, и преступные деяния этого рода, которые увенчались неслыханным по коварству убийством, навлекшим на него проклятье.

Лично меня привлекло сюда неожиданное и ужасное подтверждение одной из самых невероятных местных легенд. Однажды летней ночью после необычайно сильной грозы вся округа была разбужена неким фермером, в панике примчавшимся в селение. Вскоре все уже вопило и стонало, несколько не сомневаясь, что на них навигается беда. Никто еще не видел собственными глазами, но по крикам, доносившимся из ближайшей деревушки, все поняли, что ползучая смерть объявилась снова.

Потру жителя поселка вместе с полицейскими и дрожащими от страха скваттерами проследовали к месту бедствия. По деревушке действительно прошла смерть. После сокрушительного удара молнии земля осела, разрушив несколько самых ветхих строений, однако обилие человеческих жертв затмило все материальные разрушения. Из семидесяти пяти человек никто не остался в живых. Развороченная земля смешалась с кровью и частями человеческих тел, на которых были четко видны следы зубов и когтей демона, — но странное обстоятельство: от места этой страшной бойни не вели никакие следы. Полиция пришла к выводу, что здесь побывал некий чудовищный зверь. Теперь уже никто не пытался отнести это загадочное преступление на счет злодейских убийств, обычных в таких примитивных сообществах. Эта версия, правда, возникла снова, когда выяснилось, что среди мертвых отсутствуют останки двадцати пяти человек, но тогда возникал вопрос: как эти двадцать пять сумели погубить вдвое большее число людей? В конце концов порешили, что в ту летнюю ночь кара Господня сошла с небес, оставив после себя мертвую деревушку, усеянную чудовищно изуродованными, в клочья разорванными и растерзанными трупами.

Насмерть уstraшенные люди немедленно связали случившееся с подозрительным домом Мартенсов, хотя до него было свыше трех миль. Полиция отнеслась к этой версии скептически, но все же формальности ради обследовала особняк, ничего там не нашла и потеряла к нему всякий интерес. Крестьяне же, напротив, проявили поразительно усердие: перевернули весь дом, вырубали кусты, а также обследовали

все ближайшие пруды и речушки, прочесали вокруг леса. Но всё впустую — ползучая смерть не оставила никаких следов.

Уже на второй день газетчики проникли об этом кошмарном событии и буквально наводнили Гору Бурь. Они расписали случившееся во всех подробностях, не умолчая и о страшных легендах, рассказанных им сельскими стариками. Занимаясь проблемами сверхъестественного, я внимательно следил за развитием событий и спустя неделю, 5 августа 1921 года, почувствовав, что атмосфера сгущается, прибыл в Леффертс-Корнерс, ближайший к Горе Бурь и району поисков поселок, и остановился в гостинице, прямо-таки кишевшей репортерами. Спустя три недели почти все журналы разъехались, и я со своими друзьями мог начать свое опасное расследование, опираясь и на рассказы очевидцев, и на собственные предварительные выводы.

И вот летней ночью под шум отдаленных раскатов грома, оставив автомобиль у подножья, мы начали восхождение на Гору Бурь. Наконец наши фонарики вырвали из тьмы укрывшиеся среди могучих дубов призрачные серые стены. В неясных проблесках света, лишь изредка раздвигающих черноту ночи, громадное квадратное здание наводило ужас еще больший, чем днем. И все же моя решимость убедиться в правоте своих предположений не поколебалась. Я был убежден, что именно гром вызывает демона смерти из его тайного убежища, и хотел знать, появляется ли он во плоти или же в виде плазмообразного сгустка зла.

Заранее изучив обветшавший дом, я продумал план действия. Местом для наблюдения я избрал комнату Яна Мартенса, об убийстве которого так много говорилось в местных преданиях, интуитивно чувствуя, что жилище этой давней жертвы более всего подходит для моих целей. В этой комнате площадью около двадцати квадратных метров сохранился разный хлам, бывший когда-то мебелью. Комната была расположена на втором этаже южной части особняка, большое окно выходило на восток, окно поменьше — на юг. На обоих не было ставен, не говоря уже о стеклах. Напротив большого окна стояла громадная голландская печь, изразцы которой живо воспроизводили легенду о блудном сыне; напротив маленького — просторное, встроенное в нишу ложе.

Гром, заглушаемый прежде листвою деревьев, здесь гремел вовсю, и я приступил к дальнейшим, предусмотренным мною действиям. Прежде всего прикрепил к карнизу большого

окна три принесенные с собой веревочные лестницы, предвзвешенно убедившись, что они достигают земли. Затем мы втроем приволокли из соседней комнаты массивный остов кровати и приставили его вплотную к окну. Набросав лапник, мы устроились на нем с оружием. Двое дремали, один был на страже. Откуда бы ни появился демон, отступление нам гарантировано. Если он объявится изнутри дома, мы воспользуемся веревочными лестницами, если снаружи — будем отступать по коридорам. Исходя из того, что нам было известно, мы полагали: даже в самом худшем случае демон не станет долго преследовать нас.

Я бодрствовал с полуночи до часу, но потом, несмотря на зловещую атмосферу дома, выбитое окно и приближающуюся грозу, почувствовал непреодолимую сонливость. Я лежал посередине, Джордж Беннет — у окна, а Уильям — ближе к печи. Беннет спал, похоже не совладав с той противоестественной сонливостью, которую испытывал и я. Дежурил Тоби, хотя он тоже клевал носом. Интересно, что всё это время я в полубытьи все-таки не сводил глаз с печи.

Нарастающие раскаты грома, видимо, повлияли на мои сновидения — даже за тот короткий отрезок времени, что я дремал, меня одолевала апокалиптические картины. Разбудил меня сильный удар в грудь — спящий у окна непроизвольно толкнул меня. Еще не совсем проснувшись и не сориентировавшись, спит Тоби или бодрствует, я почувствовал недоброе. Никогда прежде мне не доводилось так отчетливо испытывать почти физическую близость Зла. Все же я забылся опять, но из пучины видений меня вырвал на этот раз истошный, полный отчаяния крик, с которым не могло сравниться ничто из слышанного мною когда-либо.

Казалось, этим криком исторгнуты все потаенные страхи и боль человеческой души, очутившейся у самых врат небытия. Проснулся я в мучительном, волнами накатывающем страхе, с ощущением, что мне глядит в лицо само кровавое безумие с издевательским оскалом сатанизма. Было темно, но пустующее справа от меня место говорило, что Тоби исчез. Тяжелая рука соседа слева все еще лежала у меня на груди.

Раздался оглушительный удар грома, потрясший до основания всю гору, огненная молния проникла в самые укромные уголки развалившихся склепов и расколола надвое старейшину среди скособоченных гигантских дере-

вьев. В зловещем отблеске чудовищной вспышки лежащий рядом резко поднялся. Его тень упала на печь, куда был устремлен мой взгляд. Боже, что я увидел!.. То, что я остался жив и невредим, — необъяснимое чудо. Тень принадлежала не Джорджу Беннету или какому-нибудь другому человеку, а мерзкому чудовищу, восставшему из самых глубин ада, — безмянному, бесформенному и гнусному созданию, которое невозможно представить себе или описать. Через секунду я уже был в комнате один — дрожащий от страха, бормочущий неведомо что. Джордж Беннет и Уильям Тоби безвозвратно пропали, не оставив даже следов борьбы. Больше о них никто не слышал.

II. Прогулка в грозу

После ужасных событий в затерянном среди леса загадочном особняке я долгое время лежал совершенно больной в гостиничном номере, не покидая Леффертс-Корнерс. Не помню, как в ту злосчастную ночь добрал до автомобиля, как завел его, как добрался незамеченным до поселка. В памяти остались только пугающие очертания громадных деревьев, дьявольские раскаты грома и зловещие тени на могилках вокруг жуткого этого места.

Вспоминая с содроганием омерзительную тень, я понимал, что заглянул в глубочайшую, непостижимую бездну — ту, о существовании которой мы можем только догадываться по неясным знакам, доходящим до нас из сокровенных недр бытия. Наше ограниченное восприятие не позволяет нам, к счастью, взглянуть в этот мир пристальнее. Мне трудно понять, чью тень я видел на печи. Кто-то лежал между мной и окном, но, как только я пытаюсь понять, кто это был, меня охватывает ужас. Лучше бы оно зарывало. Или залазало. Или захохотало — всё бы хоть чуть-чуть снялся тот безграничный ужас; но оно молчало. А эта тяжелая рука — или нога? — у меня на груди... Она была живой... или когда-то живой... Ян Мартенс, чью комнату мы заняли, покоится на кладбище неподалеку от дома... Нужно отыскать Беннета и Тоби, если только они живы... Почему он унес их, а не меня? И почему мной овладела тогда такая сонливость, а сны были полны кошмаров?..

Вскоре меня неудержимо потянуло поделиться с кем-ни-

будь пережитым, чтобы не сойти с ума. К тому времени я уже решил, что непременно продолжу поиски затаившегося страха, полагая, в опасном заблуждении, что неопределенность всегда хуже самого страшного знания. Теперь следовало обдумать, кому можно поведать свои злоключения и каким образом выследить то, что похитило двух людей и отбрасывало столь чудовищную тень.

Моиими ближайшими знакомыми в Леффертс-Корнерс оставались общительные журналисты, кое-кто из них еще жил в гостинице, ловя отголоски недавней трагедии. Решив отыскать среди них конфиденнта, я размышлял, кому отдать предпочтение, и наконец остановился на Артуре Манро, смуглом худощавом человеке лет тридцати пяти, чье образование, интересы, ум и темперамент говорили об отсутствии косности и предвзятости.

И вот как-то днем в начале сентября Артур Манро выслушал мою исповедь. С самого начала было видно, что история заинтриговала и даже захватила его, а после завершения рассказа он проанализировал случившееся, проявив изрядный ум и здравый смысл. Более того, совет его — не торопиться и тщательно изучить все исторические и географические свидетельства, связанные с домом Мартенсов, — был чрезвычайно полезен. По его инициативе мы прочесали всю округу в поисках информации о таинственной семье Мартенсов и нашли человека, владевшего некоторыми весьма красноречивыми документами. Мы много беседовали с теми горными жителями, которые не сбежали от всех этих бед в более спокойные районы, а также методично и скрупулезно обследовали места, особенно часто упоминавшиеся в легендах скваттеров.

Первое время результаты наших поисков были неясны для нас самих, хотя при тщательном анализе кое-что вырисовывалось. Самое главное — большинство ужасных событий случалось неподалеку от заброшенного особняка или окружающего его мрачного леса с поразительно обильной растительностью. Исключения, правда, бывали — например, упоминавшееся мною кошмарное происшествие произошло на открытом месте, вдали от особняка и зловещего дома.

Относительно же природы и внешних примет затаившегося страха мы ничего не могли добиться от темных и запуганных обитателей горных хижин. Они называли его то змеем, то великаном, то демоном, прилетающим

вместе с громом, то летучей мышью, то хищной птицей, то шагающим деревом. Из всего этого мы сделали вывод, что это живой организм, очень чуткий к электрическим разрядам, и хотя в некоторых историях ему приписывали крылья, все же его нелюбовь к открытым пространствам говорила за то, что передвигается он по земле. Единственное, что нарушало стройность нашей теории, так это способность существа перемещаться с огромной скоростью: только так оно могло совершить все приписываемые ему деяния.

Узнав скваттеров поближе, мы даже полюбили их. Это были примитивные создания, опускавшиеся все ниже и ниже по эволюционной шкале из-за плохой наследственности и удушающей изоляции от остального человечества. Хотя они побаивались новых людей, но вскоре привязались к нам и очень помогли, когда мы в поисках затаившегося страха разломали перегородки в старинном доме и облазили все заросли вокруг. Они, правда, сразу грустнели, когда мы просили помочь нам отыскать Беннета и Тоби, потому что их собственный опыт говорил им, что жертвы страха исчезают навсегда. Мы же, зная, как много погибло их несчастных земляков, предчувствовали, что на этом дело не кончится, и ждали дальнейшего развоя событий.

Однако до конца октября ничего не случилось, и это весьма озадачивало нас. Стояли тихие, спокойные ночи, видимо, поэтому дремала и злая сила. Ничего не найдя в доме и его окрестностях, мы стали склоняться к мысли, что затаившийся страх — нематериальная субстанция. К сожалению, приход холодов мог сорвать все наши планы: было замечено, что зимой демон ведет себя спокойно. В палатке, которую мы поставили в брошенной деревушке, часто посещаемой страхом, воцарилось беспокойное ожидание.

Эта деревушка с дурной репутацией была безымянной, хотя существовала издавна, приютившись в расщелине между двумя возвышенностями — Коун-Маунтин и Марпл-Хилл. Она стояла ближе к Марпл-Хилл, и некоторые жители построили хижины прямо на склонах этого холма. В двух милях к северу начиналось подножье Горы Бурь, еще через милю — дубрава с укрывшимся в ней заброшенным особняком. Большая часть этого расстояния представляла собой открытую равнину, довольно плоскую, если не считать немногочисленных змеевидных холмиков, поросших

травой. Зная рельеф местности, мы решили, что демон должен появиться со стороны Коун-Маунтин — южный ее склон подходил к западному отрогу Горы Бурь. Мы внимательно обследовали смещения почвы в том районе, где росло высокое дерево, расщепленное молнией в один из визитов демона.

Обследовав раз двадцать самым тщательным образом злосчастную деревушку, мы с Артуром Манро испытали сильное разочарование, к которому примешивался и неопределенный страх. Он был какого-то жуткого свойства — в самом деле, разве не странно, что после таких чудовищных событий не осталось ничего, что могло бы указать на виновника катастрофы! Вот и сейчас мы уныло бродили под мрачным, свинцовым небом, испытывая смешанное чувство необходимости и одновременно бессмысленности наших действий. Наш осмотр и на этот раз был скрупулезнейшим: мы заново обошли каждую хижину, искали на склонах непогребенные тела, обследовали каждую яму, каждую норку — и все безрезультатно. И опять повсюду витал страх, как будто громадный крылатый грифон взирал на нас из космических бездн.

Тучи понемногу сгущались, и мы уже с трудом различали в сумерках отдельные предметы. Вдали слышались раскаты грома — над Горой Бурь собиралась гроза. Наш, понятное дело, охватило волнение, хотя до ночи было еще далеко. Надеясь, что гроза затянется и злая сила как-то себя проявит, мы оставили наши поиски на склоне и направились в сторону ближайшего обитаемого жилища в надежде уговорить скваттеров помочь нам. Наш авторитет заставил нескольких молодых людей преодолеть робость, и они дали согласие следовать за нами.

Но только мы двинулись в путь, как обрушился такой ливень, что какой-нибудь кров стал совершенно необходимым. Тьма сгустилась, да настолько, что мы спотыкались на каждом шагу, и только отдельные вспышки молний да наше доскональное знание местности помогли нам добраться до полуразвалившейся хижины. Это было жалкое сооружение из досок и бревен, чудом сохранившаяся дверь и единственное окно выходили на Марпл-Хилл. Закрыв дверь на засов, мы, наученные нашими помощниками, затворили также и ставни, укрывшись таким образом от дождя и резких порывов ветра. Уныло сидели мы на шатких ящиках в полной темноте, только огоньки трубок

да изредка свет фонарика оживляли гнетущую атмосферу. Время от времени мы видели сквозь щели в стене блеск молний — темнота была столь густой, что их стрелы вырисовывались очень четко.

Это бдение в грозу вдруг напомнило мне незабываемую ночь на Горе Бурь. Поежившись от страха, я в очередной раз задал себе вопрос, на который пока не мог ответить: почему демон из трех сидевших в засаде людей уничтожил двух по краям и оставил того, что был в середине? Почему он так внезапно исчез после электрического разряда чудовищной силы? Почему нарушил последовательность и не забрал меня вторым? Что скрывалось за этим? Может, он знал, что я зачинщик, и готовит мне участь страшнее?

Прервав мои размышления, а вернее, внося в них дополнительный драматизм, все небо прорезала огромная молния, за которой последовал удар грома, сотрясший землю. Одновременно поднялся сильный ветер, его завывания нарастали в зловещем крещендо. Мы были убеждены, что молния вновь ударила в одинокое дерево на склоне Марпл-Хилл, и Манро, поднявшись, подошел к крошечному окошку удостовериться в этом. Ветер и дождь ворвались в открытые им ставни с оглушительным ревом, и я не смог расслышать произнесенных им слов. Проверая, насколько значительны разрушения, он высунулся из окна и замер, как бы вглядываясь во что-то.

Вскоре ветер утих и мрак рассеялся. Буря кончилась. Мои надежды на то, что она продлится и ночью, не оправдались, и, как бы в подтверждение этого, сквозь щели пробился слабый солнечный лучик. Считая, что свет нам не повредит, даже если ливень начнется снова, я снял засов и распахнул грубо сколоченную дверь. Земля снаружи превратилась в сплошное месиво, а ливень приносил со склонов все новые потоки грязи. Однако ничего такого, что объяснило бы, почему мой друг так долго не отходит от окна, я не увидел. Подойдя поближе, я дотронулся до его плеча — он не шевелился. Тогда я шутливо потряс его и повернул к себе... И тут же почувствовал, как меня начинает душить неслыханный ужас, наплывающий откуда-то из глубины столетий, из бездонных краев ночи, существующей во веки веков.

Артур Манро был мертв. А его голова — вернее лицевая ее часть — была изуверски выдета.

III. Что означал ослепительный блеск

В ночь на 8 ноября 1921 года, когда бушевала такая страшная гроза, что казалось, небеса разверзлись, я при тусклом свете лампы раскапывал, сам не зная зачем, могилу Яна Мартенса. Я принялся за дело после обеда, когда понял, что собирается буря, и теперь радовался неистовой стихии, безжалостно рвущей и уносящей с собой столь роскошную в этой местности листву.

Думаю, что после событий 5 августа я несколько тронулся рассудком. Дьявольская тень в особняке, затем страшное нервное напряжение в течение долгого времени, разочарование и, наконец, трагедия в хижине в ту октябрьскую ночь — согласитесь, всего этого многовато для одного человека. И вот теперь я разрывал могилу Мартенса, чтобы понять, почему погиб Артур Манро. Все же остальные, кто, как и я, не могут этого уразуметь, пусть считают, что он где-то странствует. Мы облазили все вокруг, но так и не нашли убийцу. Скваттеры наверняка что-то предполагали, но я, не желая их еще больше запугивать, не говорил с ними об этой смерти. Сам же я очерствел. Шок, пережитый мною в особняке, сказался на моем рассудке, и я думал только о том, как отыскать этот затаившийся страх, выросший в моем сознании до фантазмагорических размеров. Но теперь, помня о судьбе Манро, я поклялся действовать в одиночку.

Один лишь вид раскопанной могилы вывел бы нормального человека из равновесия. Мрачные, старые деревья неестественных размеров и форм склонялись надо мной, как своды нечестивого храма друидов. Гром и зловеющий шум ветра стихали под ними, почти не пропускали они и дождевых струй. За иссеченными молнией могучими стволами вырисовывался в слабых отблесках света контур заброшенного особняка, утопающего в мокром плюше. Немного поодаль был разбит голландский сад, теперь основательно запущенный, его гряды и клумбы сплошь заросли бледной зловонной растительностью, почти никогда не видевшей дневного света. Рядом раскинулось кладбище, все в искривленных деревьях, уродливые ветви которых, казалось, питались ядом от залежавших в неосвященной земле корней. Под густым коричневым слоем листвы, гниющей во мраке этого первобытного леса, я видел то тут, то там пугающие очертания низких надгробий.

Сама история привела меня к этой старой могиле. Исто-

рия — вот что осталось мне после того, как все остальное потонуло в жутком оскале сатанизма. Теперь я считал, что затаившийся страх — не материальная субстанция, а призрачный оборотень, рожденный ночной молнией. Исходя из преданий и документов, раздобытых мной вместе с Артуром Манро, этим призраком мог быть Ян Мартенс, скончавшийся в 1762 году. Поэтому-то я и рылся, видимо бессмысленно, в его могиле.

Особняк Мартенсов был возведен Герритом Мартенсом, богатым купцом из Нового Амстердама, не смирившимся с переменами, которые принесло английское владычество. Он построил это величественное здание на горе, в уединенном лесном районе, приглянувшемся ему своей девственной первозданностью. Единственным существенным недостатком здесь были частые и сильные грозы. Когда Мартенс выбирал место и затем строился, он полагал, что эти природные явления — особенность текущего года, но со временем понял, что ошибся. Убедившись, что грозы неблагоприятно действуют на его сосуды, он выстроил себе подвальное помещение, куда спускался всякий раз с приближением грозы.

О потомках Геррита Мартенса известно еще меньше, чем о нем самом. Они ненавидели все английское и сторонились тех колонистов, которые приняли новые порядки. Их жизнь протекала в строгом уединении, и, по слухам, изоляция плохо сказывалась на их умственных способностях и речи. У всех членов семейства была наследственная особенность — разные глаза: один голубой, другой карий. Их контакты с внешней средой слабели с каждым годом — они даже жен себе брали из собственной челяди. Многочисленные отпрыски семейства стали явными вырожденцами. Одни, спускаясь в долину, смешивались с мстисами и вливались в ту среду, которая поставляла скваттеров. Другие, напротив, не покидали родовое гнездо, мрачно пестуя свою обособленность от остального мира и все чувствительней реагируя на грозы.

Многое о жизни этой семьи стало известно от молодого Яна Мартенса — влекомый беспокойной своей натурой, он вступил в армию колонистов, когда слухи о съезде в Олбани достигли Горы Бурь. Он первым из потомков Геррита повидал мир, и когда спустя шесть лет вернулся домой, то стал объектом ненависти домочадцев, которые смотрели на него как на чужака, хотя у него, как и у всех Мартенсов, были разные глаза. Да и сам он с трудом выносил теперь странный, полный нелепых предрассудков уклад семейства; не вызы-

вали у него былого восторга и грозы в горах. Всё приводило его в уныние, и он часто писал другу в Олбани, что собирается покинуть родной кров.

Весной 1763 года Джонатан Джиффорд, друг Яна Мартенса, живший в Олбани, давно не получая от него писем, забеспокоился, тем более что знал о сложных отношениях и частых ссорах в доме Мартенсов. Решив лично убедиться, что там все в порядке, он отправился верхом в горы. Из его дневника следует, что до Горы Бурь он добрался 20 сентября. Его поразила обветшалость здания, но еще больше — угрюмые разноглазые Мартенсы с их диковатыми, звериными повадками; они-то и поведали ему на ломаном, изобилующем гортанными звуками английском языке, что Ян умер. По их словам, еще прошлой осенью его убило молнией. Похоронили его здесь же, неподалеку от заросшего сорняками сада; хозяева показали гостю и могилу — голый холмик без всякого памятника. Что-то в поведении Мартенсов покорило Джиффорда и вызвало подозрения. Через неделю он тайно вернулся в эти места с лопатой и киркой. Разрыв могилу, он увидел то, что и предполагал: череп его друга был жестоко проломлен в нескольких местах. Вернувшись в Олбани, Джиффорд возбудил против Мартенсов уголовное дело, обвиняя их в убийстве родственника.

Хотя прямых улик неоставало, слухи об убийстве распространились по округе, и с тех пор Мартенсов подвергли ostracismu. Никто не хотел иметь с ними дело, а от самого дома старались держаться подальше, считая его проклятым местом. Мартенсам все же удавалось как-то сводить концы с концами за счет натурального хозяйства, и долгое время об их существовании говорили лишь огоньки, загоравшиеся по вечерам высоко в горах. Со временем они светились все реже, а с 1810 года и вовсе перестали загораться.

Постепенно дом и сама местность вокруг обросли страшными легендами. Напуганные жуткими рассказами, люди обходили его стороной. Так продолжалось до 1816 года, когда скваттеры вдруг спохватились, что огней на горе уже давно не видно. К дому направилась группа добровольцев, которая нашла его пустым и уже изрядно обветшалым.

Отсутствие скелетов и недавних захоронений наводило на мысль, что обитатели не вымерли, а переселились в другое место. Это случилось, видимо, несколько лет назад. Многочисленные пристройки к дому говорили о том, что перед своим исходом семейство Мартенсов было весьма многочис-

ленным. Судя по всему, они совсем опустились, об этом говорили и обшарпанная мебель, и разбросанное столовое серебро, которое, похоже, не чистилось годами. Но хотя ненавистные Мартенсы и ушли, страх, связанный с их домом, остался и даже возрос, а среди жителей гор распространились новые жуткие слухи. Дом же продолжал стоять — заброшенный, вызывающий ужас, прибежище мстительного духа Яна Мартенса, таким он стоял и в ту ночь, когда я разрывал могилу.

Я назвал свое занятие бессмысленным, и оно действительно ни к чему не привело. Гроб Яна Мартенса оказался довольно скоро, но в нем не было ничего, кроме горсти праха. Однако я, одержимый яростной решимостью отыскать его восстающий дух, продолжал все глубже зарываться в землю. Бог знает, что я надеялся увидеть, одно лишь знал: я раскапываю могилу человека, чей дух рыщет вокруг по ночам.

Я копал и копал, не имея представления, какой уже достиг глубины, как вдруг моя лопата, а за ней и ноги провалились под землю. Меня сковал ужас. Существование подземелья подтверждало мои самые сумасшедшие предположения. При падении потухла лампа, но с помощью электрического фонарика я сумел-таки осмотреть узкий подземный ход, расходящийся в две стороны. Мужчина моей компании мог пробираться по нему лишь ползком, и хотя ни один человек, будучи в здравом уме, не решился бы на это, особенно ночью, я, забыв об опасности, не слушая доводов рассудка и не обращая внимания на грязь, опустился на колени, охваченный одним желанием: повстречаться наконец с затаившимся страхом. Решив ползти по направлению к дому, я бесстрашно протиснулся в узкую нору и, извиваясь, быстро пополз вперед в полной темноте, лишь изредка освещая путь фонариком, который держал перед собой.

Не найдется слов, чтобы описать затерянного в глубинах земли человека, описать, как он ползет, извиваясь, царапая комья глины, с удушливым хрипом прокладывает, безумец, путь среди витков ночного мрака, не имея представления ни о времени, ни о последствиях своих действий, не зная ни направления, ни конечной цели. Это за пределами человеческого понимания, но именно так я поступил. Я полз так долго, что забыл свою прошлую жизнь, превратившись, казалось, в существо из темных глубин — крота или червя.

Лишь случайно, после долгого перерыва, я включил фонарик, о котором совсем забыл, и неровная глиняная поверхность уходящей вдаль норы зловеще осветилась.

Некоторое время я полз в одном направлении, теперь уже экономя батарейки, но затем ход резко свернул вверх. И вдруг впереди я неожиданно увидел что-то вроде двух горящих в темноте дьявольских копий моего гаснущего фонарика. Излучаемый ими свет гипнотически подействовал на меня, будя какие-то неясные воспоминания. Я непроизвольно замер, вместо того чтобы отпрянуть. Глаза все приближались. Я не мог различить весь облик существа, которому они принадлежали, зато хорошо видел его когти. Вот это было зрелище! Вдруг над моей головой послышался отдаленный шум. Это был грохот грома, вскоре усилившийся до оглушительных раскатов, — значит, я основательно продвинулся вверх, совсем близко к поверхности. Гром гремел, а глаза всё смотрели на меня с тупой злобой.

Слава Богу, я не знал тогда, что это было, иначе наверняка умер бы от страха. Меня спас гром — один из тех раскатов, которые пробудили эту ужасную тварь: после томительной паузы с невидимых небес обрушился оглушительный удар, сотрясший горы. Такое здесь случалось и раньше, об этом говорили перевернутая земля, глубокие провалы и обнаженная горная порода. Молния с яростью циклопа била в землю прямо над дьявольским подземным ходом, оглушая меня и почти лишая сознания.

Земля сотрясалась и ходила ходуном, я же беспомощно копошился в ней, пока меня не выбросило на поверхность. Я лежал с мокрым от дождя лицом. Картина вокруг была знакомой — крутой юго-западный склон, почти лишенный растительности. Грозовые вспышки, охватывающие пламенем грозовое небо, освещали искореженную землю и то, что осталось от диковинного низкого холма, который прежде, причудливо извиваясь, тянулся сюда от лесистой части горы. Озираясь вокруг, я не мог понять, откуда меня выбросило, как я высвободился из гибельной ловушки? Сумятица в моей голове не уступала хаосу в природе, и когда на южном склоне вспыхнуло ослепительное алое зарево, я еще не осознал, чего мне удалось избежать.

Уяснил это я только два дня спустя, когда скваттеры рассказали мне, что означала та вспышка яркого пламени. Вот тут-то меня охватил настоящий ужас — больше, чем при встрече в подземелье с обладателем страшных глаз и когтей.

Их рассказ мог хоть кого напугать до смерти. В деревушке на расстоянии двадцати миль от того места, где меня выбросило на поверхность, после оглушительного раската грома последовала очередная оргия страха: омерзительного вида существо прыгнуло с искривленного дерева на ветхую крышу одной из хижин. Оно успело сделать свое черное дело, но выбраться на волю не смогло — скваттеры в панике спалили хижину вместе с чудовищем. Как я понял, оно прыгнуло с дерева как раз в тот момент, когда в другом месте земля погребла в себе нечто с ужасными когтями и горящими глазами.

IV. Ужасные глаза

Трудно счесть здоровым человека, который, зная столько, сколько знал я, о зловещих делах, вершавшихся на Горе Бурь, рвался бы туда снова — докопаться, что же за страх затаился там. Тот факт, что по меньшей мере два материальных воплощения страха были к тому времени уничтожены, давал лишь очень слабую гарантию психической и физической безопасности в этом Ахероне многоликого сатанизма, и все же я, несмотря ни на что, возобновил поиски с еще большим рвением.

Узнав два дня спустя после моей опасной подземной встречи с демоническим существом, что в тот самый миг, когда на меня смотрели ужасные глаза, в двадцати милях другое злобное существо готовилось к фатальному прыжку, я пережил очередной приступ неумного страха. Впрочем, сопутствующие ему страстное любопытство и непонятное возбуждение делали этот страх почти сладостным. Так иногда посреди ночного кошмара, когда невидимые силы несут тебя поверх загадочных мертвых городов к оскалившейся пасти Ниса, нет большего блаженства, чем с диким воплем броситься добровольно в ужасный водоворот сновидений и нестись, не думая о разверзшейся впереди бездне. Точно такие же чувства будил во мне таинственный, перемещающийся в пространстве страх Горы Бурь. Открыв, что там обитали два монстра, я ощутил необузданное желание взрыть всю тамошнюю землю, перекопать голыми руками и освободить наконец от смерти, отравляющей каждый ее дюйм.

Я снова поспешил на могилу Яна Мартенса и принялся

рыть на прежнем месте. Однако земля завалила подземный ход, дождь уничтожил все следы моей прежней работы, и трудно было определить, на какой глубине начинается ход. Я предпринял также нелегкое путешествие к хижине, где сожгли смертоносное чудовище, но усилия мои не были вознаграждены. В пепле сохранилось несколько костей, но ни одна из них не принадлежала чудовищу. По словам скваттеров, все ограничилось одной жертвой, но они, очевидно, ошибались: помимо одного хорошо сохранившегося человеческого черепа, я нашел остатки и другого. Хотя многие видели молниеносный бросок чудовища, никто не мог сказать, как оно выглядело, все говорили просто: дьявол. Внимательно осмотрев дерево, на котором оно пряталось, я не нашел ничего подозрительного. Попытался было отыскать возможные следы в темном лесу, но не смог вынести вида уродливых пней и змеевидных корней, зловеще сплетающихся, перед тем как навечно погрузиться в землю.

Затем я еще раз внимательно осмотрел ту брошенную хижину, которую страх посещал чаще всего и где Артур Манро увидел перед смертью нечто его потрясшее, о чем не успел рассказать. Мои предыдущие осмотры, несмотря на все тщание, не принесли осязаемых результатов. Теперь же следовало проверить новую версию: невероятное путешествие под землей убедило меня, что по крайней мере одно из обличий чудовища — подземный монстр. И в памятный день 14 ноября я опять осматривал те склоны Коун-Маунтин и Марпл-Хилл, которые спускались к печально прославившейся хижине, обращая особое внимание на свежие выбросы земли.

День поисков ничего не принес; сумерки застали меня на склоне Марпл-Хилл, я стоял и задумчиво глядел в сторону хижины и Горы Бурь. Роскошный пламенный закат сменился лунным серебристым светом, разлившимся по долине, горным склонам и странным низким холмам, попадавшимся здесь особенно часто. Словом, идиллическая картина. Мне же она была отвратительна: уж я-то знал, что за ней скрывалось. Я равно ненавидел и эту ухмыляющуюся луну, и лицемерную равнину, и гнилостную гору, и эти зловещие холмы. Связанное гнусным союзом с невидимыми силами Зла, всё вокруг, казалось мне, напоено ядом.

Устремив взор на залитую лунным светом землю, я вдруг явственно осознал, что в открывшейся предо мной картине есть некое единство. Незнакомый основательно с

геологией, я все же с самых первых дней заинтересовался частыми в этой местности странными змеевидными холмами. Они располагались вокруг Горы Бурь, и в долине их было меньше, чем на самой возвышенности, где доисторическое оледенение мало препятствовало образованию этих причудливых, фантастических смещений коры. Теперь при свете убывающей луны, отбрасывающей длинные таинственные тени, меня поразило, что углы и линии этой своеобразной системы каким-то образом соотносились с вершиной Горы Бурь. Она, вне всяких сомнений, была центром, откуда во все стороны разбегались лучами эти странные холмы. Дом Мартенсов как бы распустил во все стороны ужасные щупальца... При мысли о щупальцах меня словно подбросило, и тут я впервые подверг критическому анализу свою версию о ледниковом происхождении здешних холмистых складок.

Чем больше я думал, тем менее вероятной представлялась мне эта версия. Мной овладела новая, ужасная и невероятная мысль, подсказанная и формой холмов, и тем, что я увидел под землей. Еще не вполне осознав свое открытие, я бессвязно бормотал, как в бреду: «Боже!.. Ячейки... проклятое место... должно быть, изрешечено сотами... множеством сот... и тогда ночью в особняке... они взяли сначала Беннета и Тоби... тех, кто был ближе... по краям». Не теряя времени, я начал судорожно раскапывать ближайший холм, испытывая отчаяние, страх и одновременно восторг... Так я копал, изредка выкрикивая нечто нечленораздельное, не в силах сдержать обуревавших меня чувств, пока не наткнулся на подземный ход или нору, подобную той, по которой я полз памятной ночью.

Потом я, помнится, бежал с лопатой в руках, бежал, объятый ужасом, по освещенным лунным светом холмистым лужайкам, а затем — по чахлому, призрачному леску, расположенному на крутом склоне, бежал, крича и отдуваясь, перепрыгивая через препятствия, бежал прямо к зловещему особняку Мартенсов. Дальше, помню, копал без всякой системы на развалинах заросшего шиповником подвала, надеясь отыскать центр этой злокачественной опухоли. Помню, как дико я расхохотался, наткнувшись на подземный ход у основания старой печи, где густо рос сочный высокий бурьян, отбрасывающий дикие тени при свете зажженной мною свечи. Я еще не знал, обитает ли кто-нибудь в этом адском улье, таясь и ожидая грома, что-

2

бы выйти наружу. Два монстра уже погибли, может, других и нет? Меня подгоняло острое желание разгадать наконец секрет страха, который, теперь я был убежден, является материальной, органической субстанцией.

Стоя в нерешительности, я размышлял, обследовать ли мне ход самому, прямо сейчас же, прибегнув к помощи электрического фонарика, или отложить поиски и набрать в подмогу группу скваттеров-добровольцев. Вдруг резкий порыв ветра, прервав мои мысли, задул свечу, оставив меня в полной темноте. Лунный свет не проникал в подвал сквозь щели и отверстия в крыше, и тут, охваченный тревожным предчувствием, я услышал леденящие душу раскаты грома, полные для меня теперь нового значения. Повинуясь отчетливо осознанной необходимости спрятаться подальше, я на ощупь пробрался в дальний угол подвала, не сводя, однако, глаз с вырытой рядом с печью ямы. При вспышках молний я мог различать разрушенную временем кирпичную кладку и неестественно пышную растительность. Меня охватили одновременно ужас и любопытство. Что на этот раз вызовет к жизни гроза? Или под землей уже ничего не осталось? После одной ослепительной вспышки я, осмотревшись, перебрался в другое место и спрятался среди особенно густой поросли. Отсюда была хорошо видна яма, сам же я оказался под надежным прикрытием.

Если Провидение будет благосклонно ко мне, то оно вытравит из моей памяти увиденное в ту ночь и даст спокойно дождаться конца моих дней. Ведь стоит мне теперь услышать отдаленный гром, я не могу уснуть и принимаю успокоительное.

Всё началось мгновенно и неожиданно. Демон, напоминающий своим видом крысу, похрюкивая и сопя, вырвался на волю из далеких, неведомых бездн. А вслед, за ним из той же ямы выкатилось множество всякой нечисти, целое сонмище мерзких уродцев — гнусные порождения ночи. Самое извращенное воображение не смогло бы породить ничего подобного. Клубясь, они вылетали из зияющего отверстия — кипящий, бурлящий, бушующий фонтан — и, подобно заразе, мгновенно заполнили всё вокруг. Они лезли через щели наружу и устремлялись далее, неся с собой в проклятые леса ужас, безумие и смерть.

Бог знает, сколько их там было — должно быть, тысячи. Этот нескончаемый поток, который я различал при

слабых вспышках молний, сковал мое сердце страхом. Когда же поток стал редеть, из сплошной массы начали выделяться отдельные особи. Это были уродливые волосатые чертенята, а может, и обезьяны — дьявольские карикатуры на этих уважаемых животных. От их молчания мороз пробегал по коже. Даже когда один из оставших привычно, отработанным приемом ухватил более слабого, чтобы им закусить, даже тогда я не услышал ни звука. Остальные с жадностью набросились на остатки этого безмолвного пиршества. И вот тогда, несмотря на отвращение и страх, любопытство, которое все это время направляло мои поиски, взяло верх. Я вытащил пистолет, и когда последний из уродцев выбрался наружу из неведомого кошмарного мира, пристрелил его под прикрытием грома.

Пронзительный визг... упоение кровавой охотой... мягущиеся тени, преследующие друг друга в ярких коридорах, прорезаемых молниями... бесплотные призраки, калейдоскопические смены омерзительных сцен... лес и в нем патологически пышные, перекормленные дубы, чьи эмеевидные, сплетенные корни тянут неведомые соки из земли, кишачей миллионами дьявольских существ, пожирающих друг друга... замаскированные под холмы щупальца, протянувшиеся из самого центра подземного злокачественного образования... невиданные по силе грозы, бушующие над заросшими плющом мрачными стенами и аркадами, утопающими в пышных зарослях... К счастью, инстинкт привел меня, почти лишившегося от страха чувств, к людям — в мирную деревушку, безмятежно спавшую в мерцании звезд на побледневшем уже небе.

Через неделю я настолько оправился от потрясения, что послал в Олбани за людьми, которым поручил взорвать динамитом дом Мартенсов вместе с вершиной Горы Бурь. Они же должны были уничтожить все подземные ходы под эмеевидными холмами, а также выкорчевать перекормленные дубы с пышными кронами, один вид которых мог повергнуть в безумие. Только после завершения этих работ я стал иногда понемногу спать, хотя с тех пор, зная тайну затаившегося страха, уже никогда не мог спать спокойно. Меня преследовала мысль: а вдруг не вся нечисть погибла? И кто знает, не может ли нечто подобное возникнуть еще где-нибудь? Трудно без страха размышлять о неведомых земных кавернах,

обладая моим знанием. До сих пор я не могу без содрогания видеть колодец или вход в метро... Ну почему доктора не дадут мне какое-нибудь лекарство, чтобы я наконец нормально уснул, почему не успокоят пылающий мозг?

Разгадка тайны, открывшаяся мне во время вспышки, когда я выстрелил в молчаливое, отставшее от других существ, оказалась настолько проста, что прошла по меньшей мере минута, прежде чем я все осознал. Вот тогда-то меня и обуял подлинный ужас. У этого омерзительно-гориллоподобного уродца была сизоватая кожа, желтые клыки и свалывшиеся волосы. Явно предел вырождения — плачевный результат изолированного существования, родственных браков и каннибализма; живое воплощение хаоса и звериного оскала страха, таящихся под землей. Уродец глядел на меня в предсмертной агонии, и его глаза своей необычностью напомнили мне другие, виденные под землей и пробудившие тогда неясные воспоминания. Один глаз был голубой, другой — карий. Именно такими, согласно преданьям, были глаза Мартенсов. И тогда в приступе безмолвного ужаса я понял, что случилось с исчезнувшей семьей, с этим проклятым домом Мартенсов, ввергнутых в безумие громами.

I. Из глубин мрака

О Герберте Уэсте, моем друге в студенческие и все последующие годы, я не могу говорить иначе как с содроганием. Охватывающий меня при этом ужас связан не только со зловещими обстоятельствами его недавнего исчезновения, но и с самим характером его жизнедеятельности. Впервые этот ужас сковал меня более семнадцати лет назад, в бытность нашу студентами третьего курса — мы учились в медицинской школе при Мискатоникском университете в Археме. Пока мы дружили, необычность и демонизм его опытов неудержимо влекли меня, — теперь же, когда его не стало, магия исчезла, а ужас, напротив, возрос. Воспоминания и предчувствия могут быть страшнее жизненных обстоятельств.

Первый ужасный случай, происшедший вскоре после нашего знакомства, стал самым жутким событием в моей жизни, и мне до сих пор нелегко о нем говорить. Как я уже упоминал, мы учились тогда в университете, где Уэст прославился своими безумными теориями о природе смерти и о возможности преодоления ее искусственным путем. В основе его взглядов, над которыми дружно потешался весь преподавательский состав вкупе со студентами, лежало представление о механистической природе жизни: по его мнению, органический механизм после завершения естественных процессов можно заставить функционировать вновь при помощи определенных химических веществ. Во время экспериментов он умертвил бесчисленное множество кроликов, морских свинок, кошек, собак и обезьян, вводя им различные растворы, и стал в колледже притчей во языцех. Несколько раз ему удалось добиться появления признаков жизни, подчас пугающих, у предположительно мертвых животных, но вскоре он понял, что дальнейшее совершенствование метода, если оно возможно, потребует целой жизни. Кроме того, стало ясно: поскольку одинаковые растворы действуют по-разному на различные виды органических тканей, моему другу, дабы наращивать ценность работы, требуются человеческие особи. Именно на этом этапе он вступил в конфликт с профессурой колледжа: проведение дальнейших экспериментов ему запретил не больше не меньше как сам

декан, образованнейший и добросердечнейший доктор Аллен Хелси, чьи добрые дела помнит каждый старожила Архема.

Я всегда терпимо относился к поискам Уэста, и мы часто вместе обсуждали его теории, а также многовариантность вытекающих из них следствий. Соглашаясь с Геккелем в том, что жизнь есть совокупность химических и физических процессов, а так называемая «душа» является мифом, мой друг верил, что успешное воскрешение мертвых зависит в первую очередь от состояния тканей. Если распад еще не начался, то труп, в котором сохранены все органы, можно соответствующими усилиями вернуть жизнь. Уэст понимал, что психическая или интеллектуальная сфера может деградировать из-за особой чувствительности мозговых клеток, для которых даже краткое пребывание в состоянии смерти чревато непредвиденными последствиями. Поэтому он стремился заполучить самые свежие экземпляры, вливая им в кровь свой раствор сразу же после кончины. Именно это обстоятельство вызывало сопротивление профессоров, которые не были уверены, что смерть имела место во всех случаях. Они продолжали придирчиво и дотошно следить за его экспериментами.

Вскоре после наложения запрета на его работу Уэст признался мне, что намерен продолжить опыты втайне, для чего ему потребуются свежие трупы. Было неприятно слушать, как он прикидывает, где и как их доставать, ведь раньше нам об этом заботиться не приходилось. Если в морге отсутствовали трупы, доставать их вменялось в обязанность двум местным неграм, которые исправно этим занимались. В те годы Уэст был хрупким светловолосым юношей, небольшого роста, с тонкими чертами лица, голубыми глазами; он носил очки и говорил тихим голосом. От такого человека жутковато было слышать сравнительные характеристики привилегированного кладбища при церкви Христа и кладбища для бедняков. Первое никак не устраивало Уэста: ведь практически каждый, похороненный там, предварительно бальзамировался.

Вскоре я стал его деятельным и преданным ассистентом, помогая в решении разного рода проблем, касались ли они источника поступления трупов или же поиска подходящего места для наших устрашающих экспериментов. Именно я предложил для этой цели дом на ферме Чепмена, что за Медоу-Хилл, на первом этаже которого мы оборудовали операционную и лабораторию, тщательно занавесив

окна, чтобы скрыть от посторонних глаз наши ночные деяния. Дом стоял в безлюдном месте, в стороне от дорог, но меры предосторожности были все же необходимы, ибо слухи о таинственных огнях в ночи, разнесенные случайными бродягами, могли положить конец нашим занятиям. В случае распросов порешили называть нашу лабораторию химической. Постепенно наше мрачное убежище заполнилось нужным оборудованием, частично закупленным в Бостоне, а частично позаимствованным тайком в университете. Это оборудование тщательно камуфлировалось, и распознать, что к чему, мог только глаз знатока. Мы также заготовили лопаты и кирки, необходимые для будущих захоронений и подвала. В университете мы пользовались кремационной печью, но в нынешних нелегальных условиях доступ к ней оказался закрыт. С трупами всегда было много хлопот, даже с морскими свинками, которых Уэст тайно использовал для опытов в своем гостиничном номере.

Подобно вампирам, мы подстерегали каждую новую смерть, ведь нам подходили не все покойники. Трупам надлежало быть свежими, без всяких искусственных консерваций, желательно не источенными болезнью и, конечно, со всеми жизненно важными органами. Больше всего подходили жертвы несчастных случаев. В течение многих недель нам не попадалось ничего подходящего, хотя мы связывались с моргами и больницами, ведя переговоры якобы по поручению университета и стараясь при этом не вызывать подозрений. Мы узнали, что наш факультет пользуется в таких случаях преимущественным правом, и решили остаться в Археме на все каникулы, когда в колледже занимались только немногочисленные «летние» классы. Наконец нам повезло, случай подвернулся просто идеальный: молодой здоровый рабочий утонул в пруду и уже на следующее утро был похоронен за счет города на кладбище для бедных. Никаких проволочек и никакого бальзамирования. Днем мы отыскали свежую могилу и решили начать работу вскоре после полуночи.

То, чему мы посвящали предутренние часы, было неприятнейшим делом, хотя тогда у нас еще не развился особый ужас перед кладбищами, чему так способствовали дальнейшие события. Мы захватили с собой лопаты и керосиновые лампы (электрические фонарики уже существовали, но их качество было гораздо хуже нынешних). Работа продвигалась медленно. Будь мы поэтами, она могла бы наве-

вать на нас мысли о бренности человеческой жизни, но, будучи учеными, мы ничего, кроме отвращения, не ощущали и испытали большое облегчение, когда лопаты стукнулись о дерево. И вот сосновый гроб был полностью откопан, Уэст съехал вниз, снял крышку, извлек тело и подал его мне. Согнувшись, я перехватил и вытащил труп, а потом мы вдвоем, стараясь, чтобы всё выглядело как прежде, аккуратно засыпали могилу. Нас обоих трясло. Застывший труп с безучастным лицом выглядел ужасно, но мы всё же не ушли до тех пор, пока не уничтожили следы нашего пребывания. Убедившись, наконец, что всё в порядке, мы засунули тело в холщовый мешок и отправились на ферму старика Чепмена.

Лежа на импровизированном операционном столе в старом фермерском доме, наш покойник при свете мощной карбидной лампы выглядел вполне материально и несколько не напоминал привидение. Это был крепкий, ширококостный, явно плебейского типа парень, грубое, без всяких там тонкостей или воображения животное, чьи физиологические процессы были наверняка простыми и здоровыми. Лежа перед нами с закрытыми глазами, он казался скорее спящим, чем мертвым, хотя тщательные тесты карбидной лампы выглядел вполне материально и ни- Мы нашли наконец то, что давно искал Уэст, — мертвого мужчину нужного типа, которому можно ввести раствор, тщательно приготовленный с учетом специфики человеческого организма. Мы были очень взволнованы. Шансов на полный успех почти не предвиделось, особенно мы боялись непредсказуемых и, возможно, ужасных последствий частичного воскрешения. Опасения вызывало состояние мозга и рефлексов нашего подопечного: ведь за время, прошедшее с момента смерти, особо чувствительные церебральные клетки могли разрушиться. Меня же обуревало любопытство относительно того, что принято называть «душой», а при мысли о том, какими тайнами способен поделиться с нами восставший из мертвых, меня охватывало глубокое благоговение. Что мог видеть этот юноша с безмятежным лицом в недостижимых сферах и что, будучи возвращенным к жизни, мог нам поведать? Впрочем, любопытство мое быстро прошло — в основном я разделял материалистические взгляды моего друга. А тот был вполне спокоен и невозмутимо ввел в вену мертвеца значительное количество своего раствора, сразу же перевязав место укола.

Ожидание было мучительным, но Уэст не терял присутствия духа. Время от времени он приставлял к груди покойника стетоскоп, философски перенося отсутствие изменений. Так прошли три четверти часа. Наконец Уэст решительно заявил, что раствор неудовлетворителен, но он сейчас изменит состав и попробует все повторить. А потом уж сиречь наш чудовищный трофей. Еще днем мы вырыли в погребке яму и до рассвета должны были закопать нашего мертвеца: запоры на дверях были крепки, но нас могли увидеть, а прослыть кладбищенскими мародерами все же не хотелось. Впрочем, к следующей ночи труп все равно потерял бы кондицию. И вот, прихватив с собой карбидную лампу, мы перешли в соседнюю лабораторию, оставив нашего молчаливого гостя на столе в полной темноте, и увлеченно занялись составлением нового раствора. Уэст тщательно высчитывал и взвешивал все его компоненты.

Ужасное событие разразилось внезапно. Я переливал какую-то жидкость из одной пробирки в другую, а Уэст что-то грел на спиртовке, которая заменяла нам в этом старом доме газовую горелку. Вдруг из покинутой комнаты раздались страшные крики, чудовищнее которых мы не слышали в своей жизни. Даже если бы сама преисподняя разверзлась, открыв миру смертные муки грешников, адские звуки, доносящиеся оттуда, не могли быть более зловещи, ибо в услышанной нами невообразимой какофонии слились запредельный ужас и безмерное отчаяние воскрешенного существа. Эти звуки не были человеческими — ни один человек не смог бы издать их, и мы, не думая ни о покойнике, ни о лаврах первооткрывателей, бросились к ближайшему окну, как раненые звери. Опрокидывая на ходу склянки, лампы, реторты, мы выпрыгнули наружу и оказались в звездной мгле сельской ночи. Помнится, кричали от ужаса и, спотыкаясь, бежали по направлению к городу. Достигнув городских окраин, мы, однако, постарались принять вид попристойнее — наподобие веселых гуляк, бредущих домой после изрядной попойки.

Мы не расстались, а, добравшись до жилища Уэста, проинтентались с ним до рассвета при зажженных свечах. Немного успокоившись, составили план дальнейших действий и завалились спать, порешив не идти сегодня на занятия. Но на следующую ночь мы также не сомкнули глаз, так как вечером прочли в газете две заметки разных авторов. В первой сообщалось, что на старой ферме Чепмена по

непонятной причине сгорел дом (видимо, из-за опрокинутой лампы). А во втором говорилось, что на кладбище для бедняков кто-то пытался разрыть свежую могилу, делая это, похоже, без помощи лопаты, голыми руками. Последнее сообщение мы отказывались понимать, памятуя, как аккуратно заделали могильный холм.

Даже семнадцать лет спустя Уэст часто оглядывался, жалуясь, что ему слышаться чьи-то шаги. А теперь его больше нет.

II. Демон эпидемии

Хотя минуло уже пятнадцать лет, но я до сих пор не могу забыть то страшное время, когда по Архему, подобно злову африту из Эблиских владений, стал, крадучись, разползаться тиф. В памяти людей то лето осталось как время разгула Сатаны, распростершего свои темные крыла над множеством склепов на кладбище при церкви Христа, мне же оно памятно по событию еще более ужасному. Теперь, когда Герберта Уэста нет больше, я остался единственным свидетелем этого кошмара.

Мы с Уэстом занимались на летних аспирантских курсах медицинского факультета Мискатоникского университета, где мой друг прославился экспериментами по воскрешению мертвых. В научных целях он извел множество мелких животных, но затем его необычную деятельность оборвал наш декан, доктор Аллен Хелси, отнесшийся к этим опытам скептически. Уэст все же в тайне продолжал свои занятия в грязном номере. Однажды ему удалось доставить труп, похищенный на кладбище для бедняков, в заброшенный фермерский дом неподалеку от Медоу-Хилл, но тут с ним произошла жуткая, незабываемая история.

В тот раз я был с ним вместе и видел, как он вводил в неподвижную вену эликсир, способный, по его мнению, восстанавливать жизненно важные химические и физические процессы. Все кончилось плачевно: мы бежали, охваченные ужасом, который впоследствии приписали нервному переутомлению, но Уэст так никогда и не оправился от чувства, что кто-то постоянно за ним следит. Тот труп был недостаточно свеж, а свежесть исходного материала — необходимое условие для восстановления нормальных психических функций. Похоронить мы его не смогли — старый дом сгорел, а ведь

несколько нам было бы спокойнее, будь мы уверены, что он покончил под землей.

После этого случая Уэст на какое-то время прекратил свои опыты, но исследовательский зуд истинного ученого вскоре заставил его обратиться в деканат с просьбой разрешить пользоваться операционной и трупами из анатомического театра. Уэст продолжал считать свою работу необычайно важной. Его просьбы, однако, остались без внимания: доктор Хелси был непреклонен, а другие профессора поддержали своего шефа. В принципиально новой теории воскрешения они не видели ничего, кроме незрелых гипотез молодого энтузиаста, внешний вид которого — хрупкое сложение, светлые волосы, голубые, спрятанные под очками глаза — ничем не выдавал сверхчеловеческую, почти демоническую силу холодного разума, таящегося под заурядной внешностью. С годами он не казался старше, а лишь суровел лицом. А потом в Сефтоне произошло это несчастье, после которого Уэст исчез.

Уэст сражался с доктором Хелси вплоть до окончания учебы, причем вел этот словесный поединок далеко не столь корректно, как наш добрейший декан. Уэст знал свое: ему неразумно и бессмысленно тормозят исключительно важную работу, которую он, конечно, сможет вести и после окончания факультета, но тогда в его распоряжении не будет великолепного университетского оборудования. Для такого юноши, как Уэст, с ярко выраженным логическим складом ума, было непонятно и непереносимо, что старики-консерваторы, упорно не замечая его успешных опытов на животных, отвергают самую возможность воскрешения. Только умудренный опытом человек убедил бы его снисходительней отнестись к уметвенной ограниченности этих ученых мужей — порождению с детских лет въевшегося пуританства; они могли быть мягки, совестливы, подчас добры и дружелюбны, оставаясь при этом узколобыми, нетерпимыми, косными и ограниченными. Время милостиво к этим несовершенным, но возвышенным характерам, единственный порок которых — робость, но в конце концов и их ждет наказание. Их интеллектуальная ущербность — птолемизм, кальвинизм, антидарвинизм, антинишеизм, саббатарианизм и пиетет к законодательству, регулирующему жизнь населения, — делает их комическими фигурами. Несмотря на свои удивительные научные достижения, Уэст был еще совсем молодым человеком и не проявлял должного терпения в отношениях

с добрейшим доктором Хелси и его учеными коллегами. Его раздражение росло вместе с желанием доказать этим добропорядочным туницам свою правоту каким-нибудь необычным, фантастическим образом. Как большинство юнцов, он мысленно вынашивал планы мщения, триумфа и наконец великодушного прощения соперников.

И вот, казалось, из самых глубин преисподней пришла, ослабившись, смертная кара. Мы с Уэстом к тому времени уже закончили учебу, но остались летом поработать в университете и были свидетелями начала этого чудовищного бедствия. Не получив еще врачебных лицензий, мы, однако, уже были дипломированными медиками, и нас тут же начали использовать в этом качестве: число заболевших росло не по дням, а по часам. Ситуация вышла из-под контроля властей, смерти следовали одна за другой, и гробовщики уже не справлялись с работой. Трупы хоронили поспешно, ни о каком бальзамировании и речи не могло быть, даже если умирали важные особы, которых хоронили на кладбище при церкви Христа. Уэст частенько заговаривал о парадоксе ситуации: уйма свежих трупов — и ни один не попал под его нож! Но было не до этого, мы просто валялись с ног от усталости, и огромные физические и психические нагрузки приводили к тому, что мой друг все больше падал духом.

А добродетельные враги Уэста тоже не сидели сложа руки. Факультет был практически закрыт, все преподаватели брошены на эпидемию. Доктор Хелси особенно хорошо показал себя в деле, умело и самоотверженно борясь за жизнь больных даже в самых безнадежных случаях или когда другие врачи отступали из-за страха перед возможным заражением. Меньше чем за месяц бесстрашный декан стал, можно сказать, народным героем, хотя сам он, изнемогая от усталости и нервного истощения, казалось, не замечал своей славы. Уэст не мог не восхищаться мужеством своего оппонента, но именно поэтому хотел, как никогда раньше, доказать ему справедливость своих поразительных теорий. Пользуясь неразберихой, царящей на факультете и в муниципальном отделе здравоохранения, он сумел заполучить тело одного недавно скончавшегося больного, тайком пронес его ночью в анатомичку и на моих глазах ввел ему свой новейший раствор. Покойник открыл глаза, впери в потолок взор, исполненный несказанной муки, а затем снова ушел в небытие, из которого больше его уже ничто не смогло вывести. Недостаточно свеж, сказал Уэст,

жаркий летний воздух не идет им на пользу. Когда мы ежигали тело, нас чуть не застали с полицным, и в дальнейшем Уэст не рисковал больше пользоваться анатомичкой.

В августе эпидемия достигла своего пика. Мы с Уэстом были едва живы от усталости, а вот доктор Хелси действительно скончался, четырнадцатого числа. На скоропалительные похороны декана, состоявшиеся пятнадцатого августа, собрались все его студенты; богатый венок, возложенный ими на гроб, затерялся среди многих других, еще более пышных, присланных влиятельными жителями Архема и муниципалитетом. Похороны доктора стали почти государственным событием — он был широко известен своими благотворительными акциями. После погребения все мы пребывали в подавленном состоянии и вторую половину дня провели в баре, где Уэст, хотя и потрясенный смертью главного противника, распространялся, шокируя присутствующих, о своей пресловутой теории. Постепенно все разошлись — кто домой, кто по делам, что же касается нас, то Уэст твердил, что эту ночь надо «хорошенько запомнить».

Позднее хозяйка Уэста показала при допросе, что, когда около двух часов ночи мы входили в его комнату, с нами был третий, которого мы поддерживали с двух сторон; как она сказала мужу, видать, все трое изрядно набрались за ужином.

Это замечание ворчливой матроны вскоре подтвердилось: около трех часов ночи дом огласили истошные вопли, доносившиеся из комнаты Уэста. Когда выломали дверь, то увидели, что мы оба лежим без сознания на залитом кровью ковре — избитые, исцарапанные, истерзанные, — а рядом разбросаны склянки и хирургические инструменты Уэста. Открытое окно говорило, каким образом скрылся наш обидчик, но многих удивило, как он отважился на рискованный прыжок с третьего этажа. Нашли также странного вида одежду, но Уэлст, придя в себя, объяснил, что она принадлежит не беглецу, а была взята им на бактериологический анализ для выяснения, каким способом передается болезнетворный вирус. Он распорядился немедленно сжечь одежду в нашем просторном камине. Полиции мы заявили, что ничего не знаем о ночном госте. Уэст сбивчиво объяснил, что познакомились мы с ним в каком-то из баров, и он показался нам своим парнем. И я, и Уэст всем своим видом показывали, что относимся к этой истории с юмором и вовсе не настаиваем на розыске нашего драчливого спутника.

Эта же ночь положила начало второму кошмару в Археме, который, на мой взгляд, был ужасней самого мора. На кладбище при церкви Христа произошло зловещее убийство — растерзали сторожа. Убийство было настолько жестоким, что не укладывалось в голове, как мог совершить его человек. Несчастного видели живым уже далеко за полночь, а на рассвете открылась эта жуткая картина. Допросили владельца цирка из соседнего города Болтона, но тот клялся, что ни один зверь не сбежал у него из клетки. Люди, нашедшие тело, заметили, что кровавый след вел к гробнице, а у бетонированного входа в нее обнаружили алую лужицу. Более слабый след вел к лесу, но вскоре терялся.

Следующей ночью, казалось, сами демоны плясали на крышах Архема и безумный, странный вой слышался в шуме ветра. По охваченному лихоманкой городу кралась новая беда, которую некоторые считали пострашнее эпидемии и шепотом называли явлением злого духа. Этот неведомый монстр посетил восемь домов, всюду оставляя за собой красную смерть: на счету у него было семнадцать изуродованных бесформенных трупов. Несколько человек видели его в темноте; по их словам, он был белокожим и напоминал уродливую обезьяну или дьявола в человеческом облике. По останкам можно было предположить, что для утоления голода чудовище частично поедало свои жертвы. Из семнадцати человек четырнадцать были убиты им на месте, а трое скончались в больнице.

На третью ночь группа смельчаков во главе с полицией захватила чудовище в одном из домов на Крейн-стрит, неподалеку от университета. Эта операция готовилась очень тщательно, все ее участники могли входить друг с другом в контакт при помощи переговорных устройств. Поэтому, когда из университетского района сообщили, что кто-то скребется в ставни, все оказались наготове. Благодаря предельной осторожности и предусмотрительности пострадали в операции только двое, в целом поимка прошла на редкость удачно. Монстра не убили, а только ранили и срочно отвезли в местную больницу. Присутствовавшие при этом не могли скрыть смешанного чувства изумления и отвращения.

Ведь это был человек. Несмотря на свой вызывающий мерзение взгляд, обезьянью немоту и дьявольскую жестокость. В больнице ему перевязали рану и отправили в Сефтон, где находилась психиатрическая лечебница. Там он в течение шестнадцати лет бился головой в обитые войлоком стены

палаты, пока не сбежал при обстоятельствах столь ужасных, что лучше о них не вспоминать. Кстати, особенно отвратительной поисковому отряду из Архема показалась тогда в пойманном монстре невероятная, шокирующая схожесть отмытого его лица с просвещенным и самоотверженным мучеником, похороненным всего три дня назад, — с покойным доктором Алленом Хелси, филантропом и деканом медицинского факультета Мискатоникского университета.

Мы с Уэстом испытали особенный ужас и отвращение. Я и сегодня содрогаюсь при одном только воспоминании точно так же, как и тем давним утром, когда забинтованный Уэст пробормотал: «Черт подери! Опять несвежий попался!»

III. Шесть выстрелов в лунном свете

Обычно не разряжают всю обойму, когда достаточно только одного выстрела, но в жизни Уэста многое было необычным. Разве будет, например, свежеспеченный молодой врач скрывать мотивы, которыми он руководствуется при выборе места жительства и работы, как скрывал их Герберт Уэст? Получив дипломы об окончании Мискатоникского университета, мы могли, наконец-то став практикующими врачами, расстаться с бедностью, поэтому приходилось лишь отмалчиваться на расспросы, почему мы так стараемся найти себе дом на отшибе и поближе к кладбищу для бедных.

Подобная склонность к уединению почти всегда имеет свои причины. Мы также не являлись исключением; нас побуждало к этому наше необычное занятие, вернее, дело всей жизни. На первый взгляд мы были рядовыми, но, если копнуть поглубже, за традиционными заботами проступали великие и пугающие цели: смыслом жизни для Герберта Уэста был неустанный поиск тайны бытия в темных и потаенных областях неведомого. Он надеялся найти путь возвращения хладного кладбищенского праха к вечной жизни. Для подобных исследований требовались необычные материалы, включая свежие человеческие трупы, поэтому следовало жить тихо и незаметно, желательно неподалеку от места скромных погребений.

Мы с Уэстом познакомились в университете, где только один я верил в успех его умопомрачительных экспериментов. Постепенно я стал его постоянным ассистентом, и вот теперь, закончив учебу, мы решили держаться вместе. Для двух

врачей непросто найти хорошую практику по соседству, но университетские власти помогли нам, и мы обосновались в Болтоне, фабричном городке неподалеку от Архема, где располагался университет. Болтонские ткацкие фабрики — самые крупные в Мискатоникской долине, и местные врачи не очень-то любят пользоваться их разноязыкий рабочий люд. Мы придирчиво выбирали дом и наконец остановились на обветшалом домишке на краю Понд-стрит, далеко отстоящем от ближайшего жилища. От местного кладбища для бедняков его отделял луг, окаймленный с севера узкой полоской довольно густого леса. Расстояние до кладбища было большим, чем нам того хотелось, но ничего поближе не нашлось: дома, расположенные по другую сторону луга, не относились к фабричному району. Впрочем, все складывалось не так уж плохо: по этой безлюдной местности мы добирались незамеченными до мрачного источника нашего так называемого «сырья». Путь был нельзя сказать чтобы близкий, зато, доставляя наши безмолвные трофеи, мы могли не опасаться любопытных взглядов.

Что удивительно, нашими услугами с самого начала пользовалось немало больных, такая практика удовлетворила бы любого начинающего врача, но для ученых, чьи интересы сосредоточены на совершенно других вещах, она была в тягость. Фабричные нравы не отличались особой мягкостью; частые потасовки и пьяная резня доставляли нам много хлопот. Главным же для нас оставалась наша секретная лаборатория, которую мы оборудовали в подвале, установив в ней длинный стол, сверху освещаемый лампами; там мы частенько после полуночи вливали растворы Уэста в вены покойников с бедняцкого кладбища. Уэст самозабвенно экспериментировал, отыскивая компоненты, которые восстанавливали бы жизнедеятельность организма, прерванную тем, что мы называем смертью, но каждый раз наталкивался на все более немислимые препятствия. Раствор приходилось опять и опять готовить заново: тот, что подходил для морских свинок, исключался для человека, каждый же человек, то бишь покойник, требовал особого подхода.

Годились только свежие трупы, ибо малейшее изменение мозговой ткани делало невозможным полноценное воскрешение. В том-то, собственно, и была вся загвоздка, над этим Уэст бился еще в студенческие годы, когда вел секретные опыты с трупами сомнительной сохранности. Результаты частичного или неполноценного воскрешения были намного ужаснее

наших неудач, и у нас обоих сохранились о них жуткие воспоминания. Мы поняли, что играем с огнем, еще в Археме, после первого зловещего эксперимента на брошенной ферме в Медоу-Хилл. Даже Уэст, этот холодный, белокурый, голубоглазый ученый-автомат, часто признавался, что не может отделаться от неприятного ощущения тайной слежки. Ему чудилось, что за ним постоянно кто-то наблюдает; тут, конечно, сыграли свою роль расшатанные нервы, но еще и неотвязные мысли о том, что по крайней мере один из воскрешенных — плотоядное чудовище из больницы палаты в Сефтоне — до сих пор жив. О судьбе другого — нашего первого подопечного — мы так никогда и не узнали.

В Болтоне нам было легче, чем в Археме, доставать подходящие человеческие экземпляры. Не прошло и недели, как удалось заполучить, почти сразу же после похорон, жертву несчастного случая. На операционном столе этот человек открыл глаза, взгляд его был абсолютно осмыслен, но затем действие раствора прекратилось. В катастрофе он потерял руку — видимо, поэтому наш успех оказался неполным. До января у нас были еще три попытки, одна из которых закончилась полным провалом. В следующий раз мы добились сокращения мышц, а вот третий покойник встал на ноги, приведя нас в содрогание и произнес нечто невразумительное. Затем какое-то время нам не везло: погребения случались редко, а немногочисленные покойники были либо вконец истерзаны болезнью, либо до неузнаваемости изуродованы. Мы вели подробный учет количества смертей и обстоятельств, их вызвавших.

Однажды мартовской ночью нам удалось заполучить покойника еще до похорон. Надо сказать, что, хотя в Болтоне из-за царящих в нем пуританских традиций бокс был запрещен, поединки все же случались. В этих тайных грубых побоищах иногда принимали участие и профессионалы, причем самого низкого пошиба. Той ночью тоже происходил бой, который, как выяснилось, закончился трагически. К нам постучались два перепуганных поляка и шепотом, перебивая друг друга, умоляли пойти с ними к тяжелобольному человеку, прося сохранить визит в тайне. Они привели нас в заброшенный сарай, посреди которого стайка рабочих-эмигрантов теснилась вокруг неподвижного темного тела.

Поединок произошел между Малышом О'Брайеном, неуклюжим увальнем с редким для ирландца крючковатым носом, — парень маячил тут же поодаль, полумертвый от

страха,— и Баком Робинсоном по кличке Гарлемская Сажа. Негра нокаутировали, и даже беглый осмотр показал, что из этого нокаута ему никогда не выйти. На вид он был страшен, горилла, да и только! Его необычно длинные руки хотелось назвать передними лапами, а лицо навевало мысли об ужасных тайнах Конго и о мерной дробі тамтама при зловещем свете луны. При жизни покойник, вероятно, выглядел еще безобразней, но ведь в мире столько уродливого! Присутствующие были охвачены страхом: никто не знал, что случится, если дело откроется и вмешается закон. Трудно передать словами их благодарность, когда Уэст предложил им помочь освободиться от трупа. Я понимал, с какой целью он это делает, и не мог унять дрожь.

Яркий лунный свет заливал бесснежную твердь. Натянув на покойника одежду, мы потащили его по безлюдным улицам и пустырям, придерживая с двух сторон, как уже делали однажды ночью в Археме. К своему дому мы подошли со стороны поля, втащили тело через черный ход, спустили его в подвал и поспешно подготовили все необходимое. Панически боясь полиции, мы подгадали так, чтобы наше путешествие не совпало по времени с ночным полицейским обходом.

Результат наших манипуляций с трупом равнялся нулю. Омерзительный трофей не реагировал ни на один из растворов, вводимых в его черную руку. Не потому ли, что ранее мы имели дело только с белыми? Рассвет неминуемо приближался, и мы поспешили проделать с нашим мертвецом то же, что и с другими, а именно — отволокли его в лес, граничащий с кладбищем, и похоронили в могиле, вырытой настолько глубоко, насколько позволяла промерзшая земля. Пришлось потрудиться над нею не меньше, чем при погребении нашего последнего покойника — того, что поднялся во весь рост и что-то пробормотал. Светя себе фонариками, мы аккуратно засыпали свежевскопанную землю листьями и сухими ветками и ушли в убеждении, что полиция ни за что не отыщет столь тщательно замаскированную могилу, да еще в таком густом и темном лесу.

Однако на следующий день полиция все не шла у меня из головы, так как один из наших пациентов рассказал, что по городу ползут слухи о поединке и покойнике. У Уэста нашелся еще один повод для беспокойства: днем его вызвали к больной и это посещение едва не кончилось трагически. У одной итальянки пропал ребенок, мальчик лет пяти. Он ушел

еще утром и к обеду не вернулся. Мать сходила с ума от волнения, ее и без того слабое сердце явно сдавало. Ее страхи были смешны — мальчишка и раньше частенько пропадал, но итальянские крестьяне очень суеверны, и эту женщину более напугало некое предзнаменование, нежели сам факт исчезновения. К семи часам утра она скончалась, а ее обезумевший от горя муж набросился на Уэста, проклиная за то, что тот не сумел спасти его жену. Он размахивал кинжалом, друзья с трудом удерживали его, и Уэст ушел, сопровождаемый нечеловеческими воплями, ругательствами, проклятиями и обещаниями скорой расправы. Из-за новой беды несчастный, казалось, совсем забыл о ребенке, а тот все не появлялся, хотя приближалась ночь. Хотели начать поиски в лесу, но все близкие хлопотали вокруг покойной и убитого горем мужа. Понятно, что нервы Уэста были натянуты до предела. Мысли о полиции и о безумном итальянце одинаково не давали нам покоя.

Мы легли спать около одиннадцати часов, но сон мой был неглубок. В Болтоне, этом заштатном городишке, полиция работала отменно, и я не мог не понимать, какая начнется кутерьма, если всплывут события предыдущей ночи. Придется распрощаться с врачебной практикой, а то и сесть в тюрьму. Скверно, что по городу расползлись слухи о поединке. После трех часов ночи мне в глаза стал бить лунный свет, но я не опустил шторы, а просто повернулся на другой бок. Тогда-то и послышался шум у черного хода.

Я продолжал лежать в полусне, но вскоре в мою комнату постучал Уэст. Он был в халате и тапочках, в одной руке револьвер, в другой — электрический фонарик. Увидев оружие, я понял, что он больше опасается сумасшедшего итальянца, чем полиции.

«Лучше нам вместе посмотреть, кто там,— прошептал он. — Надо его проучить. Но вдруг это пациент? Есть ведь такие идиоты, что лезут с черного хода».

Мы спустились по лестнице на цыпочках, охваченные двойным страхом: и вполне объяснимым в таких обстоятельствах, и тем неподдающимся разуму, что овладевает нами в роковые предутренние часы. Возня у дверей продолжалась, становясь все громче. Осторожно отодвинув засов, я распахнул дверь. Но как только луна осветила стоящего за дверью человека, Уэст повел себя странно. Не думая о том, что он может привлечь внимание полиции — чего, слава Богу, не произошло благодаря укромному расположению нашего

дома, — мой друг неожиданно, в состоянии крайнего возбуждения, выпустил все шесть пуль в ночного посетителя.

А всё дело в том, что гостем нашим был не итальянец и не полицейский. В призрачном свете луны неясно вырисовывалась огромная бесформенная фигура, какую можно увидеть разве что в кошмарном сне. Иссиня-черный призрак с остекленевшими глазами стоял на четвереньках, весь измазанный землей и запекшейся кровью с налившимися листьями и сухими стеблями. Но самое страшное — из его белоснежных зубов торчала детская ручка.

IV. Вепль мертвеца

Истошный крик одного из наших мертвецов неожиданно вселил в мою душу несказанный ужас перед доктором Гербертом Уэстом, что омрачило последние годы нашей дружбы. Что уж тут говорить, крик, испускаемый покойником, может кого хочешь испугать до смерти, ощущение не из приятных, но я-то привык к подобным штучкам, и мое тяжелое состояние было вызвано особыми обстоятельствами этого дела. Кроме того, как я уже сказал, ужас во мне вызвал совсем не покойник.

Интересы Герберта Уэста, чьим другом и помощником я являлся, выходили за пределы обычных интересов провинциального врача. Поэтому, открывая практику в Болтоне, он поселился в уединенном доме неподалеку от кладбища для бедняков. Надо сказать, его единственной страстью было тайное изучение феномена жизни, ее естественного конца, а также возможностей воскрешения мертвых путем вливания стимулирующих растворов. Для этих мрачноватых экспериментов постоянно требовались свежайшие человеческие трупы, ведь хрупкие мозговые клетки разрушались почти мгновенно, а продолжать опыты на животных было бесполезно. Каждый вид требовал качественно нового раствора. Невозможно счесть всех загубленных им кроликов и морских свинок, однако опыты на них ни к чему не привели. Полного успеха Уэст еще не добился: ему ни разу не удалось раздобыть достаточно сохранного покойника. Он мечтал испробовать свой раствор на теле, из которого только что ушла жизнь, а клетки все целы и готовы воспринять импульс к тому, чтобы снова восстановить свое функционирование.

Чем черт не шутит, а вдруг вторая (искусственная) жизнь, возрожденная такими инъекциями, станет вечной? Вскоре мы, однако, выяснили, что живой человек практически не реагирует на наши вливания. Для создания искусственного движения молекул он должен быть мертв — должен быть трупом, но обязательно свежим.

Эти захватывающие опыты Уэст начал еще в нашу бытность студентами медицинской школы при Мискатоникском университете в Археме, когда мы пришли к убеждению в механистической природе жизни. С тех пор прошло семь лет, но Уэст выглядел все таким же молодым — невысокого роста, чисто выбритый блондин в очках, с тихим голосом. Лишь изредка его голубые глаза загорались холодным огнем, говорившим о крепнущем фанатизме, что неудивительно при столь зловещем характере его деятельности. Наши эксперименты часто заканчивались леденящими душу сценами, весь ужас которых проистекал из неполного воскрешения, когда кладбищенский прах под воздействием различных модификаций нашего эликсира обретал чудовищное, противостественное и бессмысленное подобие жизни.

Помните, один из оживших мертвецов издал душераздирающий крик, другой пришел в страшную ярость, избил до бесчувствия нас обоих и сбежал в состоянии дичайшей необузданности, впоследствии его все же засадили в психушку, третий — мерзкое африканское чудовище — каким-то образом выбрался из неглубокой могилы и тут же совершил зверское убийство, после чего Уэсту пришлось пристрелить его. Все эти неприятности случались из-за того, что нам были недоступны свежие трупы — разум не пробуждался в воскрешенных, и они совершали чудовищные злодеяния. Страшно было подумать, что кто-то из этих монстров все еще бродит на свободе; эта мысль преследовала нас до того самого момента, когда Уэст исчез при таинственных и жутких обстоятельствах. Но в то время, когда в лаборатории, расположенной в подвале уединенного болтонского дома, раздавался тот истошный вопль, о котором я рассказываю, наши страхи значительно уступали желанию достать наисвежайшие трупы. Уэст прямо помешался на этом, и мне иногда казалось, что он плотоядно поглядывает на каждого живого и пышущего здоровьем человека.

В июле 1910 года проблема приобретения мертвецов нужной кондиции, казалось, была решена. Вернувшись из Иллинойса от своих родителей, у которых долго гостил,

я нашел Уэста в несравненно лучшем настроении. Крайне возбужденный, он сообщил мне, что, по всей видимости, решил проблему свежести исходного материала, подойдя к ней с совершенно иной стороны, а именно — искусственного консервирования. Я знал, что Уэст работает над созданием принципиально нового бальзамирующего состава, поэтому сообщение меня не удивило. Однако, когда он посвятил меня во все детали, я никак не мог уразуметь, чем это открытие нам может помочь: к тому моменту, когда мертвецы попадают нам в руки, они уже непригодны для экспериментов и никакое консервирование не улучшит положения. Но Уэст, оказывается, все учел и создал свой бальзам в надежде на будущее: а вдруг к нам попадет тело незахороненного, только что скончавшегося человека? Ведь случилось же подобное несколько лет тому назад, когда после боксерского матча нам досталось тело погибшего в поединке негра. И впрямь судьба оказалась к нам милостива: в подвале у нас уже лежал труп, которому не грозило тление. Уэст не делал прогнозов относительно того, как пойдет процесс воскрешения и можно ли надеяться на пробуждение разума и памяти покойного. Этому эксперименту надлежало стать важной вехой в наших трудах, посему Уэст сберег тело до моего возвращения, дабы и я мог, как обычно, принять участие в захватывающем действе.

Уэст рассказал мне, как ему удалось заполучить последний экземпляр. Это был с иголки одетый мужчина в полном расцвете сил. Приехав в наш город для налаживания кое-каких дел на ткацкой фабрике, он проделал изрядный путь по городу, и когда подошел к нашему дому, чтобы узнать дорогу к фабрике, то был уже изрядно уставшим — сердце так и выпрыгивало из груди. Отказавшись от лекарства, он неожиданно упал замертво.

Уэст не сомневался, что сами небеса ниспослали ему покойника. В краткой беседе незнакомец обмолвился, что о его приезде в Болтон никто не знает, а последующий осмотр карманов мертвеца позволило установить, что прозвучавшая он Робертом Левиттом, прибыл из Сент-Луиса, семьи не имеет и, следовательно, в случае исчезновения никто не будет его разыскивать. Даже если вернуть ему жизнь так и не удастся, все будет шито-крыто. Захороним останки в лесочке между нашим домом и кладбищем — и все тут. Если же, напротив, попытка наша увенчается успехом, то слава наша будет ослепительна и безгранична. Поэтому

Уэст, не раздумывая, ввел незнакомцу в руку бальзам, который должен был сохранить труп в полной свежести до моего приезда. Я сомневался в удачном исходе предприятия, ведь незнакомец, судя по всему, страдал сердечной слабостью, но Уэста это, казалось, не беспокоило. Он рассчитывал добиться на этот раз того, что не удавалось ранее, — пробуждения рассудка и, возможно, воскрешения живого существа в его нормальном облике.

Итак, в ночь на 18 июля 1910 года мы с Гербертом Уэстом стояли в нашей подземной лаборатории и взирали на белое безмолвное тело, распластанное на столе под ярким светом ламп. Бальзам был поистине чудодейственным: труп пролежал целых две недели, однако не застыл и выглядел по-прежнему свежим. Я был в восхищении. Уэст же на всякий случай еще раз убедился в смерти незнакомца, применив нужный тест и напомнив мне о неприменном и тщательном тестировании: животворный эликсир эффективен только в случае полной биологической смерти. Уэст занялся подготовкой к эксперименту, а я молча наблюдал, потрясенный грандиозностью стоявшей перед моим другом задачи. Эта задача была столь сложна, что он взял всё в свои руки, не позволив мне даже прикоснуться к мертвому телу. Сначала он ввел какой-то состав покойнику в запястье рядом с точкой, оставшейся от предыдущего укола. По его словам, состав должен нейтрализовать действие бальзама и расслабить мышцы организма до обычного состояния, тогда животворный эликсир быстро сделает свое дело. Немного спустя, когда по мертвым членам прошла дрожь, Уэст с силой прижал к задержавшемуся лицу мертвеца что-то вроде подушки и держал ее до тех пор, пока тело не перестало сотрясаться. Уэст был бледен, но полон энтузиазма. Он еще несколько раз протестировал своего подопечного и, убедившись в полной его безжизненности, ввел наконец в его левую руку аккуратно отмеренное количество эликсира. Эликсир мы приготовили намного тщательнее, чем прежде, когда продвигались к цели еще на ощупь. Трудно описать перхватывающее дух волнение, с каким мы ждали признаков жизни у этого первого отвечающего всем необходимым условиям покойника. По возвращении к жизни от него можно было ожидать здоровой речи, возможно даже рассказа о том, что он видел по ту сторону бездны.

Уэст был материалистом, не верил в существование души, объяснял работу сознания исключительно физиологическими

причинами и поэтому не ждал никаких откровений от человека, восставшего из мертвых. Я же, допуская, что теоретически он, может быть, и прав, тем не менее ощущал в себе неясные, интуитивные отголоски примитивной веры моих предков и поэтому взирал на труп с некоторой долей благоговения и с мистическим трепетом. Кроме того, я не мог забыть тот ужасный нечеловеческий вопль, который раздался в ночь нашего первого опыта на заброшенной ферме в Археме.

Очень скоро я понял, что на этот раз разочарование не ждет нас. Бледные щеки покойника, а затем и все заросшее светлой щетиной лицо окрасилось румянцем; Уэст, державший руку на пульсе, кивнул мне со значением, а затем затуманилось и зеркальце у губ мертвеца. Последовало несколько судорожных сокращений мышц, дыхание становилось слышнее, грудь вздымалась. Мне казалось, что я различаю движение век. Затем покойник открыл глаза — серые, спокойные и живые, но мысль все еще отсутствовала в них, не было даже любопытства.

Мгновение спустя, наклонившись по странной прихоти к порозовевшему уху, я прошептал несколько вопросов, касавшихся других миров, о которых он, возможно, хранил воспоминание. Пережитый мной позже ужас стер большинство этих вопросов из моей памяти, однако я помню последний, который повторил несколько раз: «Где вы были?» Не знаю, получил ли я ответ на предыдущие, хотя мне кажется, что эти красиво очерченные губы не издали ни единого звука, но когда я задал последний вопрос, губы несчастного зашевелились и он ответил нечто вроде «только теперь», если, конечно, ответ его был сознательным. При этих словах меня охватил восторг: великая цель достигнута — впервые возвращенный к жизни человек осмысленно произнес вразумительные слова. Все случившееся далее не оставляет сомнений: эликсир был приготовлен правильно и действовал, по крайней мере в течение какого-то времени, великолепно — он вернул мертвеца к психической и физической жизни. Но к восторгу, испытанному тогда мною, впервые примешался ужас; нет, я не испугался заговорившего покойника, ужас, который я пережил, породило само деяние, свидетелем которого я являлся, и человек, с которым я вязал свою профессиональную судьбу.

Ведь несчастный, придя в себя и вспомнив последние минуты своего пребывания на земле, с искаженным от муки лицом и с выпученными в испуге глазами выбросил, как

бы защищаясь, перед собой руки и, прежде чем снова и окончательно впасть в беспамятство, истошно выкрикнул слова, которые по сей день звучат в моем больном мозгу: «Помогите! Проклятый белокрысы дьявол, уберите от меня свой шприц!»

V. Кошмар во мраке

Много ходило всяких рассказов об ужасных историях, приключившихся на фронтах мировой войны и не попавших на страницы газет. Некоторые из них доводили меня до полубоморочного состояния, другие заставляли испытывать глубокое тошнотворное отвращение, некоторые же вызвали дрожь и неосознанный порыв оглянуться, не таится ли что в темноте. Но тот ужасный, необъяснимо кошмарный случай, который довелось пережить лично мне, ни в какое сравнение, на мой взгляд, с этими историями не идет.

В 1915 году я служил в чине лейтенанта в канадских войсках, действовавших во Фландрии, и был один из многих американцев, вступивших в гигантскую бойню прежде своего правительства. Я оказался в армии не по собственной воле, а вследствие того, что в ее рядах пребывал человек, чьим бессменным ассистентом я оставался долгие годы. Это был прославленный бостонский хирург доктор Герберт Уэст. Доктор Уэст жаждал применить в великой войне свой хирургический опыт и, как только случай представился, увлек за собой и меня, почти против моего желания. Я надеялся, что война разлучит нас: сотрудничество с Уэстом все больше тяготило меня, однако, когда он, прибыв в Оттаву, получил при содействии друзей чин майора и властно потребовал, чтобы я непременно ассистировал ему и в новых условиях, у меня не хватило духу возразить.

Стремление доктора Уэста попасть на войну вовсе не говорило о его особой воинственности или тревоге за судьбы цивилизации. Этот голубоглазый блондин в очках, все такой же худощавый, так и остался холодным как лед интеллектуалом-роботом. В глубине души он наверняка посмеивался над приступами военного патриотизма, время от времени одолевавшими меня, когда я был готов осуждать безучастный нейтралитет других. Однако в сражающейся Фландрии было нечто, в чем он нуждался и ради чего надел военную

форму. Желания Уэста резко отличались от обычных, свойственных остальному человечеству желаний и были тесно связаны с той областью медицины, которую он тайно разрабатывал, достигнув в ней ошеломляющих и подчас пугающих результатов. Ему требовалось не больше не меньше как постоянно иметь под рукой свежие трупы в разной степени расчленения.

В свежих трупах Герберт Уэст нуждался потому, что занимался проблемой воскрешения мертвых. Эта сторона его деятельности была сокрыта от высокопоставленной клинтуры, сделавшей его имя знаменитым вскоре после нашего приезда в Болтон, но зато хорошо известна мне, его старому другу и единственному ассистенту со времен нашего обучения на медицинском факультете Мискатоникского университета в Археме. Именно тогда он начал проводить свои зловещие опыты — сначала на мелких животных, а потом на человеческих трупах, которые мы добывали самыми немислимыми способами. Уэст изобрел специальный раствор, который вводил трупам в вену, и те, если их не коснулось разложение, реагировали по-разному, но всегда противостоительно. Всякий раз Уэст с трудом подбирал нужную формулу раствора: ведь для каждого организма годился лишь свой, особый состав. Страх одолевал его при воспоминании о неудачах, когда из-за неподходящего препарата или начавшегося трупного разложения возникали монстры. Некоторые из них остались в живых: одного поместили в психиатрическую лечебницу, другие же бродили неизвестно где, и, думая об их возможных, пусть и маловероятных, деяниях, Уэст содрогался от ужаса, с трудом скрывая свою нервозность под привычной маской уверенного в себе врача.

Уэст скоро понял, что гарантией успешных экспериментов служит максимальная свежесть трупа, и начал прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы заполучить нужный материал. В колледже и позднее, когда мы работали врачами в фабричном городке Болтоне, я благоговел перед своим другом, но со временем его методы становились всё жестче, и во мне поселился страх. Мне не нравился тот плотоядный взгляд, который он бросал на живых, пышущих здоровьем людей, а в один кошмарный вечер, когда мы, спустившись в подземную лабораторию, приступили к эксперименту, я узнал, что наш очередной подопечный, попав к Уэсту, был еще жив. Именно тогда Уэсту впервые удалось пробудить в ожившем мертвце проблеск человеческой

мысли, и этот обретенный такой дорогой ценой успех окончательно погубил его.

О том, что он делал в последующие пять лет, я предпочитаю помалкивать. Я не порывал с ним только из страха, хотя был свидетелем сцен столь отвратительных, что человеческий язык отказывается воспроизвести их. Герберт Уэст стал казаться мне личностью еще более зловещей, чем его черное дело. Это случилось после того, как я осознал, что благородное желание ученого продлить жизнь человеку постепенно переродилось у него в нездоровое, отталкивающее любопытство и скрытую некрофилию. Его интерес переродился в извращенный, дьявольский интерес ко всякой, самой чудовищной патологии: он восхищался созданными им чудовищами, которые заставили бы любого нормального человека потерять сознание от страха и отвращения. Словом, за его рафинированной интеллектуальностью, за маской утонченного Бодлера хирургии скрывался мертвенный лик Елагабамуса гробниц.

Опасность он встречал невозмутимо, преступления совершал равнодушно. Кульминацией в его перерождении явился, думаю, тот момент, когда он доказал, что жизнь разума может быть восстановлена, и стал искать новые области применения своей энергии, экспериментируя теперь с отдельными частями человеческого тела. Им овладела совершенно сумасшедшая идея о независимости жизненных свойств органических клеток и нервной ткани в отдельных частях организма, и он даже добился некоторого успеха, поддерживая жизнь в почти вылупившемся детеныше одной странного вида, не поддающейся описанию тропической рептилии. Он стремился разрешить два биологических вопроса: во-первых, могут ли сознание и разумные действия сохраняться без участия головного мозга, с помощью лишь спинного и различных нервных центров, а во-вторых, существует ли между отдельными частями того, что было прежде единым организмом, некая нематериальная, неуловимая связь? Ясно, что при такого рода работе требовалось большое количество свежерасчлененных трупов. За ними-то и отправился на войну Герберт Уэст.

В конце марта 1915 года, как-то ночью, в полевом госпитале неподалеку от линии фронта в Сент-Элуа, произошло фантастическое, незабываемое событие. Даже сейчас я не перестаю задавать себе вопрос: а не было ли все виденное мной дьявольским наваждением? Уэст располагал тогда

личной лабораторией, расположенной в отдельном помещении временного госпиталя. Он получил ее, убедив начальство, что лаборатория необходима для работы над методикой лечения тяжелораненых, считавшихся безнадежными. Там, среди своих кровавых трофеев, он работал как мясник, а я так и не смог привыкнуть к той спокойной сосредоточенности, с какой он сортировал и раскладывал отдельные части человеческих тел. Временами он по-прежнему демонстрировал чудеса хирургического искусства, спасая солдат, но все же его главный, значительно менее филантропический интерес был сокрыт от человеческих глаз. Ему постоянно приходилось искать объяснения тем странным, даже в условиях военной мясорубки, звукам, доносившимся из его лаборатории. Среди этих звуков довольно частыми были выстрелы — привычные на поле сражения, они удивляли в стенах госпиталя. Но ожившие органы не предназначались для длительного функционирования и уж тем более для посторонних глаз. Помимо работы с человеческим материалом, Уэст продолжал свои изыскания мышечной ткани эмбриона рептилии. В ней было проще поддерживать жизнь, и мой друг на время целиком посвятил себя работе с ней. В темном углу лаборатории в необычного вида инкубаторе стоял вместительный бачок с эмбриональной тканью, постепенно росшей в объеме и поднимавшейся в бачке, как тесто, что производило на меня отталкивающее впечатление.

В ночь, о которой я говорю, нам повезло: в лабораторию доставили труп человека, который при жизни отличался прекрасными физическими данными и, кроме того, обладал высокой психической организацией, говорившей об утонченной нервной системе. По иронии судьбы это был тот самый офицер, который помог Уэсту получить данное место и которому предстояло стать нашим помощником. Более того, в прошлом он тайно изучал теорию воскрешения — в значительной степени под руководством Уэста. Сэр Эрик Морленд Клеппем Ли (так его звали) был лучшим хирургом дивизии, майором по званию. Как только слухи о тяжелых боях в районе Сент-Элуа достигли штаба, его срочно направили нам в помощь. Он вылетел на аэроплане, пилотируемом бесстрашным лейтенантом Рональдом Хиллом, но прямо над нами самолет сбили. Ужасная катастрофа произошла у всех на глазах. Хилла искорежило до неузнаваемости; что касается талантливого хирурга, то его голова едва держалась на сухожилиях, тело же осталось неповрежденным. Уэст с жадностью

вцепился в безжизненные останки прежнего своего друга и коллеги. Меня передернуло, когда я увидел, как он, окончательно отделив голову от туловища, поместил ее, чтобы сохранить для дальнейших опытов, в свой дьявольский чан с пухнувшей эмбриональной тканью. Само же обезглавленное тело он оставил на операционном столе. Затем, влив в него новую кровь, он сшил порванные в области шеи вены, артерии и нервные волокна, а ужасное отверстие обшил куском кожи, взятой у неизвестного трупа в офицерской форме. Мне было понятно, чего добивался Уэст: он хотел знать, обнаружит ли этот высокоорганизованный организм, лишенный головного мозга, какие-либо признаки той умственной деятельности, которая так отличала сэра Эрика Морленда Клеппема Ли. Изучавший при жизни теорию воскрешения, он сам стал теперь безжизненным обручком и лежал, как бы предлагая себя в качестве ужасного практического пособия.

Я и сейчас вижу, как Герберт Уэст при мертвенном электрическом освещении вводит свой эликсир в руку обезглавленного тела. Мне трудно описать место действия — тошнота подступает к горлу при одной лишь попытке. Могу сказать только, что в этом помещении поселилось безумие: повсюду — рассортированные части тел, куски плоти просто валялись на скользком полу, образуя кровавое месиво, местами доходящее до щиколоток. А в темном углу булькали в чане чудовищные порождения эмбриональной ткани. Переполнив посуду, они, извиваясь, вытекали из нее, спускаясь прямо к голубовато-зеленому пламени горелки инкубатора.

Уэст еще раз обратил мое внимание на прекрасную нервную систему подопытного организма. Это позволяло многого ждать от эксперимента. Интерес Уэста возрастал, по мере того как в тканях все заметнее становились мышечные сокращения. Он ждал подтверждения своей гипотезы, в которую верил все больше: что сознание, разум и сама личность существуют независимо от головного мозга и что в человеке отсутствует объединяющее начало. По его мнению, человек является лишь механизмом, состоящим из большого количества нервных клеток. В таком механизме каждый орган существует сам по себе. Если бы наш эксперимент удался, то тайну жизни можно было бы перенести в категорию мифа. По телу мертвеца все активнее проходили судороги, и вот уже грудь его начала вздыматься. Мы пожирали его глазами. Руки беспокойно зашевелились, ноги вытянулись, отдельные мышцы сокращались, выкручиваясь при этом

как-то до крайности отвратительно. Затем обезглавленное тело выбросило перед собой руки, этот жест ясно говорил об отчаянии, осмысленном отчаянии, что подтверждало теорию Герберта Уэста. Значит, нервы сохранили память о последнем действии человека, который пытался выбраться из падающего аэроплана.

Что случилось дальше — с точностью сказать не могу. Возможно, это была галлюцинация, вызванная шоком от того, что здание, в котором мы находились, вдруг стало рушиться на наших глазах — начался артиллерийский обстрел, и в него попал немецкий снаряд. Теперь уже до истины не доискаться, ведь мы с Уэстом были единственными свидетелями. Уэст решил для себя, что это всего лишь галлюцинация, но иногда, незадолго до исчезновения, он говорил мне иное: странно ведь, когда сразу обоим чудится одно и то же. Сам по себе этот жутковатый случай был прост, но за ним стояло нечто необъяснимое.

Тело на столе зашевелилось и стало подниматься, ощупывая вокруг себя пустоту. И вот тут раздалось нечто такое, что язык не повернулся бы назвать голосом: слишком ужасен был звук. Впрочем, и это нельзя счесть самым кошмарным, так же как и смысл услышанного нами: «Прыгай, Рональд, прыгай же, ради Бога!» Самым страшным был источник звука.

Он доносился из того самого чана, что стоял в темном углу.

VI. Адские легионы

После исчезновения в прошлом году доктора Герберта Уэста полиция с пристрастием допрашивала меня. Они полагали, что я что-то утаиваю, а может, подозревали и кое-что похуже, но я так ничего и не рассказал им — услышь они правду, все равно не поверили бы. Они знали, что деятельность Уэста носила несколько необычный характер: его будоражащие воображение эксперименты по воскрешению мертвых велись так давно, что слухи о них не могли не просочиться. Однако финал всей этой истории был настолько ошеломляющим, а разразившаяся катастрофа носила столь демонический характер, что даже мне, много повидавшему, казалось, что я брежу.

Долгое время я был ближайшим другом Уэста, его

единственным, посвященным во все тайны ассистентом. Мы познакомились, еще будучи студентами медицины, и я был участником его первых жутковатых опытов. Ему удалось создать раствор, который при введении в вену недавно скончавшегося человека возвращал его к жизни. Подобное занятие требовало изобилия свежих трупов, что приводило иногда к противозаконным действиям. Результаты экспериментов ужасали: Уэст пробуждал к жизни куски омерзительной мертвечины, которая, и ожив, оставалась все той же отвратительной и неразумной плотью. Так повторялось постоянно: ведь для возрождения разума требовалось тело только что испутившего дух покойника, у которого процесс разложения еще не затронул чувствительнейшее вещество мозговых клеток.

Эта бесконечная потребность в свежих трупах и погубила Уэста. Достать их было трудно, и вот в один роковой день он заполучил тело живого и полного сил человека, введя ему сильнодействующий алкалоид, который убил его на месте. Тогда-то и произошел первый удачный эксперимент Уэста — на какое-то время сознание вернулось к покойному, но мой друг заплатил за успех дорогой ценой: душа его омертвела, я уловил это даже по жестокому выражению глаз, порой он оценивающе поглядывал на физически крепких людей, особенно если при этом они отличались тонкой душевной организацией. Со временем, ловя на себе заинтересованный взгляд Уэста, я и сам стал его побаиваться. Люди, не знавшие причин его нового интереса ко мне, заметили мой страх, и после исчезновения Уэста этот факт стал источником нелепых подозрений.

По существу, Уэст был еще больше напуган, чем я: противоестественные деяния превратили его жизнь в сущий ад, он шарахался от каждой тени. С одной стороны, он опасался полиции, но по большей части его страх носил более глубокий и смутный характер и был порожден теми чудовищами, в которых он влил из своего шприца жизнь и которым затем каким-нибудь образом удалось улизнуть. Обычно его опыты заканчивались выстрелом из пистолета, но несколько раз Уэст оказался недостаточно расторопен. Однажды такой монстр сумел как-то выбраться из могилы, вскоре, правда, он снова туда приполз, оставив следы ногтей, разрывавших свежую землю. А один профессор из Архема после воскрешения заделался людоедом, его пришлось отловить и силой засадить в сефтонскую психиатрическую

лечебницу, где он, так и не опознанный властями, в течение шестнадцати лет бился головой о стену. О других опытах Уэста даже затруднительно говорить — в последние годы энтузиазм ученого выродился в нездоровую, эксцентричную манию: все свое мастерство он вкладывал не в воскрешение людей, а в оживление отдельных частей человеческого тела, вживляемых им порой в другие организмы. Ко времени своего исчезновения Уэст уже переступил все границы дозволенного: о его многих, поистине дьявольских, экспериментах нельзя было даже упоминать в печати. Этим переменам в деятельности моего друга очень способствовала мировая война, в которой мы оба участвовали как хирурги.

Говоря, что Уэст испытывал смутный страх перед своими чудовищными творениями, я имел в виду прежде всего двойственную природу этого страха. Частично он проистекал от сознания, что кое-кто из этих безымянных монстров бродит на свободе, а частично — из опасения, что при определенных обстоятельствах они могут быть опасны для него самого. Усугублялась его тревога и отсутствием каких-либо сведений о них. Уэст знал судьбу лишь одного — жалкого узника психиатрической лечебницы. Еще один источник смутных волнений возник после совершенно фантастического эксперимента, который Уэст провел в 1915 году, когда служил в канадских вооруженных силах. В самый разгар сражения он воскресил манора Эрика Морленда Кленема Ли, военного хирурга и своего приятеля, который хорошо знал о наших опытах и мог бы сам участвовать в них. У него была отсечена голова, и Уэст имел возможность проверить свою гипотезу о наличии элементов сознания в туловище. Успех поджидал экспериментатора как раз в ту минуту, когда немецкий снаряд попал в здание, где мы ставили опыты. В движениях ожившего туловища явно присутствовала осмысленность, и, пусть это покажется вам невероятным, мертвец заговорил, хотя звуки членораздельной речи, как мы с отвращением поняли, издала отсеченная голова, лежавшая в темном углу лаборатории. Снаряд подошел, можно сказать, вовремя, хотя Уэст не был до конца убежден, что из-под обломков выбрались только мы двое. Иногда он строил ужасные предположения о том, сколько бед может натворить обезглавленный хирург, умеющий воскрешать мертвых.

Последним местом жительства Уэста был красивый старинный дом, окна которого выходили на кладбище первых поселенцев Бостона. Он остановил свой выбор на этом жи-

ще по причинам чисто символическим: все захоронения на кладбище относились к колониальному периоду и поэтому не представляли интереса для ученого, который нуждался в свежайших покойниках. Расположенная в подвальном помещении лаборатория была выстроена рабочими-иммигрантами; в ней помещалась огромная кремационная печь, в которой быстро и без остатка уничтожались тела, их части, а также искусственные соединения, словом, все то, что оставалось после зловещих экспериментов — безнравственных утех хозяина дома. Рабочие, копая подвал, наткнулись на старинную кирпичную кладку; было ясно, что это ход на кладбище, однако он пролегал так глубоко, что не мог вести ни к какой из известных нам гробниц. Прикинув так и эдак, Уэст пришел к выводу, что ход связан с тайником под склепом семейства Эверилл, последнее захоронение в нем относилось еще к 1768 году. Я присутствовал при осмотре сырых, пропитанных селитрой стен тоннеля, сложенных при помощи одних только лопат и мотыг, и приготовился пережить очередное острое ощущение, сочтя, что мой друг не замедлит покуситься на вековые тайны, сокрытые в гробнице. Но Уэст был уже не тот. Обретенная в последнее время опасливость пересилила природное любопытство, и он, преодолев искуc, приказал рабочим ничего не трогать, а сам ход заложить и заштукатурить. Так этот тайник и оставался, вплоть до той самой ужасной ночи, в тесном соседстве со стенами секретной лаборатории.

Нужно понять, что когда я говорю о деградации Уэста, то прежде всего имею в виду его нравственный, сокрытый от глаз облик. Его внешний вид, напротив, был все тот же: уравновешенный, хладнокровный, худощавый блондин в очках, несколько с возрастом не постаревший — ни годы, ни испытания, казалось, не отразились на нем. Он выглядел невозмутимым, даже вспоминая изрытую ногтями могилу или кровожадное существо, которое царапало и грызло решетки в Сефтоне, только произвольно оглядывался при этом по сторонам.

Тучи сгустились над Гербертом Уэстом однажды вечером, когда мы сидели в нашем общем кабинете. Читая газету, он иногда поглядывал на меня. На одной измятой странице его поразил заголовок — словно когти безымянного чудовища впились в него спустя шестнадцать лет: в сефтонской психиатрической лечебнице, расположенной в пятидесяти милях от нас, произошло событие невероятное и пугающее, оно потрясло местных жителей и озадачило полицию. Рано утром группа неизвестных в полном молчании вошла в лечебницу; один из

них, очевидно, разбудил медицинский персонал. В военной форме, сурового вида, он говорил не разжимая губ, голос его словно бы исходил из большого черного портфеля, который он держал в руках. Его безжизненное лицо было ослепительно красивым, но когда на него упал свет, управляющий чуть не умер со страха: лицо у пришельца было из воска, а глаза — из цветного стекла. По-видимому, он перенес какую-то травму. За ним следовал настоящий гигант, отвратительный гориллоподобный субъект с синюшным лицом, обезображенным непонятной болезнью. Предводитель потребовал, чтобы им выдали привезенного шестнадцать лет назад из Археа монстра с каннибальскими наклонностями, а выслушав отказ, подал своей команде знак, и тут началось нечто несусветное. Дьявольские исчадия крушили все вокруг, избивали и рвали зубами тех служащих, которые не успели скрыться. Они освободили-таки ужасное чудовище и удалились, оставив после себя четыре трупа. Те из пострадавших, которые могли кое-как говорить, не впадая при этом в истерику, клялись, что нападавшие скорее были похожи не на людей, а на роботов, управляемых своим вождем с восковым лицом. Когда наконец подоспела помощь, ни предводителя, ни его безумную команду не удалось разыскать, их и след простыл.

Прочитав эту заметку, Уэст погрузился в глубокую прострацию. Ровно в полночь раздался звонок к двери, чрезвычайно его напугавший. Слуги спали наверху, и открывать дверь пошел я. Позднее я рассказывал полиции, что на улице не было никакого экипажа, а у дверей стояли несколько странного вида субъектов с большим квадратным ящиком, который они внесли в холл. При этом один из них пробормотал каким-то неестественным голосом: «Экспресс подан». Они вышли из дома гуськом и направились, как мне показалось, к старому кладбищу, с которым соседствовал дом. Уэст спустился вниз и стал рассматривать ящик, когда я уже захлопнул за ними дверь. На ящике площадью около двух квадратных футов были написаны адрес и имя Уэста, а также имя и адрес отправителя: Эрик Морленд Клепем Ли, Сент-Элуа, Фландрия. Несомненно, тот самый доктор Клепем Ли, чье обезглавленное тело Уэст оживил шесть лет тому назад во Фландрии и чья отсеченная голова заговорила как раз в тот момент, когда в наш госпиталь попал немецкий снаряд.

Не могу сказать, что Уэст выглядел взволнованным. Его состояние было намного хуже. Он сказал торопливо: «Мне конец, но сначала нужно сжечь вот это». Взяв ящик, мы

понесли его вниз, в лабораторию, прислушиваясь к малейшему шороху. Многого я не помню — неудивительно, если учесть обстановку, — но заявляю категорически: тело самого Герберта Уэста я не сжег, это чудовищная ложь. Вдвоем мы заперли ящик в печь, так и не открыв его, закрыли заслонку и включили электричество. Из ящика не донеслось ни единого звука.

Уэст первым заметил, как со стены, за которой проходил подземный ход, посыпалась штукатурка. Я хотел было убежать, но он остановил меня. На моих глазах в стене образовалась дыра, из которой пахнуло ледяным холодом могилы и гнилостным запахом тления. В полной тишине отключился свет, и в отверстии, на фоне фосфоресцирующей преисподней, стали видны некие молчаливо трудившиеся существа, которые могла создать только извращеннейшая из фантазий. Некоторые своими очертаниями напоминали людей, другие напоминали их лишь частично, третьи вообще не напоминали ничего. Более разношерстную компанию трудно было себе представить. Они безмолвно — камень за камнем — разбирали замурованную стену. Когда отверстие стало достаточно большим, один за другим они вошли в лабораторию во главе с вожаком, чья несравненной красоты голова была вылеплена из воска. Следовавшее за ним чудовище, во взгляде которого светилось безумие, набросилось на Уэста. Тот не сопротивлялся и не издал даже звука. Тут все они подскочили к нему и прямо у меня на глазах разорвали на куски, которые и унесли с собой в свой отвратительный подземный мир. Воскоголовый вожак в форме офицера канадской армии нес его голову. В голубых глазах моего друга навсегда застыл ужас.

Слуги нашли меня утром без сознания. Уэст исчез. В печи обнаружили непонятного происхождения пепел. Полицейские допрашивали меня, но что я мог сказать? Они не усматривали связи между сефтонской трагедией и исчезновением Уэста, не верили в ночной приход людей с ящиком. Я рассказал им о подземном ходе, но они со смехом указали мне на неповрежденную стену. Тогда я замолчал. Они решили, что я либо сумасшедший, либо убийца. Может, я и правда сошел с ума. Но этого не произошло бы, не будь эти дьявольские отродья такими молчаливыми.

I.

Жизнь — страшная штука, а по отдельным дьявольским намекам, доходящим до нас из пучины неведомого, мы можем догадываться, что на самом деле все обстоит в тысячи раз хуже. Наука со своими шокирующими открытиями не только не принесла человечеству счастья, но, возможно, станет даже его убийцей. Однако есть ли такое понятие — человечество? Ведь желание во что бы то ни стало утаить сокрытое зло никак не могло родиться в разуме смертного. Если бы мы знали, кем являемся на самом деле, то постыпили бы как сэр Артур Джермин, однажды вечером обливший себя горячей смесью и поднесший к одежде спичку. Никто так и не собрал в урну его прах и не поставил памятник на могилу: найденные после него документы и некий заключенный в ящик предмет настолько всех потрясли, что эту смерть постарались поскорее забыть. Те же, кто знал его близко, никогда о нем не говорили.

Артур Джермин ушел на болото и сжег себя, после того как извлек и рассмотрел привезенный из Африки предмет. Именно из-за этого предмета, а вовсе не из-за своей необычной внешности он покончил с собой. Многим не понравилось бы жить с таким лицом, но Артур Джермин спокойно уживался с ним — ведь он был поэт и ученый. Страсть к науке была у него в крови, ведь его прадедушка, сэр Роберт Джермин, был известный антрополог, а прапрадедушка, сэр Уейд Джермин, одним из первых исследовал бассейн реки Конго и со знанием дела описал его племена, животный мир и возможную прансторию. Научный энтузиазм сэра Уейда граничил поистине с сумасбродством, и когда были опубликованы материалы его исследований некоторых районов Африки, то эксцентричные предположения автора о существовании в доисторические времена в Конго белой цивилизации вызвали много насмешек. В 1765 году этого бесстрашного путешественника поместили в психиатрическую лечебницу города Хантингдона.

Безумие жило во всех Джерминах, к счастью, этот род был малочислен. В его генеалогическом древе отсутствовали побочные ветви — Артур был последним представителем

рода. Трудно сказать, что сделал бы он, увидев предмет, будь у него родственники. Джермины никогда не отличались приятной наружностью — чего-то в их облике для этого не доставало, — но Артур превзошел в безобразии всех. Впрочем, по старинным семейным портретам, висевшим в родовом поместье Джерминов, можно было заключить, что до сэра Уейда в семье встречались и вполне благообразные люди. Безумие тоже вошло в семью с сэром Уейдом, чьи бредовые рассказы об Африке приводили его друзей равно и в восторг, и в ужас. Взять хотя бы необычную коллекцию, привезенную им из Африки, — разве не позволяла она усомниться в его нормальности? А тот факт, что никому ни разу не довелось увидеть его жену? По словам сэра Уейда, она была дочерью португальского торговца, встреченного им в Африке, и не любила европейских обычаев. Он привез ее вместе с родившимся в Африке сыном из своего второго, самого продолжительного путешествия. Из третьего же, и последнего, жена не вернулась. Никто так никогда и не видел ее вблизи, даже служанки, но, по слухам, нрав у нее был свирепый. Во время своего непродолжительного пребывания в мужнином семейном замке она жила в отдаленном крыле, где ее навещал один только супруг. Стремление к семейному уединению было развито у сэра Уейда до такой степени, что, вернувшись из Африки, он никому, кроме негритянки из Гвинеи, довольно неприятного вида, не позволял ухаживать за маленьким сыном. После смерти леди Джермин он целиком посвятил себя заботам о мальчике.

Но сумасшедшим сэр Уейд прослыл все-таки из-за своих завиральных идей. В таком рациональном веке, как восемнадцатый, образованному человеку не следовало бы рассказывать о диких зрелищах и фантастических сценах, разыгрывавшихся под конголезской луной, о высоких, полуразрушенных и заросших диким виноградом стенах и башнях заброшенного города, о сырых каменных ступенях, ведущих во мрак гробниц, наполненных сокровищами, о запутанных подземных ходах. Особенно шокировал всех его бредовый рассказ о существах, населяющих город. По его словам, они напоминали и обитателей джунглей, и потомков древней языческой цивилизации. Их причудливый облик озадачил бы самого Плиния. Эти существа возникли, возможно, после того, как гигантские обезьяны захватили приходящий в упадок город — вместе с его стенами и башнями, склепами и таинственным резным орнаментом.

После своего окончательного возвращения сэр Уейд стал разглаживать обо всех этих вещах с совершенно неподобающим пылом — обычно после третьего стакана вина в трактире «Голова рыцаря». Он похвалялся, что отыскал в джунглях нечто такое, чего никто никогда не видел, и рассказывал, как жил там среди никому не ведомых развалин. Об аборигенах же он говорил теперь такие несуразности, что его быстренько упрятали в сумасшедший дом. Оказавшись за решеткой больничной палаты, этот джентльмен, казалось, не сокрушался о своей судьбе — так сильно он к той поре переменялся. По мере того как выросл сын, сэр Уейд все меньше любил свой замок и наконец прямо-таки его возненавидел. Родным домом ему стала «Голова рыцаря». Попав же в лечебницу, он как будто даже испытывал благодарность за заботу о нем. Спустя три года он умер.

Филип, сын сэра Уейда, отличался большими странностями. Внешне он чрезвычайно напоминал отца, однако облик его и поведение были настолько грубы, что многих приводили в трепет. Его старались избегать. Хотя он и не унаследовал отцовского безумия, чего многие боялись, зато был определенно глуп и, кроме того, время от времени впадал в приступы необъяснимой ярости. Небольшого роста, он был очень силен и необычайно ловок. Через двенадцать лет после получения титула Филип женился на дочери своего егеря, по происхождению цыгана, а перед самым рождением сына ушел на флот простым моряком, чем только подтвердил свою плохую репутацию. Рассказывали, что после окончания Войны за независимость он служил на торговом корабле, везшем груз в Африку, но исчез незадолго до того, как судно отчалило от берегов Конго.

В сыне сэра Филипа Джермина наследственные черты обернулись странной, фатальной стороной. Высокого роста, довольно привлекательный, несмотря на некоторую странность пропорций, с загадочной восточной грацией во всем своем облике, Роберт Джермин уже в самом начале сознательной жизни проявил себя как ученый и исследователь. Он первый изучил с научным пристрастием крупную коллекцию редкостей, привезенную его сумасшедшим дедом из Африки, а также прославил родовое имя в области этнологии, подобно тому как его предок сделал это в географии. В 1815 году сэр Роберт женился на дочери седьмого виконта Брайтхолма и имел в этом браке трех детей, из которых старший и младший никогда не показывались на людях по

причине физических и душевных изъянов. Удрученный этими печальными семейными обстоятельствами, ученый нашел утешение в работе, совершив две продолжительные экспедиции в центральную часть Африки. В 1849 году его второй сын, Невил, исключительно неприятный субъект, соединивший в себе угрюмый нрав Филипа Джермина и надменность Брайтхолмов, убежал из дому с какой-то танцовщицей. Он объявлялся через год и был прощен. В родовое гнездо Невил вернулся вдовцом, с малюткой Альфредом, которому предстояло стать отцом Артура Джермина.

Друзья говорили, что разум сэра Роберта Джермина пошатнулся из-за семейных невзгод, но, возможно, поводом к этому послужил африканский фольклор. Пожилой ученый собирал легенды одного из племен онга, жившего в том районе, где путешествовал сначала дед, а потом и он сам в поисках затерянного города с жителями странного этнического типа. Некоторая логика, присутствовавшая в загадочных записях его предка, позволяла предположить, что воображение безумца подхлестывалось местными поверьями. 19 октября 1852 года путешественник Сэмюел Ситон посетил замок Джерминов, захватив с собой записи легенд, собранных им среди племен онга; он считал, что знаменитому этнологу будет интересна та их часть, где рассказывается о сумрачном городе белых обезьян во главе с белым богом. На словах он, возможно, добавил еще что-то, оставшееся неизвестным, потому что беседа завершилась кровавой трагедией. Задушив путешественника, сэр Роберт Джермин вышел из библиотеки и, прежде чем ему сумели помешать, убил всех своих детей: тех двух, которых никто не видел, и того, который убежал из дома. Перед смертью Невил Джермин успел, однако, спрятать своего двухлетнего сына, которому иначе неминуемо грозил бы тот же конец. Что касается самого сэра Роберта, то он, отказавшись дать какое-либо объяснение чудовищному своему деянию, неоднократно пытался покончить с собой и наконец скончался от апоплексического удара на второй год пребывания в тюрьме.

Сэр Альфред Джермин унаследовал титул баронета, когда ему не было и четырех лет, однако особым аристократизмом не отличался. В двадцать лет он стал работать в кабаре, а в тридцать шесть, покинув жену и ребенка, ушел с бродячим американским цирком. Конец его был ужасен. Среди цирковых животных особой популярностью у публики пользовалась огромная горилла с необычайно светлой кожей — она была

послушна и хорошо поддавалась дрессировке. Эта обезьяна совершенно покорила Альфреда Джермина, и они часто и подолгу рассматривали друг друга через решетку клетки. Со временем Джермин добился разрешения работать с обезьяной, удивив всех своими неожиданными способностями к дрессуре. Однажды утром, когда цирк находился в Чикаго, горилла и Альфред репетировали сложный номер с боксом. Животное случайно нанесло дрессировщику-любителю удар сильнее обычного, чем задело его самолюбие. О том, что за этим последовало, артисты группы «Величайшее шоу мира» не любят вспоминать. Сэр Альфред Джермин издал неожиданно для всех резкий, нечеловеческий крик, схватил своего незадачливого противника и, затаив в угол клетки, вонзил зубами в волосатую глотку. Горилла потеряла над собой контроль, и, прежде чем вмешался дрессировщик-профессионал, баронет был разорван в клочья.

II.

Артур Джермин был сыном Альфреда Джермина и певицы из кабаре неизвестного происхождения. Когда Альфред бросил ее, она привезла ребенка в родовой замок его отца, где уже не осталось никого, кто имел бы право ее выставить. Она знала кое-что понаслышке о дворянской чести и потому постаралась, чтобы ее сын получил самое лучшее образование, какое только позволяли весьма стесненные средства. Денег в семье не хватало, да и замок нуждался в ремонте, но молодой Артур крепко привязался к этому древнему дому со всем его укладом. Мечтатель и поэт, он не был похож на остальных Джерминов. Соседи, помнившие рассказы о португальской жене сэра Уейда, утасовывали, что в потомке заговорила латинская кровь; другие же, посмеиваясь над его склонностью ко всему прекрасному, приписывали ее влиянию матери-певицы, которую общество так и не признало. Поэтическая натура Артура Джермина особенно бросалась в глаза по контрасту с его исключительно безобразной внешностью. Большинство Джерминов, как мы уже упоминали, отличались некрасивостью, но Артур превзошел всех. Трудно сказать, чем именно отталкивала его внешность, но и выражение лица, и профиль, и необычайно длинные руки — все мгновенно рождало антипатию к нему.

Но ум и характер Артура Джермина с лихвой искупали недостатки его наружности. С его талантами и образованием он добился признания и ученых степеней в Оксфорде и, казалось, был рожден для того, чтобы восстановить высокую научную репутацию семьи. Хотя по темпераменту Артур был скорее поэт, нежели ученый, тем не менее он собирался продолжить труды предков в области африканской этнологии и истории, используя богатейшую, хотя и загадочную, коллекцию сэра Уейда. Наделенный большим воображением, он частенько задумывался о доисторической цивилизации, в существование которой так истово верил сумасшедший путешественник, и тогда в его грезах вставал затерянный в джунглях город, упоминавшийся в фантастических записках его предка. При каждом, даже косвенном упоминании о безымянной, никому ранее не ведомой расе, живущей в джунглях, он испытывал странное чувство, в котором подсознательный ужас смешивался с неодолимым любопытством. Он много размышлял над тем, что могло лежать в основе этой фантазии, и в поисках ответа обращался к легендам, собранным его прадедом и Сэмюэлем Сигном среди племен онга.

В 1911 году, после смерти матери, сэр Артур Джермин решил довести свои изыскания до конца. Продав часть земель и выручив необходимую для снаряжения экспедиции сумму, он отплыл в Конго. С помощью бельгийских властей он нанял проводников и отправился в джунгли, где провел год среди племен онга и калири, собрав там сведения, важность которых превзошла все его ожидания. В племени калири ему повстречался пожилой вождь по имени Мвану, обладавший не только цепкой памятью, но и значительным интеллектом — он и сам интересовался старинными легендами. Старик знал все те фантастические истории, которые читал Джермин, и добавил к ним еще одну — о каменном городе и белых обезьянах, — которую слышал от своих родичей.

По словам Мвану, древний город и его жители-метисы погибли много лет назад в войне с жестоким племенем ибангу-сов. Разрушив жилища и уничтожив все живое, племя унесло с собой мумию богини — она и была, собственно, предметом их воцелений. Богиня, которой поклонялись гниющие жители-метисы, напоминала обезьяну и, по преданию, когда-то царствовала в городе. Кем в действительности являлись эти обезьяноподобные белые существа, Мвану не знал, но предполагал, что они-то и построили

разрушенный впоследствии город. Рассказ местного жителя не связал воедино для Джермина отдельные легенды, но история мумифицированной принцессы при дальнейших расспросах становилась все интереснее.

По преданию, обезьянья принцесса стала супругой пришедшего с запада великого белого бога. Они долгое время совместно управляли городом, но после рождения сына уехали, взяв младенца с собой. Позднее бог и принцесса вернулись и какое-то время снова царствовали. После смерти принцессы божественный супруг поместил ее мумию в просторный каменный храм, где она стала предметом ритуального поклонения. Сам же покинул город.

Легенда существовала в трех вариантах. Согласно первой, ничего особенного в дальнейшем не произошло; правда, считалось, что мумия приносит удачу и могущество владеющему ею племени. Именно поэтому нбангусы и похитили ее. В другом варианте бог вернулся, чтобы умереть у ног своей мумифицированной супруги. В третьем говорилось о приезде взрослого сына (человека? обезьяны? бога?), ничем не знавшего о тайне своего рождения. Негры с их пылким воображением, конечно же, многое присочинили, и теперь трудно было докопаться до подлинных фактов, лежащих в основе сей экстравагантной истории.

После этих рассказов Артур Джермин уже не питал ни малейших сомнений в том, что описанный старым Уейдом город в джунглях существовал, а когда в 1912 году случайно набрел на его руины, испытал некоторое разочарование. Хотя каменные развалины ясно говорили о том, что это не обычная негритянская деревушка, однако величина города была сильно преувеличена. Резных орнаментов, к сожалению, не обнаружили, а малочисленность экспедиции не позволила начать работы по расчистке входа в подземный туннель, который, возможно, привел бы к системе подземных ходов и склепов, о которых упоминал и сэр Уейд. Попытались расспрашивать о белых обезьянах и о мумии местное население, но без особого успеха. Наконец один европеец вызвался перепроверить сведения из рассказа старого Мвану. Это был бельгийский подданный господин Веререн, торговый агент, работавший в Конго. Он рассчитывал не только отыскать мумию, о которой кое-что слышал и раньше, но и заполучить ее. Члены когда-то могущественного племени нбангус были теперь преданными вассалами короля Альберта и при небольшом нажиме, без сомнения, согласились бы расстаться с

украденным ими божеством. Поэтому Джермин отплыл в Англию исполненный радужных надежд воочию увидеть в ближайшие месяцы бесценную реликвию, которая подтвердила бы самые фантастические рассказы его прапрапрадедушки, но крайней мере из тех, что дошли до него. Самые бредовые рассказы сэра Уейда наверняка слышали завсегдатаи «Головы рыцаря», но уже невозможно было разыскать и расспросить их потомков.

Артур Джермин терпеливо ждал обещанного господином Веререном ящика, а пока с еще большим тщанием изучал записи сумасшедшего предка. Он чувствовал все более тесную связь с ним и старался теперь отыскать в бумагах сведения не только об африканских экспедициях, но и о его жизни в Англии. О таинственной затворнице-жене сохранилось много устных преданий, но ни одного вещественного свидетельства ее пребывания в Джермин-хаузе. Размышляя о том, что же послужило причиной столь странного заточения, Джермин решил, что это как-то связано с безумием сэра Уейда. Из рассказов он помнил, что его прапрапрабабушка была дочерью португальского купца из Африки. Наверняка унаследованный ею здравый смысл, а также некоторое знание Черного континента побудили ее скептически отнестись к «басням» мужа, чего он ей, конечно, не простил. Она умерла в Африке, куда он, возможно, насильственно ее привез, чтобы доказать свою правоту. Но все это были лишь предположения. Джермин прекрасно понимал, что спустя сто пятьдесят лет после смерти этих странных супругов трудно представить себе истинную картину.

В июне 1913 года пришло письмо от Веререна, в котором он сообщал, что нашел мумию богини. По его словам, это было нечто из ряда вон выходящее и совершенно не поддающееся определению. Только специалист мог бы понять, к какому виду — приматов или человека — относится это существо, однако плачевное состояние, в котором находилась мумия, исключало и эту возможность. Время и климат Конго не пощадили богиню, к тому же дело усугублялось тем, что ее мумифицировали не по правилам. Шею мумии украшала золотая цепь с медальоном, на котором были выгравированы геральдические знаки. Эту ценность туземцы наверняка похитили у какого-нибудь путешественника и использовали как талисман. Месье Веререн позволил себе вышутить наружность мумии, прибавив, что, по его мнению, она удивит его корреспондента, но в остальном был краток — его слиш-

ком интересовала научная сторона вопроса. Он писал, что сам экспонат прибудет месяц спустя после письма.

Ящик с мумией доставили в Джермин-хауз в полдень третьего августа 1913 года и по просьбе хозяина сразу же внесли в большую комнату, где хранились собранные сэром Робертом и Артуром африканские раритеты. О том, что случилось дальше, известно из рассказов слуг, а также из осмотра на месте происшествия различных бумаг и предметов. Среди изложенных версий наиболее убедительным представляется рассказ старого дворецкого Сомса. По его словам, перед тем как вскрыть ящик, сэр Артур Джермин попросил всех покинуть комнату. Вскоре по донесшемуся оттуда стуку молотка стало ясно, что он приступил к делу. Затем воцарилась тишина. Сколько она продолжалась, Сомс не мог сказать с точностью, но, во всяком случае, не больше четверти часа. Затем раздался отчаянный вопль хозяина. Дверь тут же распахнулась, и Джермин, пулей вылетев из комнаты, понесся прочь, словно его преследовал страшный враг. Лицо хозяина, неприятное и при спокойном выражении, теперь, искаженное ужасом, было поистине чудовищным. Почти добежав до выхода, он вдруг остановился, как бы пораженный пришедшей в голову мыслью, повернулся и побежал к лестнице, ведущей в подвал. Ошеломленные слуги застыли на месте, не решаясь спуститься за хозяином. Тот все не возвращался, а потом из подвала донесся сильный запах нефти. Когда стемнело, во дворе послышался легкий шум, и помощник конюха увидел, как Артур Джермин, с головы до ног залитый нефтью, выскользнул из двери подвала и исчез на болоте, подступающем к дому. Его конец видели все оцепеневшие от ужаса обитатели замка. Сначала в темноте вспыхнула крошечная искорка, затем занялось пламя, и вот уже огненный столб взмыл к небесам. Род Джерминов прекратил существование.

Причина, по которой обугленные останки Артура Джермина не собрали и не похоронили, вызвана содержимым присланного из Африки ящика, которым заинтересовались после его смерти. Мумия богини выглядела отвратительно, вдобавок была источена временем, однако не вызвало никаких сомнений: в ящике лежала мумифицированная белая обезьяна неизвестного вида. Волосистой покров был у нее выражен гораздо меньше, чем у большинства известных науке приматов, и вообще она удивительным образом — что поражало неприятней всего! — напоминала человека. Не

хотелось бы вдаваться во все эти подробности, но о двух вещах сказать необходимо — слишком во многом соответствуют они африканским запискам сэра Уейда, а также конголезским легендам о белом боге и обезьяньей принцессе. Во-первых, изображенный на медальоне герб принадлежал роду Джерминов, а во-вторых, шуточный намек месье Веререна на сходство принцессы с кем-то из его знакомых расшифровывался мгновенно: сморщенное личико богини — все тотчас отметили это с ужасом и отвращением — было как две капли воды похоже на лицо утонченного Артура Джермина, прапраправнука сэра Уейда Джермина и его неизвестной супруги. Члены Королевского общества антропологов сожгли проклятую мумию, а медальон бросили в глубокий колодезь, дабы ничто не напоминало о том, что Артур Джермин жил на этом свете.

КОШКИ УЛТАРА

Рассказывают, что в городке Ултар, лежащем за рекой Скай, запрещено убивать кошек. И, глядя на kota, который мурлычет греется у камелька, я думаю, что это мудрое решение. Ведь кот — загадочнейшее существо, он посвящен в сокрытые от человека тайны. Он — душа древнего Египта и единственный свидетель существования давно забытых родов: Мероя и Офира. Он — родственник властелина джунглей и посвящен в тайны древней и загадочной Африки. Сфинкс — его кузен, они говорят на одном языке, но все же кот старше сфинкса и помнит такое, о чем тот давно позабыл.

В Ултаре еще до выхода указа, запрещающего убивать кошек, жил старик крестьянин с женой, и ничто им не было так любо, как изловить и погубить соседскую кошку. Трудно сказать, зачем они это делали, разве что были из тех, кто не выносит кошачьи вопли по ночам, кого передергивает при мысли, что кошки крадутись бродят в полночь по дворам и садам. Так или иначе, старик с женой с удовольствием заманивали в западню и убивали каждую кошку, имевшую несчастье приблизиться к их жилищу, а по разносившимся ночью воплям соседи догадывались, что конец животных был ужасен. И все же никто не заговаривал об этом со стариками — слишком уж невозмутимое выражение хранили они на своих лицах, да и жили на отшибе, в маленькой хибарке под развесистыми дубами. А если уж говорить начистоту, то хотя кошачьи хозяева и ненавидели эту парочку, но еще больше боялись и, вместо того, чтобы как следует проучить жестоких убийц, старались следить, чтобы их любимцы не бродили поблизости от уединенной хижинки под густыми деревьями и не ловили там мышек. Когда все же случалось непоправимое и кошка падала, владелец, слыша после наступления темноты вопли несчастной твари, бессильно плакал или же возносил хвалу Богу за то, что такая судьба не постигла его ребенка. Ведь жители Ултар были простыми людьми и не знали всю славную родословную кошек.

И вот однажды дикий караван с юга вступил на

узкие, мощенные булыжником улицы Ултар. Темнокожие путешественники отличались от обычного бродячего люда, что проходил через деревню дважды в год. На рынке они предсказывали за деньги судьбу и покупали яркие бусы. Никто не знал, откуда родом эти странники, но молились они как-то чудно, да и повозки их украшали странные фигуры с человеческим торсом и с головами кошек, соколов, баранов и львов. А голову предводителя каравана венчал двурогий убор с загадочным диском посередине.

Ехал с этим удивительным караваном маленький мальчик; не было у него ни отца, ни матери, а был только крошечный черный котенок, которого он очень любил. Жестокая судьба подарила мальчику это маленькое пушистое существо, дабы смягчить боль всех утрат: когда ты юн, взирать на резвые шалости своего черного дружка — большая утеха. И поэтому мальчик, которого темнокожие люди называли Менесом, играя с грациозным котенком в углу дикий разукрашенной повозки, смеялся чаще, чем плакал.

На третье утро пребывания каравана в Ултаре котенок исчез. Менес горько рыдал, и тут кто-то из жителей рассказал ему о старике и его жене и о том, что сегодня ночью из их хижинки опять доносились страшные звуки. Услышав это, мальчик перестал рыдать и призадумался, а потом стал молиться. Он простер руки к солнцу со словами молитвы на незнакомом языке. Впрочем, жители городка и не пытались разобрать слова молитвы, их взоры устремились к облакам, которые стали принимать удивительные очертания. Странно, но с каждым словом мальчика на небе возникали неясные, призрачные фигуры экзотических существ, увенчанных короной с двумя рогами и диском посередине. Природа часто дарит людям с воображением удивительные картины.

Той же ночью странники покинули Ултар, и никто их больше не видел. Одновременно в городке исчезли все кошки, что привело в отчаяние их хозяев. Никто больше не мурлыкал у камелька — пропали большие и маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. Старый бургомистр Кренон был уверен, что это темнокожие люди увели с собой кошек, чтобы отомстить за котенка Менеса, и громко проклинал и караван, и самого мальчика. Но по мнению тощего нотариуса Нита, здесь скорее замешаны старый крестьянин и его жена: их ненависть к кошкам с течением времени, казалось, лишь возрастала. И все же никто не осмелился открыто расспросить о случившемся зловещую чету, хотя

маленький Атал, сын хозяина гостиницы, клялся, что видел собственными глазами, как в сумерках все кошки Ултар, медленно и торжественно выступая по двое, словно совершая неведомый ритуал, постепенно окружили проклятый дом под деревьями. Жители сомневались, можно ли верить такому малышу, и хотя подозревали, все же предпочли не связываться с ними, пока не встретят старика где-нибудь подальше от его чертова подворья.

Наконец весь Ултар, мучаясь от бессильной злобы, забываясь тяжелым сном, а утром, когда проснулись, — ба! — все кошки снова грелись у печурок. Все были на своих местах — большие и маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. Они вернулись домой, отяжелевшие и лоснящиеся, и громко мурлыкали от удовольствия. Удивленные горожане, толкуя о случившемся, не знали, что и думать. Старый Кренон твердил свое: это-де темнолицые увели животных, от старика и его жены кошки живыми бы не вернулись. Но удивительнее всего, по общему мнению, было то, что блюда с молоком и кусочки мяса стояли нетронутыми. Кошки Ултар не притрагивались к пище целых два дня, а только дремали у печки или грелись на солнышке.

Лишь неделю спустя горожане заметили, что по вечерам в окнах дома под дубами не загорается свет. И тогда тощий Нит напомнил им, что с того дня, как пропали кошки, никто не видел старых злыдней. Еще через неделю бургомистр переборол страх и постучал в дверь жилища, исполняя свою обязанность служителя власти, но из дома не донеслось ни звука. Впрочем, бургомистр не забыл захватить с собой кузнеца Шенга и резчика по камню Тула. Когда же они, взломав ветхую дверь, проникли внутрь, то увидели только два дочиста обьеденных скелета да ползающих в темных углах тараканов.

Среди жителей Ултар было много всяких толков. Следователь Зат обсудил происшествие во всех подробностях с тощим нотариусом Нитом, а потом засыпал расспросами Кренона, Шенга и Тула. Затем все вместе еще раз с пристрастием допросили маленького Атал, сына хозяина гостиницы, дав ему в награду леденец. А после этого долго судили да рядили о старике крестьянине и его жене.

И в конце концов бургомистр издал памятный указ, о котором рассказывают торговцы в Хатеге и путешественники в Нире, а именно: «Никто в Ултаре не смеет убить кошку».

БОЛОТО ЛУНЫ

Где, в каких запредельных и мрачных краях пребывает сейчас Деннис Бэрри? Не знаю. Прошлой ночью, когда он последний раз находится среди людей, я был неподалеку от него и слышал, когда за ним пришли, его душераздирающие крики. Крестьяне и полиция графства Мет не нашли ни Бэрри, ни остальных, хотя искали долго и упорно. Я же после всего случившегося содрогаюсь от ужаса всякий раз при кваканье болотных лягушек или если в безлюдном месте меня вдруг неожиданно зальет лунный свет.

Я хорошо знал Денниса Бэрри еще в Америке, где он разбогател, и радовался, когда он выкупил свой родовой замок у болот в сонном местечке Килдерри. Там были его корни, и ему хотелось пожинать плоды своего богатства среди родных стен. В давние времена его предки владели Килдерри, построили там замок и счастливо жили в нем, но всё это было и бывшем поросло. Много воды утекло с тех пор, замок пришел в полное запустение. Вернувшись в Ирландию, Бэрри часто писал мне, рассказывая, как постепенно — башня за башней — возрождается древняя постройка, по ее стенам снова, спустя много веков, побежал плюш, а крестьяне не устают благодарить его за то, что он вкладывает капиталы в процветание родных мест. Но потом все изменилось, крестьяне перестали благословлять моего друга, а, напротив, бежали от него прочь, как от зачумленного. Тогда-то Деннис и послал мне письмо с просьбой навестить его: он очень одинок в своем замке, даже поговорить не с кем, разве что с новыми слугами и рабочими, выписанными им с севера страны.

Когда я приехал, Бэрри сказал мне, что всему виной близлежащие болота. В Килдерри я прибыл на закате, заходящее летнее солнце еще золотило зелень холмов и рош, а также синеву болота, освещая диковинные древние руины на отдаленном островке. Закат был прекрасен, но крестьяне в Баллилоу уже успели отчасти обратить меня в свою веру, заверив, что Килдерри проклят, и я с опаской взирал на пылающие в вечернем золоте башенки замка. Я приехал из Баллилоу на посланной за мною машине, поскольку

Килдерри находится в стороне от железной дороги. Крестьяне, старавшиеся держаться подальше и от автомобиля, и от его водителя-северянина, видя, что я еду в Килдерри, все же не удержались и предостерегли меня об опасности. А вечером, уже в замке, Бэрри рассказал мне, в чем дело.

Крестьяне покинули Килдерри из-за того, что Деннис Бэрри решил осушить большое болото. Несмотря на всю любовь к Ирландии, американские уроки не прошли для него даром, и ему претила мысль, что прекрасная земля пропадает под водой зря — ведь и торфяник, и самое землю можно использовать с умом. Связанные с болотом легенды и поверья он не принимал всерьез, его лишь позабавило, когда крестьяне сначала отказались участвовать в работах, а потом, увидев его упорство, проклинали своего хозяина и ушли в Баллилоу, захватив только самое необходимое. Тогда Бэрри пригласил работников с севера, а когда замок покинули и слуги, ему опять пришлось выписывать новых людей. Теперь его окружают одни чужаки, оттого-то, почувствовав себя одиноко, он и вызвал меня.

Услышав в подробностях, чего испугались жители Килдерри, я от души посмеялся вместе с моим другом: очень уж нелепыми казались их страхи, связанные с поверьем о болоте и его угрюмом страже, дух которого якобы жил в тех самых древних развалинах, которые я видел на закате. Ходили также толки о пляшущих в темноте огоньках, о ледяных порывах ветра в теплую ночь, о призраках в белом, парящих над водой, и каменном городе, сокрытом под зеленой ряской болота. Крестьяне были убеждены: человека, который осмелится нарушить покой этих мест или осушить бескрайнюю топь, ждет возмездие. Некоторых тайн, говорили крестьяне, касаться нельзя. Эти тайны существуют с незапамятных, легендарных времен, когда детей Партолана постигло несчастье. В «Книге завоевателей» говорится, что эти сыны Греции погибли в Толлате, но старики из Килдерри утверждали, что один город был все же спасен покровительствующей ему богиней Луны, которая укрывала его в лесной чаще на холмах и тем спасла от завоевателей из Немеда, прибывших на тридцати кораблях из земель скифов.

И такие вот басни заставили крестьян покинуть Килдерри! Теперь меня более не удивляло намерение Денниса Бэрри не считаться с этими бреднями. Сам он, кстати, испытывал глубокий интерес к древности и после осушения болота собирался тщательно исследовать эту местность. Он часто

посещал руины на острове; возраст их был, очевидно, солиден, архитектурой они отличались от других древних сооружений, но из-за нынешнего ужасающего их состояния трудно было понять, что представляли они собой в период расцвета. Работы по осушению должны были вот-вот начаться, и приезжие с севера готовились очистить таинственное болото от мха и красноватого вереска, уничтожить крошечные, полные ракушек ручейки и спокойные голубые глади, заросшие камышом.

После всех перипетий дня я устал и хотел спать. Была уже глубокая ночь, и я с трудом дождался, когда Бэрри закончит наконец рассказ. Слуга проводил меня в отведенную мне комнату в одной из отдаленных башенок. Из ее окон просматривались деревня, поляна на краю болота, а дальше и само болото. В лунном свете я видел спящие дома, в которых коренных жителей сменили наемные рабочие с севера, церквушку со старинным шпилем, а вдаль, за сонной топью, таинственно поблескивали древние руины на островке. Погружаясь в сон, я услышал — или мне почудилось? — слабые, отдаленные звуки свирели, диковатую, какую-то первобытную мелодию. Эта музыка странно растревожила меня, войдя в мои сны. Однако, проснувшись утром, я понял, что музыка была порождена самими снами, столь удивительными, что в сравнении с ними потускнели даже эти таинственные звуки свирели. Видимо, под влиянием рассказанных Бэрри легенд мне приснилось, что дух мой витал над величественным, утопающим в зелени городом, где вымощенные мрамором улицы, вилы и храмы, статуи, резные орнаменты и надписи — все говорило о былом величии Греции. Мы посмеялись с Бэрри над этим сном, но мой смех звучал громче: друг был обеспокоен поведением рабочих с севера. Они уже шестой день подряд вставали очень поздно, двигались вяло, как в полусне, вот и сегодня выглядели совсем неотдохнувшими, хотя накануне легли рано спать.

Все утро я бродил по залитой солнцем деревне, заговаривая с рабочими. Никаких особых дел у них не было — Бэрри заканчивал последние приготовления перед началом работ, — но на душе у всех было беспокойно из-за неясных, тревожных снов, которые наутро забывались. Я тоже рассказал им о своем ночном видении, однако оно оставило их равнодушными. Оживились они, только когда я упомянул о диковатой музыке: им, помнится, тоже что-то такое слышалось.

Вечером за обедом Бэрри объявил, что работы начнутся

через два дня. Меня обрадовало это сообщение, хотя стало мучительно жаль всех этих мхов и вереска, ручейков и озер. Но очень уж хотелось проникнуть в вековые тайны, которые могли скрываться в толще торфяников. Этой ночью мне снова снился сон о поющих свирелях и мраморном городе, но он оборвался резко и пугающе. Я увидел, как на город в зеленой долине надвигается беда — чудовищный оползень обрушился на него и похоронил под собой всё живое. Не пострадал от жестокой стихии только стоявший на высоком холме храм Артемиды, где престарелая жрица Луны, Клеис, лежала холодная и безмолвная, с короной из слоновой кости на убеленной сединами голове.

Как я уже говорил, мой сон резко оборвался. Непонятное беспокойство не отпускало меня. Некоторое время я не понимал, сплю или бодрствую: звуки свирели продолжали звучать в ушах. Однако, увидев на полу холодные блики Луны, изрешеченные тенью готического окна, я понял, что все-таки нахожусь в замке Килдерри. Когда же где-то вдали часы пробили раз и другой, мне стало окончательно ясно, что я не сплю. Но монотонное звучание свирели все же продолжалось — странная, древняя музыка, вызывающая представление о танцах сатиров на далеком Меналусе. Она не давала спать, и я, поднявшись с кровати, стал в беспокойстве бродить по комнате. По чистой случайности я подошел к северному окну и бросил взгляд на спящую деревню и на поляну у края болота. Я вовсе не собирался глядеть в окно, смертельно хотелось спать, но звуки свирели так измучили меня, что надо было чем-то отвлечься. Однако увиденное, как громом поразило мое воображение.

На освещенной луной просторной поляне разыгрывался спектакль, который, раз увидев, не позабыл бы ни один из смертных. Под громкие звуки свирелей, эхом разносящиеся над болотом, по поляне безмолвно и плавно двигались странные фигуры. Мерно раскачиваясь, они постепенно достигали в своем кружении такого экстаза, какой охватывал в давние времена сицилийцев, исполнявших посвященный Деметре танец в ночь полнолуния перед осенним равноденствием неподалеку от Киана. Открытая поляна, сверкающий лунный свет, танцующие призраки, резкий, однообразный звук свирели — все это вместе произвело на меня почти парализующее действие, и все же я отметил, что половину этих неутомимых танцоров составляли наемные рабочие, которые, по моим представлениям, давно должны бы уже спать, другую

же — странные призрачные существа в белом, которых при доле воображения можно было счесть эфемерными наядами, живущими в озерцах, питающих болото. Не знаю, сколько времени простоял я у своего одинокого окна, глядя на это зрелище, только в какой-то момент вдруг погрузился в глубокий, полубомбочный сон без сновидений, из которого меня вывел только яркий свет солнца.

Моим первым порывом при пробуждении было пойти и поделиться потрясшим меня сновидением с Деннисом Бэрри, но при свете солнца все выглядело иначе, и мне удалось внушить себе, что это был только сон. Возможно, я стал подвержен галлюцинациям, но ведь не настолько же, чтобы потерять контроль над собой и полагать, что видел все это наяву. Я ограничился тем, что расспросил рабочих, но, как и следовало ожидать, они, хоть и проспали опять дольше обычного, ничего особенного не припомнили, кроме разговоров звуков музыки. Я долго размышлял об этих странных звуках, гадая, не сверчки ли это завели свою осеннюю песню раньше положенного срока, смущая по ночам честных людей. Днем мне довелось наблюдать, как Бэрри в последний раз изучает свои чертежи перед началом работ. Итак, утром рабочие примутся за дело... Впервые у меня от страха ёкнуло сердце, и я понял, почему крестьяне бежали отсюда. Непонятно почему, но мне была невыносима мысль, что кто-то потревожит это старое болото с его сокрытыми от солнечного света тайнами; под многовековым слоем торфа мне представлялись поразительные картины. Не следует так вот необдуманно выставлять на всеобщее обозрение то, что таилось там столько веков... Мне хотелось найти удобный повод, чтобы покинуть замок и саму деревню. Я даже попытался заговорить на эту тему с Бэрри, но быстро осекся, смущенный его издевательским смехом. В молчании наблюдал я, как заходящее солнце раскрашивает яркими красками дальние холмы и заливают Килдерри таким ослепительным кроваво-золотым светом, что это казалось дурным предзнаменованием.

Во сне или наяву происходили события наступившей ночи, не могу сказать. Во всяком случае, они превосходили все, что только может породить самая изощренная фантазия. Я, например, не в силах представить каких-либо разумных объяснений, куда после этой ночи исчезли люди из замка и деревни. Я рано отправился в свою комнату, но, полный тяжелых предчувствий, никак не мог заснуть. Меня томила и зловещая

тишина, царящая в этой отдаленной башне. Хотя небо очистилось, ночь все же стояла темная: луна в те дни шла на убыль и восходила совсем поздно. Я лежал и думал о Деннисе Бэрри и о том, что случится с болотом, когда придет утро, и наконец довел себя до такого состояния, что был готов сорваться с места, взять машину хозяина и помчаться в Баллилоу, прочь из этого проклятого места. Но, не успев прийти к определенному решению, я уснул, а во сне снова увидел город в долине — мрачный и помертвевший от нависшей над ним смертельной угрозы.

Возможно, меня снова разбудили громкие звуки свирели, однако после пробуждения не музыка занимала мои мысли. Я лежал спиной к окну, выходящему на восток, где должна была взойти луна, и поэтому ожидал увидеть на противоположной стене ее отсвет. Но увидел я совсем другое. На стене были блики, но не те, что дает луна. Я со страхом смотрел, как сквозь готическое окно льется ярко-красный свет. Он заполнял всю комнату мощным невиданным сиянием. В такой ситуации я повел себя странно, но это и понятно — только в книгах герой ведет себя расчетливо и разумно. Вместо того чтобы взглянуть на болото и понять наконец, откуда взялся новый источник света, я даже не обернулся к окну, а торопливо натянул на себя одежду в смутной надежде поскорее отсюда удрать. Помню, захватил с собой револьвер и шляпу, но они мне негодились: до того, как все было кончено, я потерял то и другое — так и не выстрелив из револьвера и не надев шляпу. Любопытство в конце концов пересилило страх, я подкрался к окну, чтобы взглянуть на непонятное алое сияние, и выглянул наружу. И в эту минуту оглушительно запели свирели, сотрясая своими звуками замок и деревню.

Поток яркого, зловеще-алого света струился над болотом, исходил он из загадочных руин на островке. Руины, однако, странно изменились. Мне трудно описать, в чем было дело, может, я сошел с ума, однако мне показалось, что храм снова стоит во всем своем великолепии — не тронутый временем, в окружении колонн, на мраморе его антаблемента, поднявшегося ввысь, горели отсветы пламени. Запели флейты, застучали барабаны, и, пока я как зачарованный взирал на это зрелище, на освещенных мраморных стенах появились темные силуэты танцующих. Выглядело все это невероятно, эффект был поразительный. Я застыл на месте, не в силах отвести глаз от этой картины, а тем временем слева от меня

громко зазвучали свирели. В непонятном возбуждении, охваченный тягостными предчувствиями, я пересек круглую свою комнату и подошел к северному окну, из которого просматривались деревня и поляна. То, что я видел до этого, было абсолютно непостижимо, но теперь у меня просто глаза на лоб полезли: по залитой кроваво-красным светом поляне двигалась процессия, которая могла привидеться разве что в кошмарном сне.

То скользя по земле, то плывя в воздухе, медленно двигались по направлению к тихой заводи и дальше, к руинам, болотные призраки, укутанные в белое, — двигались, образуя сложные конфигурации, словно исполняя древний ритуальный танец. Их бесплотные руки покачивались в такт режущей слух мелодии невидимых флейт, увлекаая за собой наемных рабочих, которые тянулись чередой, бездумно, слепо и покорно, как собаки, словно повинуюсь некой дьявольской силе. Когда наяды достигли болота, из замка, пошатываясь, нетвердой походкой вышли новые жертвы. Они появились из двери, расположенной под моим окном, прошли как во сне через двор, затем по деревенской улочке и присоединились на поляне к колышущейся веренице рабочих. Несмотря на разделяющее нас расстояние, я тотчас понял, что это прибывшие с севера слуги, и даже признал в одной из самых уродливых и неуклюжих фигур кухарку, чья обычная бестолковая повадка казалось теперь почти трагической. Флейты по-прежнему издавали какие-то немыслимые звуки, а со стороны острова снова послышался зов барабанов. И тут наяды медленно и грациозно вступили в воды древнего болота, а идущие за ними люди, не замедляя хода, тоже стали погружаться и вскоре скрылись под водой. В красном зареве на поверхности болота с трудом различались расходящиеся по воде пузырьки воздуха. Последней пучина поглотила вызвавшую во мне жалость толстую кухарку. Когда скрылась и она, флейты и барабаны умолкли, померк и слепящий глаза свет, излучаемый руинами; деревня снова замерла в мирном свете только что взошедшей луны.

Я был в полном смятении. Схожу ли я с ума? Сплю? Навью ли все это произошло? Думаю, спасло меня от общей участи то оцепенение, в которое я неожиданно погрузился. Кажется, я молился — Артемиде, Латоне, Персефоне и Плутону. Словом, всем, кого вспомнил из классической литературы, — пережитый ужас сделал меня суеверным. Я понимал, что стал свидетелем гибели всей деревни, — сомневаться не

приходилось: в замке остались только мы с Деннисом Бэрри, чье безрассудство и привело к беде. При мысли о нем меня снова обуял такой страх, что ноги мои подкосились и я упал на пол, хотя сознания не потерял. Внезапно я почувствовал ледяной порыв ветра с востока, где взошла луна, и услышал в нижнем этаже замка отчаянные крики. Вскоре они перешли в такой истошный вопль, что мне и сейчас становится страшно при одном лишь воспоминании о нем. Могу сказать только, что этот вопль принадлежал моему другу.

Видимо, ледяной ветер и страшные крики заставили меня подняться, потому что, насколько помню, я долго бежал по темным комнатам и коридорам, пока не выбрался наружу. Меня нашли на рассвете недалеко от Баллилоу. Я брел как потерянный, что-то бормоча, в полном беспамятстве. Последнее, что я увидел в Килдерри, dokonало меня. Несясь прочь от замка, я увидел столь чудовищную картину, что не забуду ее до конца дней своих. Она всегда встает у меня перед глазами, если я оказываюсь лунной ночью неподалеку от болота.

Итак, покинув проклятый замок, я мчался вдоль берега, как вдруг услышал какие-то новые звуки — ничего примечательного, но здесь, в Килдерри, я их прежде не слышал. Стоячие воды, в которых не водилась никакая живность, ожили, кишмя закишели множеством крупных лягушек, которые громко и непрерывно квакали. Лунный свет поблескивал на их раздувающихся зеленых боках, но свет струился еще из одного источника, в его-то сторону они, казалось, с интересом глазели. Я проследил за взглядом одной особенно жирной и уродливой лягушки и увидел такое, от чего окончательно потерял голову.

От загадочного сооружения на островке протянулся к молодой луне слабо мерцающий луч, не отражавшийся в водах болота. А на этой мертвенно-бледной тропе я с замиранием сердца разглядел извивающуюся фигуру — неясную тень, слабо сопротивляющуюся невидимым демонам, которые тащили ее за собой. Возможно, я сумасшедший, но этот силуэт — дикая, чудовищная карикатура — до странности напомнил мне того, кто был Деннисом Бэрри.

На мой взгляд, глупо считать, что с простыми людьми никаких других историй, кроме банальных, случиться не может, а ведь именно так думают многие. Стоит вам упомянуть о некой деревеньке, населенной янки, где гробовщик, недотепа и бедолага, остался по неосторожности в склепе, и читатель непременно будет ждать от вас немудреного анекдота с легким налетом гротеска. Однако в весьма заурядной истории, приключившейся с Джорджем Берчем, которую теперь, после его смерти, я могу поведать читателям, есть нечто, в сравнении с чем даже мрачнейшие из трагедий покажутся жизнерадостными побасенками.

В 1881 году Берч неожиданно закрыл свое дело и сменил профессию, не распространяясь о причинах, побудивших его к этому. Молчал и его врач, старина Дэвис, теперь уже почивший в бозе. Считалось, что болезнь Берча явилась следствием пережитого шока — в результате несчастного случая он оказался заперт в склепе на кладбище Пек-Уолли, где пролежал девять часов и выбрался откуда лишь с превеликим трудом. Все это чистая правда, но были в этой истории и другие, более мрачные подробности: как-то Берч, будучи мертвецки пьян, поведал мне о них. Думаю, он рассказал мне всю правду потому, что я был его врачом, к тому же после смерти Дэвиса его неодолимо тянуло поделиться с кем-нибудь еще. Ведь он был старый холостяк — ни родных, ни близких.

До 1881 года Берч оставался деревенским гробовщиком, но даже среди людей этой профессии выделялся своей черствостью и примитивностью. Качество его работы оставляло желать лучшего и сегодня никого бы уже не удовлетворило, по крайней мере в городах, но думаю, что и жители Пек-Уолли содрогнулись бы, узнай они, как бессовестно ловчит этот мастер ритуальных услуг, когда ему заказывают дорогую обшивку, невидную на дне гроба, или с каким небрежением укладывает покойников в их последнее пристанище. Нет сомнений, Берч был неряшлив, равнодушен к людскому горю, никуда не годился в профессиональном отношении, и все же, мне кажется, он не был злым человеком. Просто он был от

природы груб — туповатый, ленивый, жадный, что и привело впоследствии к несчастью, которого могло бы и не случиться. У него напрочь отсутствовало воображение, которое не позволяет рядовому обывателю, получившему хоть какое-то воспитание, выходить за общепринятые рамки приличия в своем поведении.

Я не мастер рассказывать истории и поэтому не знаю, с чего начать свое повествование. Может, всего уместнее начать с того холодного декабря 1880 года, когда земля промерзла до такой степени, что могильщики поняли: до весны им не выкопать ни одной могилы. Деревушка, к счастью, была небольшая, умирали не часто, и потому все клиенты Берча могли найти себе временный приют в старом общем склепе. Наш гробовщик от холодной погоды вовсе разленился и, кажется, превзошел в халатности самого себя. Еще никогда не сбывал он таких утлых и нескладных гробов и совсем не обращал внимания на проржавевший засов склепа, дверцей которого он то и дело хлопал с вызывающей небрежностью.

Наконец пришла весна, и для девятерых умолкших навеки заложников зимы, терпеливо ждавших в склепе часа своего упокоения, были выкопаны могилы. Берч, хоть и не любивший хлопот, связанных с погребением мертвецов, все же одним ненастным апрельским днем начал перевозить гробы, но прекратил работу еще до полудня по причине сильного дождя, беспокоившего лошадь. Он успел доставить к месту вечного приюта одного лишь Дариуса Пека, девяностолетнего старца, чья могила была недалеко от склепа. Берч решил, что перевезет остальных завтра, начав с низкорослого Мэтью Феннера, чья могила также была неподалеку, но проканителится целых три дня, вплоть до пятнадцатого — до Страстной пятницы. Лишенный всяких предрассудков, он не боялся работать в святой день, хотя впоследствии его никакими силами нельзя было заставить чем-либо в такие дни заниматься. События того вечера, несомненно, очень его изменили.

Итак, пятнадцатого апреля, в пятницу пополудни, Берч впряг лошадь в повозку и направился к склепу, чтобы перевезти гроб с телом Мэтью Феннера. Он не скрывал впоследствии, что был несколько навеселе, хотя тогда еще не пил горькую, как позднее, когда хотел забыться. У него просто немного кружилась голова, отчего он вел себя еще безалабернее обычного, чем раздражал чуткую лошадь. Берч гнал ее к склепу, стегая кнутом, а она ржала, била копытом и

мотала головой, как и в тот день, когда им помешал дождь. Было сухо, но дул сильный ветер, и Берч поспешно отпер железную дверь и забрался в склеп, одна сторона которого примыкала к склону холма. Многим было бы не по себе в этом старом, затхлом помещении, где в беспорядке стояли восемь гробов, но не отличавшегося тонкостью чувств Берча заботило лишь одно — не перепутать гробы и поместить каждого в его могилу. Он еще помнил шумный скандал, который закатили переехавшие в город родственники Ханни Бигсби, когда решили перевезти ее прах на городское кладбище и обнаружили под могильным камнем останки судьи Кепуэлла.

В склепе было темно, но Берч обладал хорошим зрением и не спутал гроб Асафа Сойера с нужным ему, хотя они почти ничем не отличались. Собственно, вначале гроб этот предназначался для Мэтью Феннера, но получился такой нескладный и шаткий, что Берч, вспомнив, как этот щуплый старичок был добр и щедр к нему, когда пять лет назад Берчу грозило разорение, неожиданно для себя, в приступе какой-то странной сентиментальности, отставил его в сторону. Для Мэтта он сколотил самый лучший гроб, на какой только был способен, однако, покупившись, сохранил и отвергнутый, приспособив его для Асафа Сойера, когда тот скончался от лихорадки. Сойер был недобрым человеком, о его дьявольской мстительности и злопамятстве ходили легенды. Поэтому Берч не испытал никаких угрызений совести, сплавив ему эту развалюху, которую сейчас и отпихнул с дороги в поисках гроба Феннера.

Но как только он отыскал его, дверь вдруг с шумом захлопнулась, оставив гробовщика почти в полной темноте. Свет едва пробивался сквозь узкую фрамугу да вентиляционное отверстие над головой, и Берчу пришлось пробираться к двери на ощупь, то и дело останавливаясь и спотыкаясь о гробы. Он долго громыхал во мраке проржавевшими задвижками, бился о железные панели, удивляясь, отчего эта дверь стала такой неподатливой. Наконец правда открылась ему, и тогда он отчаянно закричал, но его услышала только лошадь, издав в ответ неодобрительное ржание. Засов, к которому он относился столь небрежно, окончательно заклинило, и незадачливый гробовщик, жертва собственной беспечности, оказался запертым в склепе.

Это событие произошло в полчетвертого пополудни. Берч, по природе человек флегматичный и трезвый, вскорости перестал вопить и принялся искать инструменты, которые

как он помнил, лежали где-то в углу склепа. Сомнительно, чтобы он в полной мере прочувствовал весь ужас и фатальность ситуации, однако его основательно раздражал сам факт заточения, столь грубо выключивший его из жизни деревни. Дневной распорядок полностью нарушен, одно ясно: если его не выручит какой-нибудь праздный гуляка, придется провести здесь всю ночь, а может, и больше. Отыскав наконец инструменты и выбрав из них молоток и стамеску, Берч снова пробрался между гробами к двери. Дышать было совершенно нечем, но он не обращал на это внимания, пытаясь справиться с массивным железным засовом. Он отдал бы многое сейчас за фонарь или хотя бы свечу, но за неимением их трудился изо всех сил почти в полной темноте.

Поняв, что с засовом ему не справиться — особенно теми инструментами, которыми он располагал, — Берч огляделся в поисках другого выхода. С одной стороны склеп был врыт в склон холма, и узкая вентиляционная труба проходила через толстый слой земли, что делало абсолютно невозможной попытку выбраться через нее. Однако можно было попытаться расширить узкую фрамугу, расположенную в фасаде строения, прямо над дверью. Берч долго ее разглядывал, прикидывая, как бы до нее добраться. Лестницы в склепе не было, а ниши для гробов, расположенные с трех сторон, которыми, кстати, Берч никогда не пользовался, также были для него бесполезны. Подняться наверх можно было, только составив лестницу из самих гробов, и Берч стал прикидывать, как лучше это сделать. Уже три гроба, поставленные один на другой, давали ему возможность дотянуться до фрамуги, но с четырьмя, считал он, будет удобнее. Все гробы были одного размера, взгромоздить их один на другой не представляло труда, но требовалось покумекать, как поставить все восемь, чтобы «лестница» была поустойчивей. Размышляя обо всем этом, он пожелал себе, чтобы его изделия оказались попрочнее. Однако у него не хватило воображения пожелать также, чтобы они были пустыми.

В конце концов он порешил, что в основание «лестницы» лягут три гроба, установленные параллельно стене, на которые он поставит еще два ряда по два гроба в каждом, а сверху у него будет еще один. Это сооружение позволит без труда взобраться на него, даст устойчивость и нужную высоту. Но потом Берчу показалось, что лучше оставить в основании только два гроба, а один держать в запасе на тот случай, если с четырех ступеней ему будет трудно выбраться наружу. И

вот наш узник начал трудиться в темноте, создавая свою миниатюрную вавилонскую башню и обращаясь при этом весьма бесцеремонно с безмолвными останками своих односельчан. От его усилий некоторые гробы уже трещали, и тогда для большей уверенности Берч решил поставить на самый верх прочный гроб Мэтью Фейнера. Не доверяя глазам, он попытался отыскать на ощупь и почти сразу же наткнулся на него. Это была великая удача, так как Берч непредусмотрительно захихнул его в третий этаж.

Воздвигнув наконец свою башню, Берч решил дать передышку натруженным рукам и немного посидел на нижней ступени этого мрачного сооружения. Затем, прихватив с собой инструменты, с превеликой осторожностью взгромоздился на самый верх и оказался прямо на уровне фрамуги. Она была со всех сторон выложена камнем, и следовало изрядно потрудиться, чтобы сделать из этой щели достаточно большой лаз. Лошадь при стуке молотка как-то странно заржала; в ее ржании слышались не то издевка, не то одобрение. Уместно было и то и другое. С одной стороны, стать узником сего ветхого строения — какой убийственный сатирический комментарий к тщете человеческих усилий! С другой стороны, стремление выбраться из западни, несомненно, заслуживало всяческого уважения.

Наступивший вечер застал Берча за работой. Теперь он совсем уже ничего не видел — за облаками померк даже свет луны, но все же воспрянул духом, так как щель значительно увеличилась. Он был уверен, что к полуночи сумеет выбраться, и к этой уверенности не примешивалось никакой суеверной робости. На него никак не влияли ни время, ни место, ни странное общество у него под ногами. Он со стоическим спокойствием отбивал камень за камнем, тихонько поругиваясь, когда осколки попадали ему в лицо, но от души расхохотался, когда один попал в лошадь, уже давно бившую в остервенении копытом у кипариса. Лаз понемногу увеличивался, и Берч время от времени делал попытку в него пролезть — при этом гробы под ним шатались и скрипели. Он уже понял, что ему не придется ставить еще один гроб — щель была на достигаемом уровне.

Только в полночь Берч решил, что теперь-то уж наверняка пролезет в отверстие. Усталый и вспотевший, он спустился вниз и присел отдохнуть, чтобы набраться сил для последнего рывка. Голодная лошадь непрерывно ржала, и в этом ржании было нечто настолько жуткое, что даже Берчу стало не по

себе. Он уже не чувствовал того подъема, который испытал, уверившись в близком спасении, теперь он опасался, что, раздавшись с возрастом в боках, все-таки не сможет пролезть в дыру. Вновь взбираясь на поскрипывающие гробы, Берч мучительно ощущал собственный вес, а поднимаясь на последний, услышал угрожающий треск, недвусмысленно говоривший, что крышка проломилась. Зря он, видимо, понадеялся на лучшее свое изделие: стоило ему только встать на него, как гнилые доски треснули, и Берч провалился в гроб. Лошадь, испуганная то ли шумом, то ли усилившимся зловоном, издала отчаянный звук, который и ржанием-то нельзя было назвать, и понеслась куда-то в ночную тьму, таща за собой громящую тележку.

Берч понял, что положение его аховое — теперь дыра была значительно выше его груди, но, собрав все силы, решился на отчаянную попытку. Уцепившись за край фрамуги, он попытался подтянуться, однако что-то мешало ему, казалось, его крепко держат за ноги. Тут он впервые за все время испытал страх и изо всех сил постарался освободиться от непонятной помехи, но на ноги будто гири навесили. Внезапно он почувствовал резкую боль, как если бы в лодыжку впилось что-то острое. Берч, несмотря на весь свой ужас, объяснил для себя эту боль вполне естественными причинами, полагая, что у треснувшего гроба обнажились гвозди или расщепленные углы. Он, должно быть, кричал, уж во всяком случае, отчаянно брыкался, почти теряя сознание.

Наконец страшным усилием воли Берч вырвался из западни, протиснулся в щель и рухнул на сырую землю. Он не мог, как выяснилось, идти и пополз, волоча окровавленные ноги и конвульсивно вбиваясь ногтями в могильную землю, а выглянувшая из облаков луна освещала эту жуткую картину. Берч полз к домику кладбищенского сторожа, тело у него было ватным, а движения замедленными, как в ночном кошмаре. Никто не гнался за ним, во всяком случае, когда Армингтон, ночной сторож, услышав царапанье, открыл дверь, кроме Берча, за нею никого не было.

Армингтон уложил Берча на свободную кровать и послал своего сына Эдвина за доктором Дэвисом. Больной был в полном сознании, но ничего не объяснял, повторяя только что-то вроде: «Мои ноги... пусти... один в склепе». Пришедший со своим неизменным саквояжем и ободряющими словами доктор распорядился снять с несчастного верхнюю одежду

и башмаки. Его раны (обе лодыжки в области ахиллова сухожилия были зверски истерзаны, как будто из них вырвали по изрядному куску мяса), казалось, озадачили и даже напугали старого врача. Он с волнением расспрашивал больного о случившемся, дрожащими руками постарался побыстрее обработать и забинтовать раны, не в силах глядеть на это жуткое зрелище.

В вопросах, которые Дэвис задавал гробовщику, звучал плохо скрываемый страх, похоже, он хотел выпытать у своего пациента — что было совсем нехарактерно для старого врача — все до мельчайших подробностей о кошмарном ночном приключении. Его особенно интересовало, уверен ли Берч, что на самом вершине стоял тот самый гроб, и как он сумел отыскать его в темноте, точно ли это был гроб Феннера и как ему удалось отличить его от того, в котором поконился зловредный Асаф Соьер. И мог ли так внезапно треснуть гроб Феннера? Деревенский врач Дэвис видел, конечно, оба гроба во время похорон и, конечно же, посещал Феннера и Соьера незадолго до их смерти. И помнил свое изумление на похоронах Соьера: как это он поместился в гроб, сделанный по размерам тщедушного Феннера?

Через два часа доктор ушел, посоветовав Берчу говорить всем, что поранил ноги о гвозди и острые углы. Кому придет в голову что-нибудь другое? Лучше помалкивать и не обращаться к другим врачам. Берч так и сделал, я же со своей стороны, осмотрев после его откровений старые, бледные уже шрамы, согласился, что это был мудрый совет. Берч навсегда остался хромым — связки так полностью и не восстановились, — но, полагая, самый большой ущерб понесла его душа. Психическое здоровье гробовщика заметно пошатнулось, больно было видеть, как бывший увалень и флегматик вздрагивает при одном лишь упоминании о пятнице, склепе, гробе и подобных вещах. Его напуганная лошадь вернулась-таки домой, но его разум в прежнем виде не возвратился к нему. Он сменил работу, но так и не обрел покоя. Возможно, его мучил страх, возможно, на этот страх позднее наложилось раскаяние в совершенных грехах. Желая забыться, он пристрастился к спиртному.

Той ночью, оставив Берча, доктор Дэвис, взяв с собой фонарь, направился к склепу. При свете луны он увидел разбросанные осколки камней и изуродованный фасад строения. Дверца склепа легко поддалась, едва он дотронулся до нее. Насмотревшись всего в операционных, доктор смело

вошел внутрь и огляделся. Но от тяжелого зловония и открывшегося перед ним зрелища у доктора перехватило дыхание. Он громко закричал, крик перешел в еще более ужасный хрип. В следующее мгновение он уже несли к сторожке и там, забыв все правила профессиональной этики, разбудил пациента и, тряся его, возбужденно и прерывисто зашептал нечто такое, что обожгло уши гробовщика, будто с шипением изрыгаемый яд.

«Это был Асаф! Так я и думал! Я хорошо помню, у него не хватало переднего зуба. Заклинаю, не показывая никому свои раны — там есть эти отметины. Труп почти разложился, но злобное выражение на его лице... на его бывшем лице... видно и сейчас... Ведь это суший дьявол. Помнишь, как он разорил старого Раймонда, и это через тридцать лет после спора о границе между их участками! Или как безжалостно раздавил он прошлым летом укусившего его щенка! Суший дьявол, Берч! Он может мстить и из гроба. Спаси меня, Боже, от его мести!

Зачем ты сделал это, Берч? Конечно, он был негодяй, и я не виню тебя за этот бракованный гроб, но все же ты зашел слишком далеко. Экономить, конечно, не грех, но ведь старина Феннер был такого маленького роста!

Этого зрелища я никогда не забуду. Брыкался ты, видать, здорово — гроб Асафа валяется на земле, череп расколот, кости раскиданы. Всякого я насмотрелся, но такого не упомяну! Жуткое зрелище! Бог свидетель, ты, Берч, получил по заслугам. Череп заставил меня содрогнуться, но то, что я увидел потом, было во сто крат хуже: *содранное с твоих лодыжек мясо лежит в бракованном гробу Мэтта Феннера!*»

Перед тем как немного отдохнуть, я хочу сделать эти записи для будущего отчета. То, с чем я встретился, так удивительно, так не похоже на все виденное мною раньше и так превосходит все наши представления, что заслуживает самого тщательного описания.

Я приземлился на главную посадочную площадку Венеры 18 марта по земному календарю и VI, 9 — по местному. Меня включили в основную, возглавляемую Миллером группу, выдали все необходимое, в том числе часы, учитывающие более ускоренное, по сравнению с Землей, вращение Венеры, и заставили пройти обычную серию тренировок в шлеме. Через два дня я был признан годным для исполнения своих обязанностей.

Покинув на рассвете VI, 12 центр компании по заготовке кристаллов в Терра-Нова, я направился по южному маршруту, разработанному Андерсоном из космоса. Идти было трудно — после дождя джунгли здесь почти непроходимы. Должно быть, именно влага дает всем этим ползучим и вьющимся растениям прочность кожи — даже с помощью ножа с ними меньше чем за десять минут не справишься. К полудню немного подсохло, растения стали нежнее и гибче, но и тогда я продвигался вперед медленно. Эти кислородные маски Картера невероятно тяжелы, даже с половинным запасом нетренированный человек далеко не уйдет. Маски Дюбуа с их губчатой структурой резервуара — вместо трубчатой Картера — дают при том же весе в два раза больше воздуха.

Прибор для обнаружения кристаллов работал отлично, подтверждая направление, разработанное Андерсоном. Любопытно, как хорошо действует на практике принцип структурной близости — без всяких накладок, которые то и дело случаются, когда имеешь дело с «волшебной лозой» у себя на планете. Здесь в радиусе двадцати миль должны быть большие залежи кристаллов, хотя, думаю, эти чертовы людоящеры здорово их стерегут. Возможно, они считают, что мы зря торчим на Венере из-за кристаллов, так же как и мы думаем, что они не от большого ума лезут в грязь, где только ее ни увидят, или держат на пьедестале в своем

религию — они ведь не видят в кристаллах никакого другого проку, кроме как молиться на них. За исключением этих своих кроме как молиться на них. За исключением этих своих религиозных символов, ящеры готовы поделиться с нами всем остальным, но даже если бы они и поняли подлинную ценность своих камней, то все равно их хватило бы на обе наши планеты. Мне, во всяком случае, надоело обходить охраняемые крупные скопления кристаллов, выискивая отдельные экземпляры в зарослях по берегам рек. Иногда мне хочется, чтобы с родины прибыли отборные воинские части и уничтожили всех этих чешуйчатых недотеп. На всю операцию хватило бы двадцати кораблей с солдатами. Ведь несмотря на все их города и башни, никому и в голову не придет считать этих ублюдков людьми. Они умеют только строить жилища, да еще метать отравленные стрелы и биться мечами, и я не думаю, что их так называемые «города» чем-то отличаются от муравейников или поселений бобров. Сомневаюсь, что у них есть настоящий язык. Все эти предположения о телепатической связи посредством щупалец, расположенных у них на груди, кажутся мне чистым бредом. Просто всех вводит в заблуждение их прямая осанка — чисто случайное сходство с земным человеком.

Хотелось бы хоть раз пройти через джунгли и не угодить по дороге в их засаду, не попасть под град дротиков. Может, они были и ничего поначалу, когда мы еще не отбирали у них кристаллы, но теперь как с цепи сорвались — то стрелами забрасают, а то норовят перерубить водный шланг. Я начинаю приходить к выводу, что у них есть что-то вроде шестого чувства. Никто из них не нападает на человека — разве что издали метнет дротик, — если у того нет при себе кристалла.

Около часу дня пущенная стрела чуть не снесла у меня с головы шлем, и на какой-то момент я решил, что порвана одна из кислородных трубок. Эти хитрые бестии двигались совершенно бесшумно, и трое из них окружили меня. Их трудно было различить в зарослях, цветом они с ними сливались, но по шорохам и по еле заметному покачиванию лиан я все-таки выследил их и уложил всех разом из огнемета. Один оказался восьми футов роста, с хоботом, как у тапира, двое других были середнячками, футов по семи. Они держатся только благодаря своему численному превосходству, а так один взвод с огнеметами мог бы основательно потрепать этот народ. Странно, однако, что именно они стали хозяевами планеты. Остальные — акманы и скоры, из пресмыкающихся,

и летающие тюкасы, которые живут на другом континенте, — значительно уступают им в интеллекте. Впрочем, возможно, и норы на Дионеанском плоскогорье скрываются еще какие-нибудь существа.

Около двух часов стрелка моего детектора отклонилась на запад, указывая местонахождение единичных кристаллов. Это совпадало с расчетами Андерсона, и я соответственно изменил направление. Идти стало труднее — путь шел в гору, и еще потому, что вокруг кишмя кишели разные животные. Я бил ножом угратов и давил скор, а мой кожаный комбинезон был весь усыпан семенами лопающегося при малейшем прикосновении дароха, который прямо-таки устилал мне путь. Туман едва пропускал солнечный свет, и потому грязь не высыхала. Ноги при ходьбе погружались на пять-шесть дюймов, каждый раз приходилось их с хлопанием вытаскивать. В таком климате, конечно, следовало бы носить костюмчик не из кожи. Обыкновенная материя здесь бы сгнила; тонкая металлическая нервущаяся ткань — вот что здесь нужно.

В три часа тридцать минут я поел, хотя какая уж тут еда, просто проглотил чертовы таблетки. Вскоре я отметил, что пейзаж вокруг меня резко переменялся, появились яркие, видимо, ядовитые цветы, постоянно меняющие цвет и время от времени принимающие призрачные очертания. Все вокруг мерцало, и яркие вспышки света появлялись то там, то тут, как бы танцуя в замедленном, но четком ритме. Температура в унисон с ритмической вибрацией также начала колебаться.

Глубокая, равномерная пульсация, казалось, сотрясала все вокруг, заполняя каждый уголок пространства и проникая во все клетки тела и мозга. Я утратил чувство равновесия и брел вперед, пошатываясь, как пьяный. Попытался было закрыть глаза и прикрыть руками уши, но легче не стало. Сознание у меня, однако, оставалось ясным, и спустя некоторое время до меня дошло, в чем тут дело.

Я встретил, наконец, одно из тех необычных растений-миражей, о которых много рассказывали мои товарищи. Андерсон тоже предупреждал меня и описал их внешний вид довольно точно: шершавый стебель, колючие листья, пестрые цветы. Их вызывающий галлюцинации аромат проникает сквозь любую защитную маску.

Помня, что приключилось три года назад с Бейли, я впал в панику и рванул из всех сил вперед, хотя еле

держался на ногах в этой тяжелой, погружающей в безумие атмосфере. Затем здравый смысл вернулся ко мне, и я понял, что нужно просто свернуть в сторону от опасных цветов, уйти от источника пульсации и, резко сменив направление, постараться идти как ни в чем не бывало, пока не окажусь вне радиуса действия растений.

Все в глазах у меня кружилось с бешеной скоростью, но я постарался выбрать нужное направление и начал прорубать себе путь. Видимо, далеко не прямой, потому что, как мне показалось, миновали часы, прежде чем я освободился от всепроникающего удушливого аромата. Постепенно танцующие огоньки исчезали, прекратилась и пульсация, мир вновь обрел устойчивость. Почувствовав себя в безопасности, я взглянул на часы и с удивлением увидел: четыре часа двадцать минут. Мне казалось, что прошла вечность, а на самом деле мое приключение продолжалось немногим более получаса.

Любое промедление было, однако, нежелательным, ведь я и так потерял время, спасаясь от этих растений. Собрав все свои силы, я решительно устремился вверх по склону холма, куда указывал детектор. Пробираясь сквозь заросли было по-прежнему трудно, но живности попадалось меньше. Только один раз плотоядное растение обхватило мою правую ногу и держало так цепко, что мне пришлось высвободиться с помощью ножа, изрубив кровожадный стебель в клочья.

Примерно через час заросли поредели, а к пяти часам я пересек рощу гигантских древовидных папоротников с небольшим подлеском и вышел на открытое, заросшее мхом плато. Я шел быстро — детектор показывал, что разыскиваемый мною кристалл где-то поблизости. Странное дело, ведь большинство этих одиночных яйцеобразных сфероидов отыскивалось по берегам речушек в самой глубине джунглей, и уж никак не на равнине, лишенной всякой растительности.

Плато медленно поднималось вверх, увенчиваясь скалистыми гребнем. Вершины я достиг в пять часов тридцать минут и увидел перед собой довольно большую поляну, окаймленную вдаль лесом. Это было явно то плоскогорье, которое пятьдесят лет назад заметил из космоса и нанес на карту Матсугава, назвав его Эриксом. Почти в центре его находился предмет, при виде которого у меня от радости сильно забило сердце. Он ярко сверкал, несмотря на довольно плотный туман, и, казалось, целиком поглотил всю интенсивность света, которую туман похитил у солнечных лучей. Да,

это, несомненно, был тот самый кристалл, который я разыскивал, — не больше куриного яйца, но в нем столько энергии, что ее на год хватит для обогрева целого города. Не удивительно, думал я, созерцая отдаленный блеск, что эти жалкие люди-ящеры поклоняются кристаллам, хотя и не имеют ни малейшего понятия об энергии, которая таится в них.

Я перешел на бег, стремясь как можно скорее завладеть долгожданным призом, и меня очень раздосадовало, что плотный мох уступил вскоре место вязкому месиву, в котором изредка проступали кочки, заросшие травой и выюнками. Но я шлепал прямо по грязи, не раздумывая и не остерегаясь людей-ящеров. На таком открытом пространстве они вряд ли устроят засаду. По мере моего приближения блеск кристалла все возрастал, — похоже, мне попалось нечто уникальное, превосходнейший экземпляр! Перепрыгивая с кочки на кочку, я ликовал.

С этого момента мне надо особенно тщательно обдумывать записи для будущего отчета, потому что придется излагать события совершенно невероятные, которые, к счастью, легко доказать. В превосходном расположении духа я спешил вперед; до кристалла, лежавшего среди мерзкой жижи (не странно ли?) на некоем возвышении, оставалось каких-то сто ярдов, когда внезапно страшная сила ударила меня в грудь и отшвырнула прямо в грязь. С минуту я лежал на спине, не шевелясь и ничего не соображая от неожиданного потрясения. Потом с трудом поднялся на ноги и почти бессознательно начал счищать с комбинезона налипшую грязь.

Я не понимал, что со мной случилось. Что меня откинуло с такой силой? Передо мной ничего не было. Может, я сам шлепнулся в грязь? Однако в кровь разбитые фаланги пальцев и ноющая грудь убеждали в другом. А может, все случившееся — просто галлюцинация, вызванная где-то притаившимся растением-миражом? Но нет, маловероятно, обычных симптомов отравления я не ощущал, а кроме того, на таком открытом месте это яркое и ни на что не похожее растение бросалось бы в глаза. Будь я сейчас на Земле, мог бы предположить, что здесь установили барьер системы «N», загораживающий запретную зону, но в этом Богом забытом месте такое даже предполагать было нелепо.

Собравшись с духом, я решил осторожно обследовать все вокруг. Держа в вытянутой руке нож, чтобы он первым встретил препятствие, я снова направился к сверкающему кристаллу, ступая шаг за шагом с величайшей осторож-

ностью. На третьем шаге мой нож наткнулся на твердую поверхность, которую глаза мои не видели.

После минутного замешательства я осмелел. Вытянув вперед левую руку в перчатке, я убедился, что передо мной плотное невидимое препятствие. Или же это тактильная галлюцинация? Проведя рукой по преграде, я убедился, что она уходит в обе стороны — сплошная, гладкая без всяких стыков плоскость. Раздираемый любопытством, я снял перчатку и обследовал преграду голой рукой. Она в самом деле была твердой и гладкой, как стекло, а по контрасту с теплым воздухом — холодной, как лед. Я до предела напряг зрение, тщетно стараясь различить хоть какие-то признаки материала, из которого сделана эта странная конструкция. Судя по пейзажу впереди, здесь не действовал закон преломления света. Не отражала эта плоскость и солнечных лучей.

Любопытство мое возрастало, вытесняя все прочие эмоции, и я возобновил свои эксперименты. На ощупь установил, что невидимая преграда начинается у самой земли и уходит вверх, высоту ее мне не удалось установить. И в длину она тянулась в обе стороны на неопределенное расстояние. Следовательно, это стена, хотя и неясно, из какого она материала и каким служит целям. Я опять подумал о растении-мираже, но, поразмыслив, окончательно выбросил это предположение из головы.

Постукивая по барьеру рукояткой ножа и носками тяжелых ботинок, я старался по звуку догадаться о природе материала. Особый бетон? Похоже, хотя на ощупь вещество больше всего напоминает стекло или металл. Несомненно, я встретился с чем-то необычным, что не вписывается в рамки моего предыдущего опыта.

Следующим логическим действием стала попытка выяснить размеры стены. Труднее всего будет определить ее высоту, может, это вообще не удастся. Легче разобраться с длиной и формой. Я начал осторожно продвигаться влево и уже через несколько шагов понял, что стена не прямая, а скорее всего идет огромным кругом или эллипсом. Но тут мое внимание переключилось на другой объект, связанный с кристаллом, до которого я так до сих пор и не добрался. Как я уже говорил, издали казалось, что сверкающий предмет занимает какое-то странное положение, будто лежит на большом возвышении, выступающем из грязи. Теперь, находясь от него на расстоянии в сотню ярдов, я смог сквозь туман различить, что же это за возвышение. Это было

тело человека в кожаном комбинезоне. Он лежал на спине, а немного поодаль, в грязи, валялась кислородная маска. В правой руке, судорожно прижатой к груди, он держал приведший его сюда кристалл — необычайно крупный сфероид, настолько большой, что еле помещался в руке мертвеца. Даже издали было видно, что человек умер недавно. Следов разложения почти не заметно, а в здешнем климате это означает, что смерть наступила не более чем сутки назад. Скоро на труп налетят мерзкие мухи-фарноты. Интересно, кто этот человек? Он прилетел со мной. Наверняка один из старожил, отправился в долгую заготовительную экспедицию и забрел сюда случайно, ничего не зная об исследованиях Андерсона. Теперь же все проблемы для него закончились и он спокойно лежит, зажав в окоченевшей руке сверкающий кристалл.

Я простоял так минут пять, озадаченно глядя на труп. Мной овладела смутная тревога, невыносимо хотелось бежать отсюда прочь. Причиной смерти не могли быть люди-ящеры, ведь кристалл по-прежнему оставался у мертвеца. Есть ли здесь какая-нибудь связь с невидимой стеной? Где он нашел кристалл? Прибор Андерсона зарегистрировал наличие в данном районе кристаллов задолго до того, как этот человек погиб. Теперь невидимая стена казалась мне чем-то зловещим, и я с содроганием отшатнулся от нее. Но деваться некуда — нужно разгадать эту тайну как можно скорее, причем, помня о недавней трагедии, вести себя очень осторожно.

Прикидывая так и эдак, я догадался, как проще всего определить высоту стены или хотя бы понять, можно ли вообще это сделать. Захватив пригоршню грязи и подождав, пока она немного обсохнет, я швырнул ее в прозрачную стену, целясь как можно выше. На высоте около четырнадцати футов ком глухо стукнулся о невидимую преграду, расплылся и потек вниз густым месивом, которое почему-то исчезало на глазах. Ясно, стена высокая. Второй ком, брошенный уже на высоту восемнадцати футов, опять стукнулся о невидимую поверхность и так же быстро исчез, как и первый.

Собравшись с силами, я решил бросить третий ком еще выше. Отжал его покрепче и дал получше обсохнуть. Затем швырнул вверх под таким острым углом, что он мог бы и не долететь до стены. Однако он благополучно долетел и даже перелетел, шлепнувшись с гулким плеском в грязь на другой стороне. Теперь я приблизительно представлял себе высоту преграды — что-то около двадцати футов.

Не стоило даже пробовать взобраться на вертикальную, абсолютно гладкую стену такой высоты. Следовательно, надо идти вдоль нее в надежде отыскать вход, отверстие или что-либо в этом роде. Какой она формы — в виде круга, замкнутой фигуры, а может, всего лишь дуги или полукруга? Приняв решение идти вдоль стены, я зашагал влево,водя руками по невидимой поверхности на тот случай, если нащупаю окно или другое отверстие. Перед тем как отправиться в путь, я попытался как-то обозначить отправную точку — вырыл ногой в грязи ямку, однако она тут же затекла. И все же я запомнил это место, приметив в леске вдали высокий сайкад, который находился на одной прямой со сверкающим кристаллом. Теперь, если стена окажется замкнутой, можно будет это определить, очутившись снова на том же месте.

Немного пройдя вдоль стены, я решил, что она, скорее всего, образует окружность диаметров около ста ярдов. Неужели этот человек лежит внутри замкнутого пространства? Это мне предстояло вскоре узнать.

Описав полукруг, я пришел к выводу, что труп действительно внутри. Вглядевшись в лицо мертвеца с близкого расстояния и понял, что человек был сильно испуган, это запечатлелось в его остекленевших глазах. Он напомнил мне по внешности Дуайта, ветерана, с которым я лично не был знаком, но видел в прошлом году в центре. Кристалл, который он сжимал в руках, был поистине прекрасен — крупнейший из всех виденных мною.

Как раз в тот момент, когда я очутился так близко от тела, что мог, не будь стены, до него дотянуться, моя рука, продолжая скользить по невидимой поверхности, вдруг наткнулась на острую грань. Очень скоро мне удалось определить, что это край отверстия шириной в три фута; проем начинался у самой земли и кончался где-то выше моего роста. Никакой двери не было — ни сейчас, ни, видимо, раньше: по краям отверстия отсутствовали петли. Не раздумывая, вошел я внутрь и сделал два шага к распростертому в грязи телу, которое лежало поперек невидимого коридорчика. Любопытная подробность — пространство и внутри оказалось разделенным прозрачными перегородками.

На теле трупа не было следов насилия. Это не удивило меня: кристалл находился на месте, следовательно, квазиреплики-аборигены тут ни при чем. Озабоченный загадкой этой смерти, я опять обратил внимание на лежащую у ног

мертвеца кислородную маску. Это уже что-то. Без нее ни один человек не может дышать атмосферой Венеры дольше тридцати секунд. Дуайт — если это он, — очевидно, потерял маску. Может, плохо ее застегнул и ремешки не выдержали веса трубок? С маской Дюбуа такого бы не случилось. А с этой за тридцать секунд поломку не исправишь. Да и цианогена могло быть в атмосфере больше обычного. Вполне возможно, что он залюбовался кристаллом. Вынул его, наверное, из кармана — вот и клапан растегнут.

Пытаясь освободить кристалл из окостеневших рук мертвого старателя, я понял, что задача эта не из легких. Сам сфероид был больше человеческого кулака и переливался, как живой, в красноватых лучах заходящего солнца. Дотронувшись до сверкающей драгоценности, я непроизвольно вздрогнул: показалось, что, взяв ее, я как бы приобщаюсь к трагической судьбе ее прежнего владельца. Впрочем, сомнения скоро рассеялись, и я положил кристалл в карман моего кожаного комбинезона.

Закрыв шлемом лицо мертвеца с устремленными в пустоту глазами, я выпрямился и вошел через невидимый проем в коридорчик.

Меня обуревало любопытство. С какой целью построено это сооружение, кем и из какого материала? Ясно одно — это не произведение человеческих рук. Наши космические корабли впервые сели на Венеру только семьдесят два года назад, и единственный форпост на планете был в Терра-Нова. Кроме того, люди не умеют изготавливать полностью прозрачные материалы, вроде того, из которого построено это сооружение. Посещение Венеры в доисторические времена тоже исключалось, и, следовательно, оставалось лишь предположить, что сооружение воздвигнуто местными строителями. Может, до людей-ящеров на Венере жили высокоорганизованные существа? Что касается нынешних хозяев планеты, то, несмотря на их аккуратненькие постройки, трудно предположить наличие у них таких выдающихся способностей. Скорей всего, в древности на Венере существовала другая цивилизация, последним памятником которой и осталось это чудо. А может, будущие экспедиции найдут здесь и другие памятники исчезнувшей цивилизации? Цели, которые преследовались при строительстве таких конструкций, могли быть самые разные, но странный и непрактичный материал наводит на мысль: это что-то связанное с религиозным культом.

Понимая, что в одиночку эти загадки не разгадать, я решил хотя бы немного изучить невидимую структуру. Надо полагать, поверх этой девственной грязи раскинулся невидимый лабиринт из множества комнат и коридоров; стоило разобраться в его плане. Итак, запомнив положение выхода по отношению к труп, я начал продвигаться по коридору к центру лабиринта, где, возможно, побывал и покойник. Помещение у выхода я решил обследовать позже.

Несмотря на пробивающийся сквозь туманную дымку солнечный свет, приходилось продвигаться вперед на ощупь, вслепую. Коридор вскоре резко свернул в сторону и пошел дальше, к центру, закручиваясь спиралью, витки которой становились все короче. Иногда я нащупывал боковые тупиковые помещения, попадались мне также и разветвляющиеся ходы. Каждый раз я выбирал по возможности центральный коридор, который казался продолжением изначально выбранного маршрута. Обследовать боковые ходы можно будет позже, когда я дойду до центра и поверну назад. Все происходящее было точно сон — я шел невидимыми коридорами по невидимому сооружению, созданному неведомо кем на чужой планете.

Наконец, все так же пробираясь ощупью и спотыкаясь, я попал в просторное помещение. Обойдя его, я установил, что это круглая комната футов десяти шириной, а сопоставив положение лежащего трупа с высоким деревом, убедился, что нахожусь в центре невидимой конструкции. Из центрального помещения вели пять коридоров, не считая того, которым я пришел. Вход в этот последний коридор я запомнил накрепко, также соотнес его расположение со своими главными ориентирами.

Пространство внутри этого помещения было абсолютно пустым — только грязь под ногами вместо пола. Желая узнать, есть ли надо мной крыша, я повторил эксперимент с комом грязи и убедился, что нету. Если она и была прежде, то, видимо, обрушилась; впрочем, мне ни разу не попались обломки. Странно, за многие годы в такой древней постройке не обвалилась стена, не образовались пробоины — словом, никаких признаков обветшания...

Что же это все-таки такое? Откуда взялось? Из чего сделано? Почему на исключительно гладких стенах нет следов соединения отдельных секций? Почему отсутствуют двери, как внутри, так и снаружи? Ясно только одно — я нахожусь в круглой постройке без крыши и дверей, стены которой изготов-

лены из плотного, гладкого, абсолютно прозрачного материала. Диаметр постройки сто ярдов, а в центре ее находится небольшой зал, к которому ведет множество коридоров. Вот все, что мне удалось пока выяснить.

Солнце — раскаленный диск в оранжево-алом нимбе, плывущий над затянутым дымкой лесом, — почти село на западе. Мне следовало поторопиться, чтобы устроиться на ночлег на твердой земле до наступления темноты. Я еще прежде решил устроить привал на мшистом плато вблизи от вершины, где впервые увидел далекое сияние кристалла. Рассчитывал, что мне, как всегда, повезет и люди-ящеры не спугнут мой сон. Вообще-то положено отправляться в подобные экспедиции группами не менее двух человек, чтобы ночью обязательно был дежурный, но ночные нападения случаются редко, и компания смотрит на несоблюдение правил сквозь пальцы. Эти чешуйчатые ублюдки ничего не видят ночью даже в двух шагах, несмотря на все свои дикарские факелы.

Найдя свой коридор, я отправился в обратный путь. Дальнейшее изучение можно продолжить завтра. Я опять продвигался на ощупь, полагаясь на свои руки, общее представление о конструкции, память, а также на приблизительные ориентиры в виде растущих там и сям чахлах пучков травы. Вскоре я оказался снова в непосредственной близости от трупа. Над покрытым шлемом лицом висели два фарнота, это означало, что труп начал разлагаться. Чувствуя непреодолимое отвращение, я инстинктивно поднял руку, чтобы прогнать этих первых могильщиков, и тут произошло нечто неожиданное: рука моя стукнулась о невидимую преграду. Значит, несмотря на всю мою осторожность, я вышел не в тот коридор, где лежал мертвец. Этот идет параллельно, следовательно, я где-то ошибся, свернув не туда.

Надеясь отыскать-таки проход, я продолжил путь, но скоро опять уперся в прозрачную стену. Надо было возвращаться в центральный зал и начинать все заново. Трудно сказать, где я допустил ошибку. Я оглядел землю: не остались ли чудом мои следы, но нет, любая вмятина в этой грязи тут же затягивалась. Попасть в центральное помещение было нетрудно, я вернулся и стал тщательно обдумывать обратный путь. Видимо, в прошлый раз взял чересчур вправо. Надо пойти коридором, расположенным левее, а где ошибся, пойму по ходу дела.

Теперь, продвигаясь ощупью, я был совершенно в себе уверен и свернул налево там, где раньше сбился с пути.

Приходилось тщательно следить за круговоротами спиралевидного коридора, чтобы не угодить в боковые ответвления. И все же вскоре я с горечью убедился, что на этот раз труп оказался еще дальше от меня, чем прежде, — коридор закончился у внешней стены. В надежде отыскать новый выход наружу, я медленно продвигался вперед, прижавшись к невидимой стене, но неожиданно уперся в твердую перегородку. Конструкция здания была явно сложнее, чем представлялось мне поначалу.

Что делать: отправиться ли вновь к центру или же попробовать поискать смежные коридоры, которые могут привести к телу? В последнем случае, если не придумаю способа оставить следы, могу совсем сбиться с пути. Но как это сделать? Голова моя лихорадочно работала. У меня при себе нет ничего подходящего — ничего, что можно рассыпать или раскидать.

Ручка не оставляла на невидимой стене следов. Были, правда, еще пищевые таблетки, но их нужно поберечь. Если бы я и решился потратить таблетки, их все равно не хватило бы, да и жидкая грязь, скорее всего, засосет их. Я поискал в карманах старомодную записную книжку, к которой часто прибегал на Венере, хотя во влажной атмосфере бумага быстро сырела. Можно разорвать листки на мелкие клочки и раскидать по пути. Но книжки я не нашел, а разорвать то, что ее заменяло — тонкие и прочные металлические вращающиеся пластины для записок, — не было никакой возможности. То же самое относилось и к одежде. В необычной атмосфере планеты без непроницаемого кожаного комбинезона и специального нижнего белья не обойтись.

Я попытался размазывать по стенам хорошо отжатую грязь, но она исчезала на невидимой поверхности почти мгновенно, как и те комья, которые я бросал, чтобы определить высоту перегородки. Наконец, вытащив нож, я стал царапать гладкую стену, стараясь оставить на ней хоть какой-то след, который впоследствии можно будет если не увидеть, то хоть нащупать рукой. Все бесполезно — нож только скользил по дикийнному материалу.

Отчаявшись в попытках как-то пометить свое передвижение, я снова направился в центральный зал. Попасть туда всякий раз бывало почему-то проще, чем выбраться обратно, и возвращение мое много времени не заняло. На этот раз я отмечал на записывающем устройстве каждый поворот,

оставив предположительный чертеж пути и отметив на нем все расходящиеся коридоры. Чертовски медленно это у меня получалось: все определялось на ощупь, да и возможность ошибки была велика. Но мои старания не могли не окупиться.

Суиерки, которые на Венере делятся долго, уже сгущались, когда я снова оказался в центральном зале, все еще не теряя надежды до темноты выбраться наружу. Сравнив составленный по пути чертеж с прошлыми маршрутами, я решил, что обнаружил ошибку, и уверенно направился обратно по невидимым переходам. Взял еще левее, чем в прошлый раз, чтобы не заблудиться, сверял с пластинами каждый свой поворот. В полутьме нечетко обрисовывался силуэт мертвеца, теперь уже основательно облепленного фарнотами. Еще долго эти грязные твари будут прилетать сюда с равнины, чтобы творить свое мерзкое дело. С отвращением приблизившись к трупу, и собрался было пройти мимо, как вдруг ударился о стену — меня снова угораздило сбиться.

С болью в душе я понял, что окончательно заблудился. Устройство здания было слишком сложным, чтобы принимать скороналительные решения, и мне следовало все тщательно выверить, прежде чем забираться в него. Так или иначе, нужно попасть на твердую почву до наступления полной темноты, и я опять направился в центр здания. Шел я теперь уже по интуиции, ошибаясь и путаясь, возвращаясь назад, и, сверяя маршрут с записями, начинал свой путь заново. Выключая фонарик, я с интересом отметил, что его свет никак не отражается на невидимых стенах. Впрочем, меня это не особенно удивило — ведь и само солнце не отражалось в этом странном материале.

Уже совсем стемнело, а я всё еще блуждал по лабиринту. Плотный туман скрывал большинство звезд и планет, но Земля отчетливо вырисовывалась в юго-западной части неба в виде мерцающей голубовато-бирюзовой звездочки. Она только что вышла из противостояния и была превосходно видна в подзорную трубу. Когда туман немного расходился, я просматривал в трубу даже Луну.

Мрак поглотил мой единственный ориентир — труп, и я, спотыкаясь, снова побрел в центральный зал. Несколько раз сбившись с пути, я наконец нашел его. Пришлось отказаться от мысли ночевать на твердой земле, делать нечего, надо до рассвета хотя бы отдохнуть. Неприятно, конечно, спать прямо в грязи, но в наших кожаных комбинезонах это все-таки возможно. Мне приходилось спать и в худших

условиях, а преодолеть естественное отвращение поможет страшная усталость.

В настоящий момент я сижу на корточках в центральном зале, по щиколотку в грязи, и делаю эти записи при свете фонарика. В моем странном положении есть что-то комичное. Заблудиться в здании без дверей — в здании, которое даже не вижу! Несомненно, уже рано утром я выберусь отсюда и во второй половине дня буду в Терра-Нова с кристаллом. Он великолепен и царственно блистает даже при слабом свете фонаря. Только что опять им любовался. Несмотря на усталость, сон не приходит, так что я довольно подробно записываю все случившееся. Однако пора кончать. Хорошо еще, что здесь можно не опасаться визита проклятых аборигенов. Неприятно, конечно, близкое соседство с трупом, но, к счастью, кислородная маска предохраняет от самого худшего. Надо экономно пользоваться запасами кислорода. Сейчас приму две пищевые таблетки и буду спать. Остальное потом.

На следующий день — после полудня, VI, 13

Все оказалось сложнее, чем мне представлялось. Я все еще в здании, и придется основательно попотеть, чтобы выбраться сегодня на твердую землю. Вчера долго не мог уснуть и пробудился чуть ли не в полдень. Мог бы спать и дольше, но меня разбудил солнечный свет, пробившийся сквозь туман. Труп выглядит ужасно — над ним уже трудятся червеобразные сифилы, вьются облаком фарноты. Шлем свалился с лица, на которое лучше не смотреть. Я еще раз порадовался, что у меня есть кислородная маска.

Отряхнувшись и досуха обтеревшись, я принял пару таблеток и вставил новый кубик хлорновато-кислого калия в электролизатор маски. Кубики расходовались мною экономно, и все же хорошо бы их было больше. После сна я чувствовал себя лучше и надеялся быстро выбраться из здания.

Тщательно просмотрев все свои записи и чертежи, я был потрясен сложным переплетением коридоров и стал опасаться, что ошибся в чем-то главном. Из шести коридоров, ведущих из центрального помещения, я выбрал тот, по которому, судя по всему, пришел. Выбрал, учитывая зрительный ориентир. Когда смотришь из этого коридора, труп, находящийся в пятидесяти ярдах, лежит на одной линии с громадным лепидодендром из отдаленного леса. Теперь этот ориентир показался мне не таким уж надежным: мертвец

все же довольно далеко от меня и из соседнего коридора его положение по отношению к дереву выглядит почти так же. Да и дерево не слишком уж отличается от других лепидодендронов, виднеющихся на горизонте.

Все взвесив, я, к своему величайшему сожалению, понял, что не могу ответить, какой коридор ведет к цели. Вступал ли я каждый раз в новую часть лабиринта или все коридоры соединены между собой? Надо проверить. Жаль, что нельзя оставлять по дороге какие-нибудь следы, одна вещь в запасе у меня для этого есть. Костюм трогать не следует, но вот шлем, благо шевелюра у меня густая, можно использовать. Достаточно большой и светлый, он не затеряется в грязи. Сняв свой полусферический головной убор, я положил его у входа в самый правый из трех намеченных мною для проверки коридоров.

Я собирался отправиться сначала по этому маршруту, сворачивая там, где считал нужным, и сверяясь при этом со своим планом. Если путь окажется ошибочным, придется испытать все другие варианты маршрута. Предположим, что и здесь меня ждет неудача. Тогда я сделаю то же самое со вторым маршрутом, а в случае необходимости — и с третьим. Нужно только сохранять спокойствие, и верный путь найдется. Даже если мне долго не будет везти, все же я непременно выберусь к концу дня на плато и ночную наковню на сухом месте.

Первые результаты не обнадеживали, хотя мне удалось изучить избранный маршрут немногим более чем за час. Все его коридоры оказались тупиками и заканчивались у внешней стены далеко от трупа. Вчера я на них ни разу не выходил. Однако, как и раньше, никакого труда не составляло найти дорогу в центральный зал.

Около часу дня я передвинул шлем ко второму входу и начал изучать систему его коридоров. Поначалу отдельные ответвления показались мне знакомыми, но вскоре я понял, что попал в неизвестную часть лабиринта. До трупа было далеко, и в центральное помещение я теперь уже не мог попасть, хотя фиксировал каждый поворот. Некоторые ходы и их пересечения были как бы неуловимы и не попадали в мой вчерашний составленный план. Во мне нарастали одновременно ярость и уныние. Но терпение в конце концов обязательно победит, хотя поиски обещают быть долгими и трудными.

Было уже два часа, а я все еще бродил незнакомыми коридорами, нащупывая путь руками и делая тщательные пометки

в своем плане. Я проклинал глупость и праздное любопытство, завлекшие меня в чертов лабиринт. Ведь возьми я кристалл и уйди с этого проклятого места, быть бы мне давно целым и невредимым в Терра-Нова.

Неожиданно мне пришло в голову: а не попытаться ли сделать ножом подкоп под невидимой стеной? Так будет легче выйти наружу или хотя бы в примыкающий к выходу коридор. Знать бы только, на какую глубину уходит фундамент здания. Впрочем, повсеместная грязь говорит о том, что другого основания, кроме земли, у него нет. Я стал яростно копать своим широким острым ножом, а прямо передо мной лежал труп, с каждым часом превращаясь во все более жуткое зрелище.

Почва на шесть дюймов в глубину была сплошным месивом, но глубже обретала исключительную твердость. Отличалась она и цветом — серая глина, похожая на ту, что встречается у северного полюса Венеры. По мере приближения к невидимой стене грунт становился все тверже. Жидкая грязь тут же заливала вырытую ямку, но, несмотря ни на что, я продолжал работу. Если удастся сделать подкоп, никакая грязь не помешает мне выбраться.

На глубине трех футов почва оказалась настолько плотной, что рыть стало невозможно. С подобным сопротивлением материала я еще не встречался, даже на этой планете, — плотность была совершенно уникальная. Мой нож отсекал и дробил мельчайшие частицы этой невиданной глины, которые больше напоминали кусочки камня или металлическую стружку. Наконец нож и вовсе перестал справляться, пришлось отступить, так и не добравшись до основания стены.

Эта часовая работа была не только бесполезной, но и вредной: я израсходовал много энергии, проголодался и был вынужден принять лишнюю таблетку, а также положить еще один кубик в кислородную маску. В обследовании лабиринта наступила большая пауза — я очень устал и не мог даже двигаться. Немного отчистив руки и привалившись к невидимой стене, так, чтобы не видеть трупа, я сел писать эти заметки.

Тело теперь представляет сплошную копошащуюся массу: видимо, запах гниения привлек акманов из отдаленного леса. Растущие на кочках эфы тоже тянут к трупу свои прожорливые щупальца, но его защищает стена. Я мечтаю о появлении какого-нибудь хищника, вроде скоры, который мог бы почувствовать мой запах и пробраться в лабиринт.

Такие существа прекрасно ориентируются. Можно проследить его путь и занести в план. А когда доберется до меня — пристрелить, с моим пистолетом это не проблема.

Но на это вряд ли стоит надеяться. Сейчас закончу писать, немного отдохну, а потом продолжу поиски. Вернувшись в центральный зал — это будет нетрудно, — пойду левым коридором. Может, выберусь до темноты...

Ночь — VI, 13

Новое затруднение. Выбраться отсюда будет хлопотно — возникли совершенно непредвиденные обстоятельства. Еще одна ночь в грязи, а завтра — бой.

После неудачного подкопа я немного отдохнул и в четыре часа снова отправился в путь. Приблизительно минут через пятнадцать достиг центрального зала и переложил шлем к последнему выходу. Продвигаясь ощупью по этому маршруту, я, казалось, узнавал знакомые места, но уже минут через пять был вынужден остановиться: открывшееся моим глазам зрелище насторожило меня.

Четверо или пятеро гнусных людей-ящеров вышли из дальнего леса. На таком большом расстоянии я плохо их различал, но мне почудилось, что, увидев меня, они остановились и, повернувшись к лесу, начали делать какие-то знаки, после чего к ним присоединилась еще дюжина сородичей. Все вместе они направились к невидимому зданию, а я тем временем рассматривал их. Раньше мне доводилось видеть этих ящеров только издали — в туманной дымке джунглей.

Сходство с пресмыкающимися поразительное, хотя, должен сказать, чисто внешнее. Когда они приблизились, стало заметно, что с рептилиями их роднит только наличие плоской головы да зеленая кожа, подобная лягушачьей. Они передвигались, держась исключительно прямо на своих забавных толстых лапах, а каждый их шаг по грязи сопровождался громким чавканьем. Все они были среднего роста — около семи футов, с четырьмя длинными щупальцами на груди. Движения щупалец говорили (если верить теориям Фогга, Экьерга, Джэнета, а я теперь начинаю им верить) о том, что существа возбужденно переговариваются между собой.

Я вытащил огнемёт и приготовился к тяжелому бою. Силы были неравные, но оружие давало мне некоторое преимущество. Если ящеры знают план здания, они могут проникнуть ко мне и таким образом указать путь наружу — то,

чего я ждал от плотоядных скор. Вероятность нападения была велика: они всегда чувствуют, есть ли у тебя кристалл.

Однако, к моему удивлению, они не делали никаких попыток напасть, а вместо этого окружили меня с разных сторон. Расстояние между нами показывало, что они стоят вплотную к невидимой стене. Эти странные существа молча, с любопытством разглядывали меня, иногда кивая головой и жестикулируя верхними конечностями. Немного спустя я увидел, что из леса вышли новые особи и, подойдя, присоединились к группе любопытствующих. Те, кто был ближе к трупу, мельком взглянув на него, не делали никаких попыток его убрать. Зрелище ужасное, но люди-ящеры, казалось, не обращали внимания. Время от времени кто-нибудь отгонял лапой фарнота или давил извивающегося сификла, акмана или пытающихся дотянуться до трупа эфий.

Разглядывая этих диких и непрошенных гостей и размышляя с беспокойством, отчего они не нападают на меня, я на время утратил волю и нервную энергию, так необходимые в моих поисках. Вместо этого я привалился к невидимой стене коридора и предался самым фантастическим размышлениям. Сотни тайн, ставивших меня ранее в тупик, вдруг наполнились новым, зловещим смыслом, и попытавшись проникнуть в него, я испытал неведомый мне прежде ужас.

Теперь, кажется, до меня дошло, почему эти отвратительные существа столпились в ожидании вокруг меня. Мне открылся, кажется, наконец и секрет прозрачной конструкции. Желанный кристалл, который я сжимал в руке, труп человека, владевшего им прежде, — все вдруг обрело страшный и зловещий смысл.

То, что я заблудился в этом хитроумном переплетении невидимых, лишенных крыши коридоров, представлялось мне ранее простым невезением. Но это далеко не так. Несомненно, это западня, специально устроенная этими алкими тварями, чье умение и интеллект я, к сожалению, недооценил. Почему я, зная об их изощренном архитектурном мастерстве, не заподозрил подвоха? Лабиринт — это капкан для людей, а кристалл играет роль приманки. Эти рептилии в стремлении уберечь от нас свои драгоценности избрали новую стратегию, обратив против нас нашу же алчность.

Дуайт — если только этот гниющий труп был прежде им — стал жертвой такой стратегии. Заблудившись в лабиринте, он не сумел найти выход. Его, очевидно, мучила жажда, да и запас кислорода наверняка был на исходе. Вряд ли он по-

терял маску, все это больше смахивает на самоубийство. Не желая ждать приближения неминуемой смерти, он сам сорвал маску и глотнул ядовитый воздух планеты. Чудовищная ирония заключалась в том, что он находился всего в нескольких шагах от спасительного выхода, до которого так и не добрался. Если бы он еще на минуту продолжил борьбу, то был бы спасен.

Теперь в том же положении оказался и я — в ловушке, окруженный любопытными зеваками, потешающимися над моими мучениями. Эта нестерпимая мысль, овладев моим разумом, затуманила его, и я, охваченный паникой, стал бестолково сновать по невидимым коридорам, спотыкаясь, падал, бился о невидимые стены и, наконец, обессиленный, свалился в грязь. Окровавленный, задыхающийся кусок безумной плоти — вот что я собой представлял.

Падение несколько отрезвило меня; поднявшись на ноги, я снова обрел способность видеть и размышлять. Стоящие вокруг наблюдатели как-то необычно, без всякой системы размахивали щупальцами — похоже, они от всей души хохотали над моими страданиями. Я погрозил им кулаком. Этот жест, казалось, лишь добавил им веселья, а некоторые попытались мне подражать, делая это своими зелеными верхними конечностями крайне неуклюже. Пристыженный, я попытался собраться с мыслями и оценить ситуацию.

Ситуация у меня лучше, чем у Дуайта. Во всяком случае, я знаю, что к чему, а знание — большая сила. У меня есть неоспоримые доказательства, что выход достижим, и поэтому я не впаду, как он, в отчаяние. Труп, или скорее уже скелет, — мой неизменный ориентир, указывающий направление, и, проявив упорство и смекалку, можно добиться своего.

Плохо, что меня окружили эти проклятые рептилии. Теперь, когда мне понятен и смысл ловушки, и то, что лабиринт сооружен из неизвестного невидимого материала, превосходящего по уровню обработки все земные технологии, недооценивать их разум и способности уже невозможно. Даже с огнем мне придется нелегко, понадобится максимум смелости и ловкости.

Но сначала нужно выбраться наружу, иначе кто-нибудь из ищеров может соблазниться и проникнуть в лабиринт. Когда я проверял оружие и количество боеприпасов, меня вдруг осенило: что, если попробовать действие оружия на стене? Может, здесь лежит путь к спасению? Химический состав материала, из которого изготовлена стена, мне неизвестен,

кто знает, вдруг пламя разрежет его, как бумажный лист? Выбрав часть стены поближе к труп, я с близкого расстояния разрядил в нее всю обойму, а затем стал проверять ножом, не появилось ли отверстия. Увы, ничего подобного. Пламя расстилось по стене и гасло, так что мои надежды оказались напрасны. Только долгие, утомительные поиски выхода могли принести спасение.

Итак, проглотив пищевую таблетку и положив новый кубик в электролизатор, я решил возобновить свои попытки и, вернувшись в центральный зал, начал все заново. При этом постоянно заглядывал в свои записи и чертежи и делал новые, а сбиваясь с пути, возвращался назад. Так я бродил до темноты. Упорно продолжая поиски, я время от времени поглядывал на молчаливый круг потешавшихся надо мной зевак и заметил, что их состав постоянно обновляется. Кто-то возвращается в лес, кто-то занимает опустевшее место. Чем больше мысли мои занимало такое мельтешение, тем меньше все это мне нравилось: я догадывался об истинных мотивах их тактики. Эти чертовы куклы могли добраться до меня в любое время, но вместо этого предпочитали следить за моими мучениями. Они, видимо, наслаждались зрелищем, а меня их интерес приводил в содрогание. Что угодно — только бы не попасть к ним в лапы!

С наступлением темноты я прекратил поиски и уселся в грязь отдохнуть. Теперь пишу при свете фонарика и вскоре постараюсь заснуть. Надеюсь, завтра мне повезет, потому что моя фляга почти пуста, а таблетки лакола — плохой заменитель воды. Вокруг много влаги, но вряд ли я решусь ее попробовать: вода здесь годна для употребления только после дистилляции. Вот почему мы тянем шланги в дальние районы, где вода лучше, или заготавливаем дождевую, когда эти чертовы твари перерубают наши шланги. Запас кислорода у меня тоже невелик — нужно во всем подсократиться. Много кислорода я потерял утром, когда делал подкоп, и позже, когда впал в панику. Завтра постараюсь ограничить физическое напряжение — буду беречь силы для встречи с рептилиями. Кроме того, кислород нужен мне на обратный путь в Терра-Нова. Мои враги не покидают свой пост: видно, как они стоят кругом, держа в лапах горящие факелы. Свет этих факелов пугает меня и не дает уснуть.

Ночь — VI, 14

Еще день поисков — и опять неудача! Меня беспокоит отсутствие воды — фляга пуста с полудня. Во второй половине дня пошел дождь, и я, вернувшись в центральный зал, набрал в шлем стакана два. Большую часть выпил, а остатки вылил во флягу. Таблетки лакола мало помогают от жажды — хорошо бы ночью пошел дождь. Я опять выставил шлем в надежде, что какая-то малость туда накапает. Пищевых таблеток тоже осталось немного. Надо вдвое сократить рацион. Но особенно меня беспокоит мои кубики — даже без больших физических усилий скитания по лабиринту требуют значительных кислородных затрат. От постоянной жажды и экономии кислорода кружится голова. Представляю, что будет, когда я сокращу питание.

В этом лабиринте есть какая-то загадка, какая-то неразрешимая тайна. На своих чертежах я отметил некоторые повороты как тупиковые, но с каждым новым путешествием все как будто выглядит чуть-чуть иначе. Никогда раньше не задумывался, насколько мы зависим от зрения. Слепой наверняка преуспел бы больше меня, но для большинства людей зрение — царь чувств. После бесплодных блужданий по лабиринту в моей душе поселилось глубокое отчаяние. Представляю себе, что пережил бедняга Дуайт. Его труп теперь полностью превращен в скелет, а потрудившиеся над этим сификлы, акманы и фарноты исчезли. Эфы растаскивают по кусочкам кожаный костюм — они, оказывается, растут быстрее, чем я думал, и могут достичь невероятной длины. У стены по-прежнему дежурят сменяющие друг друга зеваки, они злорадно посматривают на меня, наслаждаясь моим несчастным видом. Еще сутки, и я сойду с ума, если только прежде не свалюсь замертво от усталости.

Однако делать нечего — надо продолжать поиски. Если бы Дуайт продержался еще минуту, то был бы спасен. Возможно, власти из Терра-Нова будут искать меня, хотя на это надежды мало — я отсутствую третий день. Страшно ломит тело — лежа в этой мерзкой грязи, совершенно не отдыхаю. Прошлой ночью, несмотря на чудовищную усталость, спал урывками, и сегодня, похоже, будет то же самое.

Я существую в каком-то нескончаемом кошмаре — между сном и явью, и никогда не могу с уверенностью сказать, сплю я или бодрствую. Сильно дрожат руки — больше писать не могу. И эта ужасная толпа за стеной, дрожащее пламя факелов...

После полудня — VI, 15

Крупная удача! Все вроде идет неплохо. Чувствую себя очень слабым и до утра плохо спал. Потом крепко заснул и спал до полудня, но, проснувшись, не почувствовал себя отдохнувшим. Дождя нет, и меня очень мучает жажда. Чтобы прибавить сил, проглотил лишнюю пищевую таблетку, но без воды она особой пользы не принесла. Попробовал было отжать воду из кома грязи, но меня тут же затопило, а пить захотелось еще сильнее. Экономлю кубики и поэтому чуть ли не задыхаюсь. Долго идти не могу и порой ползу на коленях. Около двух часов дня показалось, что узнаю некоторые коридоры, и действительно — я оказался к труп, или, точнее, скелету, ближе, чем за все дни моих злключения. Лишь раз забрел в тупик, но с помощью своего плана и записок снова выбрался в главный коридор. Пометок и уточнений становится все больше — в них трудно разобраться. Они занимают уже три пластины, и я вынужден подолгу копаться в них. От жажды, удушья и усталости плохо соображаю и не всегда ориентируюсь в своих же записях. А эти чертовы ящеры по-прежнему глазят на меня и хохочут, обмениваясь красноречивыми жестами — видимо, смачно шутят по моему адресу.

Успех пришел в три часа. Я достиг коридора, в котором, согласно моим заметкам, еще не бывал, и когда ползал по нему, то понял, что двигаюсь окольным путем к скелету. Коридор был спиралевидный и напоминал тот, по которому я впервые достиг центрального зала. Каждый раз, выбирая, куда свернуть, я направлялся туда, где, как мне казалось, проходил раньше. По мере приближения к моему мрачному ориентиру среди наблюдателей со стороны стены усилились злорадный смех и жестикуляция. Они явно видели в моем успехе какую-то оборотную сторону, и это их очень веселило. Наверное, видя, в каком плачевном состоянии я нахожусь, рассчитывали легко расправиться со мной. Что ж, не стану выводить их из приятного заблуждения: я, конечно, очень слаб, но уверен в своем огнемете, тем более при таком количестве зарядов.

Несмотря на ожившую надежду, на ноги я не встал. Лучше уж ползти, сберегая силы для предстоящей встречи с людьми-ящерами. Боясь угодить в тупик, я продвигаюсь вперед очень медленно, однако несомненно приближаюсь к желаемой цели. Предчувствие влило в меня новые силы, и на какое-то время забылись и боль, и жажда, и то, что

кислород на исходе. Существа столпились теперь у входа, они жестикулируют, подпрыгивают и смеются своими щупальцами. Скоро я, кажется, встречу лицом к лицу со всей этой ватагой, а может, к тому времени из леса подоспеет и подкрепление.

Я нахожусь всего в нескольких ярдах от скелета и остановился только для того, чтобы сделать эти записи. Сейчас встану и прорвусь сквозь эту мерзкую свору. Уверен, что мне хватит сил обратить их в бегство, несмотря на многочисленность, — у моего оружия неисчерпаемые возможности. А потом отдых на сухом плато и утром — обратное путешествие через джунгли в Терра-Нова. Нелегкий путь, но в конце его меня ждет желанная встреча с людьми, отдых в человеческом жилище. Однако как жутко поблескивает этот череп! Как страшен его оскал!

К концу дня — VI, 15

Снова ловушка! Сделав предыдущую запись, пополз дальше к скелету, но неожиданно наткнулся на стену. И на этот раз я, видимо, ошибся, оказавшись там, где был три дня назад, когда впервые безуспешно пытался выбраться из лабиринта. Не помню, кричал ли я в отчаянии — должно быть, нет: слишком ослаб, чтобы издать хотя бы звук. Просто валялся, убитый горем, в грязи, в то время как зеленые твари прыгали и веселились снаружи.

Наконец сознание вернулось ко мне. Вернулось вместе с острой жаждой, слабостью и удушьем. Собрав последние силы, я положил в электролизатор последний кубик. Сделал это, не отдавая себе отчета и не думая о том, как доберусь до Терра-Нова. Приток кислорода слегка оживил меня, и я более осмысленно огляделся вокруг.

Я был вроде подальше от бедняги Дуайта, чем в тот раз, когда впервые испытал разочарование. Возможно, если проползти еще немного, попаду в какой-нибудь смежный коридор. Со слабой надеждой я снова двинулся вперед, но через несколько футов, как и прежде, оказался в тупике.

Итак, это конец. За несколько дней я не нашел никакого выхода, и силы мои иссякли. Жажда сводит меня с ума, а запаса кислорода уже не хватит на то, чтобы вернуться в Терра-Нова. Интересно, почему эти чудовища столпились именно у входа, потешаясь надо мной? Наверное, самое забавное — внушить мне, что я приближаюсь к цели.

Долго мне не продержаться. Хотя я и решил не торопиться события, как Дуайт. Оскалившийся череп повернут теперь в мою сторону, это сделали эфы, пожирающие кожаный костюм. Ужасный провал пустых глазниц — такой взгляд пострашнее ротовых гнусных ящериц. Он придает мертвому оскалу белых зубов еще более зловещий смысл.

Буду спокойно умирать в грязи, сберегая до конца силы. Моя металлическая книжка заканчивается. Надеюсь, кто-нибудь отыщет эти записи после моей смерти. Сейчас кончу писать и немного отдохну. Затем, когда темнота сгустится и эти пугала перестанут что-либо различать, соберусь с силами и швырну книжку через стену. Брошу ее левее, чтобы она не упала рядом с этими веселящимися извергами. Она может, конечно, утонуть в грязи, но может и упасть на одну из заросших травой кочек, где ее найдет человек.

Люди, если мои записи дойдут до вас, знайте — это не только предупреждение о западне. Надеюсь, моя судьба послужит уроком для других. Не надо собирать сверкающие кристаллы. Они принадлежат Венере. На нашей планете можно обойтись без них. Похищая сокровища, мы, очевидно, нарушаем какие-то таинственные законы, идущие из самых глубин космоса. Откуда нам знать, какие темные, могущественные и вездесущие силы стоят за этими рептилиями, охраняющими свои сокровища таким странным способом. Дуайт и я расплатились за все сполна, так же как прежде платили другие и кто-то заплатит в будущем. А может, эти отдельные смерти — пролог к грядущему возмездию? Оставьте Венере то, что ей принадлежит.

Смерть все ближе, боюсь, мне не хватит сил перебросить книжку через стену. Тогда ее найдут люди-ящерицы и, возможно, поймут, что это такое. Они никогда не узнают, к чему я призывал своих соплеменников, и поэтому уничтожат записи, не желая выдать тайну лабиринта. Перед смертью я стал лучше относиться к этим существам. Нам не дано знать, кто из нас по космическим критериям совершеннее или ближе к некоей органичной норме — мы или они.

Вынул из кармана кристалл, чтобы полюбоваться им в последние мгновения. В огненных лучах заходящего солнца он сверкает ярко и зловеще. Беспокойная ватага заметила его,

и их жестикация как-то странно изменилась. Почему они толкуются у входа, а не подойдут ближе и не встанут у прозрачной стены?

Я коченею и больше писать не могу. Кружится голова, но сознание еще присутствует. Смогу ли перебросить через стену книжку? Кристалл ослепительно сверкает, но тьма сгущается.

Темно. Страшная слабость. Они все еще смеются и прыгают у входа, освещая факелами темноту.

Они уходят? Мне послышался какой-то звук... легкий звук в небе.

Донесение Уэсли П. Миллера из группы розыска «А». «Винес кристалл компании»

(Терра-Нова, VI, 16)

Наш сотрудник А-49, настоящее имя Кентон Дж. Стэнфилд, проживающий по адресу: Виргиния, Ричмонд, улица Маршалла, 5317, покинул Терра-Нова рано утром VI, 12, отправившись за кристаллом, местонахождение которого указывал детектор. Должен был вернуться тринадцатого или четырнадцатого. Он не появился и вечером пятнадцатого, и тогда на розыски был послан поисковый самолет ФР-58 с группой из пяти человек под моим командованием. Мы вылетели в восемь часов пополудни, имея с собой детектор. Его стрелка показывала, что местоположение кристалла не изменилось.

До плато Эрикса мы летели, следуя указаниям детектора и посылая сильные световые лучи во все стороны. С нами были дальнобойные огнеметы и радиоактивные излучатели типа «Д», способные подавить бунт аборигенов или нападение хищных скор.

Пролетая над плато Эрикса, мы заметили скопление огней — это оказались обитатели планеты с горящими факелами. Когда мы снизились, они — числом около сотни — скрылись в лесу. Детектор указывал, что кристалл находится в том районе, где они только что толпились. Мы опустили еще ниже, и тогда наши прожекторы осветили то, что лежало на

земле. Это был скелет, опутанный эфиром, а в десяти футах виднелось человеческое тело. Когда мы приземлялись, невидимая преграда повредила крыло самолета.

Направившись к обнаруженным останкам, мы неожиданно наткнулись на гладкую невидимую стену.

Идя ощупью вдоль нее, мы добрались до отверстия, за которым было обширное пространство, нечто вроде холла, окруженного такими же невидимыми стенами. В одной из них мы обнаружили ход, который привел нас к скелету. Рядом с несчастным, одежду которого разорвали хищные растения, лежал шлем с указанием его данных. Это был служащий отдела Кения Фредерик Н. Дуайт, номер В-9, отправившийся в долгосрочную заготовительную экспедицию и отсутствующий уже два месяца.

Хотя между скелетом и телом тоже была невидимая стена, мы сразу же узнали Стэнфила. В левой руке он держал металлическую книжку, а в правой ручку — видимо, писал в момент смерти. Кристалла видно не было, но детектор указывал, что рядом со Стэнфилом должен находиться очень крупный экземпляр.

Мы с большим трудом добрались до Стэнфила. Тело было еще теплое, рядом, утопая в грязи, лежал огромный кристалл. Прочитав оставленные им записи, мы решили следовать советам покойного. Текст этих записей прилагается к настоящему донесению, его наблюдения проверены и полностью подтвердились. Они дают достоверное объяснение разыгравшейся трагедии. Его заключительные выводы говорят об ослаблении интеллекта и потому могут быть оставлены без внимания, но это не повод, чтобы подвергать сомнению все остальное. Стэнфилд умер от совокупности причин: жажды, удушья, сердечной слабости и глубокой депрессии. Он до конца оставался в маске, которая продолжала в небольшом количестве подавать кислород.

В связи с поломкой самолета мы вызвали по рации Андерсона из ремонтного отдела и попросили выслать аварийную группу, снабдив ее также взрывчаткой. Утром прилетел ФХ-58, который вел сам Андерсон, забрал мертвых, кристалл и вернулся на базу. Дуайта и Стэнфила похоронят на кладбище компании, а кристалл отправят в Чикаго на ближайшей ракете. Мы, конечно, последуем совету Стэнфила, данному им еще в здравом уме, и придем сюда военных, чтобы полностью уничтожить аборигенов. Без них можно будет беспрепятственно добывать кристаллы.

После полудня мы с большими предосторожностями, пользуясь длинной бечевой, обследовали здание и составили подробный план лабиринта для наших архивов. Конструкция не имеет аналогов; что же касается материала, то нами был взят образец для химического анализа. Результаты исследования могут понадобиться при уничтожении поселений аборигенов. Наши буры с алмазными головками просверлили неизвестное вещество, и рабочие закладывают сейчас в отверстие динамит. Следует известить здесь порядок, поскольку здание представляет большую опасность для наземного и воздушного транспорта.

Рассматривая план лабиринта, мы были потрясены иронией судьбы, сыгравшей злую шутку и с Дуайтом, и со Стэнфилом. Пытаясь пройти к Стэнфилду от скелета, мы потеряли коридор, который привел нас сюда, но потом Маркхейм отыскал проход из ближнего ко входу холла; Дуайт лежал в футах в пятнадцати от него, а Стэнфилд — в четырех-пяти. Проход ведет еще в один холл, который мы не обследовали, а правое его ответвление привело нас прямо к телу. Стэнфилд находился от выхода из лабиринта в футах в двадцати двух — двадцати трех, не более, коридор начинался у него за спиной, но из-за усталости и отчаяния он проглядел его.

В моем измученном мозгу непрерывно звучит шум рас-секаемого со свистом воздуха, хлопанье крыльев и отдален-ный, глухой лай гигантской собаки. Это не сон и, боюсь, даже не безумие. Слишком много случилось за последнее время, чтобы можно было предаваться утешительным иллю-зиям.

Сент-Джон теперь — изуродованный труп, и только я знаю, как все произошло. Это чудовишно, и я схожу с ума от страха, что и со мной случится такое же. Из таинственных и бесконечных коридоров непознаваемого медленно надви-гается темная и бесформенная фигура Немезиды, которая неотвратимо толкает меня к самоубийству.

Боже, прости нашу глупость и нездоровое любопытство, приведшие нас к столь плачевной судьбе! Уставшие от скуки прозаического мира, где быстро приедаются даже любовные утехы и приключения, мы с Сент-Джоном с азартом вклю-чились в интеллектуалистскую жизнь, примыкая то к одному, то к другому эстетическому направлению в надежде одолеть завладевшую нами скуку. На некоторое время нас увлекли загадки символистов и экстазы прерафаэлитов, но со вре-менем мы пресытились ими, они, как и многое другое, по-теряли для нас интерес и новизну.

Оставалась надежда на мрачную философию декаданса, но и тут потребовалось все глубже погружаться в ее демо-нические тайны. Вскоре и Бодлер, и Гюисманс утратили для нас свою остроту, и тогда стало ясно, что удовлетворить нашу ненасытность может только собственный опыт в по-тусторонних сферах бытия. Эта склонность и привела нас к гнусному занятию, о котором я и сейчас, пребывая в сос-тоянии непрерывного кошмара, вспоминаю со страхом и за-миранием сердца. Мы дошли до предела человеческого па-дения, предавшись отвратительному пороку — грабежу и осквернению могил.

Я не могу поведать все подробности наших чудовищных экспедиций, так же как и перечислить, хотя бы частично, зловещие трофеи, разместившиеся в безымянном музее боль-шого каменного дома, где мы жили вдвоем, обходясь без

помощи слуг. Наш музей был богохульственным, не поддаю-щимся описанию местом, где мы с сатанинским, невротич-еским искусством воссоздали мир тления и ужаса, при-званный будоражить наши угасающие чувства. Музей содер-жался в глубочайшей тайне и размещен был под землей. Там огромные крылатые демоны, выточенные из базальта и оникса, извергали из оскаленных пастей причудливый зе-леновато-оранжевый свет, а скрытые пневматические трубы, обтянутые красным материалом и сплетенные в причудливые траурные узоры, прятались в тяжелых портьерах. По этим трубам к нам подавались соответствующие нашему настро-ению запахи. Иногда это был аромат увядших погребальных лилий, иногда — дурманящий запах восточных благовоний, воскуряемых в царственных усыпальницах, иногда — как тяжело вспоминать! — зловонный запах свежеразрытой мо-гили, от которого захватывало дух.

Вдоль стен зловещего зала стояли застекленные стенды с античными мумиями, чередовавшимися с благопристой-ными и жизнеподобными творениями современного такси-дермиста, а также могильные камни со старейших кладбищ Земли. Ниши заполняли черепа и заспиртованные головы в разной стадии разложения. Здесь можно было увидеть и сгнившую лысую голову какой-нибудь знаменитости, и неж-ные, чистенькие головки младенцев.

Статуи и картины обязательно должны были нести в себе демоническое начало, некоторые из них являлись нашими собственными творениями. В папке из человеческой кожи хранились неизвестные широкой публике диковинные рисун-ки, которые, как гласила молва, нарисовал сам Гойя, не осмелившийся, однако, признаться в авторстве. Здесь же хранились и отталкивающего вида музыкальные инстру-менты — струнные, медные и деревянные духовые, — из ко-торых мы с Сент-Джоном извлекали чудовищные, поразит-ельной гнусности диссонансы. В многочисленных горках из черного дерева размещались наши трофеи, добыча из ограб-ленных могил — немыслимое собрание, следствие нашего безумия и извращенности. Впрочем, не стоит говорить об этой коллекции, слава Богу, у меня хватило мужества унич-тожить ее задолго до того, как я решил покончить с собой.

Хищные набеги, принесшие эти сокровища, всегда об-ставлялись нами как незабываемое эстетическое действие. В отличие от заурядных кладбищенских воров, мы шли на дело при соответствующем настроении, когда нас удовлет-

воряли пейзаж, обстановка, погода, время года, насыщенность лунного света. Эти вечера являлись для нас изощреннейшей формой эстетического переживания, и мы тщательно продумывали мельчайшие детали предстоящей операции. Неурочное время, резкая вспышка света или липнущая к лопате сырая земля могли охладить экзотическое возбуждение, неизменно охватывавшее нас, когда земля отдавала нам свои зловещие тайны. Наша тяга к новым местам, к острым ощущениям становилась все более страстной и ненасытной. Сент-Джон был всегда заводилой, он-то впервые и упомянул об этом зловещем, проклятом месте, навлекшем на нас ужасную и неотвратимую кару.

Какой злой рок заманил нас на мрачное голландское кладбище? Начало, я думаю, положили темные легенды, в которых говорилось о похороненном там пятьсот лет назад человеке, тоже промышлявшем на кладбищах и укравшем из богатой гробницы могущественный талисман. Я хорошо помню последние мгновения перед тем, как мы вонзили лопаты в могильную землю. Стояла осень. Бледный свет луны освещал могилы, отбрасывая длинные жуткие тени. Призрачные деревья угрюмо клонились долу, почти касаясь нескошенной травы и вязкой грязи. Сонмища на редкость крупных летучих мышей носились в лунном свете. Старинная, заросшая плющом церковь устремляла свой шпиль ввысь, как указующий перст. А в отдалении, под тисом, светлячки плясали в воздухе, похожие на догорающие угольки. Ночной ветер доносил до нас вместе с запахом трав и могильной плесени дыхание дальних болот и моря. Но более всего тревожил отдаленный, глухой лай огромной собаки, мы ее не видели и не понимали, где она может находиться. Услышав леденящие душу звуки, мы вздрогнули, вспомнив рассказы крестьян: тот, кого мы разыскивали, погиб на этом самом месте, разорванный в клочья страшным зверем.

Помню, как мы разрывали могилу грабителя, взволнованные неповторимостью мгновения. Еще бы! Призрачный лунный свет, тревожные тени, пугающие контуры деревьев, огромные летучие мыши, танцующие во тьме угольки, тлетворные запахи, жалобный стон ветра и странный приглушенный лай, о котором мы с сомнением думали: не чудится ли он нам?

Наконец наши лопаты стукнулись о что-то твердое. Перед нами был сгнивший продолговатый ящик, покрытый твердой коркой из минеральных солей, отложившихся на нем за дол-

гие годы пребывания в никем еще не потревоженной земле. Налет придавал ему массивность и прочность. Мы с немощным трудом открыли его и с любопытством впились взглядом в его содержимое.

Просто невероятно, до чего хорошо сохранился скелет мертвеца, несмотря на прошедшие пять веков: повреждения виднелись лишь в тех местах, где его коснулись мощные челюсти убийцы. Мы с восхищением разглядывали чистый череп со странно удлиненными белыми зубами, пустые глазницы — бывшееместилище глаз, горевших тем же ненасытным огнем, что и наши. В гробу лежал также странный, экзотического вида амулет, который покойник, видимо, носил на шее. Это было гротескное изображение припавшей к земле крылатой собаки, или же сфинкса с полусобачьей мордой, выточенное в старинной восточной манере из небольшого кусочка зеленого нефрита. Отвратительные черты этого гнусного существа говорили о жестокости и злобе, в них таилась сама смерть. Понизу была выгравирована надпись на неизвестном ни Сент-Джону, ни мне языке, а на тыльной стороне вместо клейма мастера — зловещий череп с фантастическим орнаментом.

Лишь взглянув на амулет, мы уже знали, что он должен принадлежать нам. Не зря мы разрыли древнюю могилу, это сокровище стоило того. И хотя его символика была нам непонятна, мы все же решили оставить амулет себе. Впрочем, после тщательного осмотра кое-какие догадки у нас на сей счет появились. Об этой вещи, конечно, не найти упоминания в том искусстве и той литературе, которыми интересуются добропорядочные и психически уравновешенные люди. Мы же признали в нем таинственный знак, о коем туманно говорит в своем «Некрономиконе» безумный араб Абдул Азхазред. Амулет указывал на принадлежность к культу пожирателей трупов в недоступном Ленге, расположенном в Центральной Азии. Зловещие контуры самого чудовища также соответствовали описанию старого арабского демонолога. По его словам, они соответствуют метафизической сущности душ тех людей, которые, презрев таинство смерти, пожирают мертвую плоть.

Сняв с мертвеца амулет, мы бросили последний взгляд на его выбеленные временем кости и зияющие глазницы, а затем закидали могилу землей, постаравшись придать ей прежний вид. Сент-Джон положил украденный амулет в карман, и мы заторопились прочь от зловещего места. Но не

успели мы удалиться, как летучие мыши стали усаживаться на оскверненную и ограбленную могилу, словно бы в поисках нечистой, проклятой пищи. Осенний свет луны был, впрочем, настолько тусклым, что нам могло померещиться.

Когда на следующий день мы отплывали из Голландии домой, до нашего слуха вновь донесся глухой, далекий лай гигантской собаки. Но и в этом мы не были уверены, ведь осенний ветер завывал так заунывно, что смахивал на протяжный вой.

Меньше чем через неделю после возвращения в Англию в нашем доме стало происходить что-то странное. Надо сказать, жили мы как отшельники в старинном замке, расположенном в болотистом уединенном месте, без друзей и слуг, и посетители редко стучали в наши двери.

Теперь же по ночам нас часто беспокоили какие-то шорохи у дверей и за окнами, причем не только первого, но и второго этажа. Однажды при свете луны нам показалось, что огромное темное тело заслонило окно библиотеки, а в другой раз мы готовы были поклясться, что слышали неподалеку шум и хлопанье больших крыл. Поиски каких-либо следов ни к чему не привели, и мы были склонны все приписать нашему расстроенному воображению, вспоминая, как на голландском кладбище нам послышался далекий глухой лай. Нефритовый амулет нашел себе пристанище в одной из ниш музея, иногда мы воскуряли там экзотические благовония. Из «Некрономикона» Альтиера мы многое узнали о его свойствах, а также об отношении к нему духов, чью сущность он символизировал, и то, что мы узнали, наполнило наши души страхом.

А затем наступил кошмар.

В ночь на двадцать четвертое сентября 19... года я услышал стук в свою дверь. Полагая, что это Сент-Джон, я пригласил его войти, но в ответ услышал резкий смех. В коридоре было пусто. Я разбудил Сент-Джона, который, конечно же, ничего не слышал, но встревожился так же, как и я. В эту ночь мы опять услышали глухой далекий лай, доносящийся с болот, и на этот раз в его реальности никаких сомнений у нас не возникло.

Спустя четыре дня, когда мы находились в музее, у единственной, ведущей из библиотеки двери послышалось осторожное царапанье. А надо сказать, теперь у нас появился, помимо страха перед неведомым, еще один повод для беспокойства: наша чудовищная коллекция получила нежела-

тельную огласку. Что-то метнулось от нас, и мы услышали удаляющийся скрип, хихиканье и довольно внятное бормотание. Что это: безумие, бред, явь? Случившееся повергло нас в полную растерянность, в одном лишь не приходилось сомневаться: в бормотании — о ужас! — ясно различались отдельные слова на голландском языке.

Все последующие дни мы жили в атмосфере постоянно нагнетаемого необъяснимыми явлениями страха. Оставалось гадать, не помутился ли у нас обоих рассудок из-за наших противоестественных утех. А может, нами все это время играл неумолимый и неотвратимый рок? Меж тем зловещие предзнаменования случались все чаще: в нашем уединенном замке несомненно поселилось некое злобное создание, чью природу мы никак не могли уяснить, а каждую ночь ветер доносил с болот все более отчетливый дьявольский лай. Двадцать девятого октября мы обнаружили под окном библиотеки следы неизвестного существа, хорошо отпечатавшиеся на сырой земле. Они чрезвычайно озадачили нас, так же как и неизвестно откуда взявшиеся стаи крупных летучих мышей, заполонивших в последнее время замок.

Этот кошмар достиг своего апогея восемнадцатого ноября, когда некий дикий кровожадный зверь напал на возвращавшегося поздно вечером с железнодорожной станции Сент-Джона и растерзал его. Услышав предсмертные вопли своего друга, я бросился на помощь, но успел увидеть лишь взметнувшийся в лунном свете темный, неясный силуэт и шум крыльев.

Мой друг умирал и не мог связно отвечать на мои вопросы. Только и прошептал: «Амулет... проклятый амулет».

Затем испустил дух — безжизненная груда истерзанной плоти.

В следующую полночь я похоронил Сент-Джона в нашем заброшенном саду, пробормотав над телом его одно из тех дьявольских заклинаний, которыми он так увлекался при жизни. На последних словах с болота донесся глухой лай огромной собаки. Луна уже взошла, но я долго не осмеливался оглянуться в ту сторону, откуда слышался лай. Когда же увидел, как в тусклом свете огромная неясная тень прыгает на болоте с кочки на кочку, зажмурился и упал лицом в траву. Не зная, сколько я так пролежал, но когда, шатаясь и все еще дрожа от страха, вернулся в дом, то немедленно дал себе перед амулетом из зеленого нефрита страшную клятву.

Жить одному в старинном замке на болотах мне было

невмоготу, и на следующий же день я сжег большую часть наших чудовищных экспонатов, закопал остальные и тут же переехал в Лондон, захватив с собой амулет. Однако на третью ночь я вновь услышал лай, а с конца недели мне повсюду мерещились устремленные на меня чьи-то глаза. Однажды, совершая вечернюю прогулку по набережной Виктории, я увидел на воде большую темную тень. В тот же миг сильный вихрь пронесся рядом со мной, и я понял, что не миновать мне судьбы Сент-Джона.

На следующий день я тщательно упаковал нефритовый амулет и отплыл в Голландию. Кто знает, смогу ли я рассчитывать на прощение, но сердце подсказывало: испробуй и это. Неизвестно, что за собака преследует меня и почему, но ведь не случайно мы впервые услышали ее лай на старом кладбище, да и все последующие события, в том числе и предсмертные слова Сент-Джона, говорили, что павшее на нас проклятие связано с кражей. Можете представить себе мое отчаяние, когда, прибыв в Роттердам, я обнаружил, что воры похитили у меня амулет — единственное средство к спасению.

Ночью собака лаяла особенно грозно, а утром я прочитал в газетах о таинственном происшествии в городских трущобах. Воровская чернь была в смятении, эти служители зла никогда еще не оказывались свидетелями столь жестокого и кровавого преступления. В одном из воровских притонов неизвестный ночной гость разорвал на куски всю семью и скрылся, не оставив никаких следов. Соседи вспоминали, правда, что всю ночь им слышался глухой, отдаленный лай, принадлежащий, по-видимому, гигантской собаке.

И вот я наконец снова стою на этом жутком погосте. Бледная луна так же мертвенно освещает все вокруг, а голые деревья мрачно склоняются к покрытой инеем траве и застывшим комьям грязи. Увитая плющом церковь высокомерно устремляет свой шпиль в недружелюбное небо, а ветер дует с замерзших болот и холодного моря, завывая, как маньяк. Лай еле слышался, а когда я приблизился к старой могиле, и совсем умолк. Именно эту могилу мы недавно осквернили и, объятые страхом, бежали отсюда прочь. Оставив за собой огромную стаю летучих мышей, с любопытством круживших над могильным холмом.

Не знаю, почему я прибыл сюда, а не стал молиться у себя дома, каясь и испрашивая прощенья у покоящихся здесь безмолвных белых костей. Я бездумно вонзил лопату в полузамерзшую землю, во всех моих действиях почти отсутство-

вала воля — я как бы исполнял решение, принятое кем-то другим. Копалось легче, чем можно было предположить, и я отвлекся лишь однажды, когда из неприветливой небесной мглы стрелой спланировал худой как щепка ястреб и, смело усевшись на груду земли, начал что-то клевать. Я убил его ударом лопаты. Добравшись наконец до полусгнившего продолговатого ящика, отодвинул сырую, покрытую плесенью крышку. Это было мое последнее разумное действие.

Ограбленный нами скелет лежал в старом гробу, плотно окруженный чудовищной свитой из огромных, ширококрылых, крепко спящих летучих мышей. Теперь он не выглядел уже столь мирно, а был весь покрыт спекшейся кровью, кусочками мяса, вырванными клоچьями волос. Скелет злобно глядел на меня светящимися во мгле пустыми глазницами, а потом ухмыльнулся, как бы предвидя мой неизбежный конец и обнажив при этом острые, выпачканные кровью клыки.

А когда из оскаленной пасти вырвался низкий злобный лай, который мог бы принадлежать крупной собаке, я увидел в мерзких зубах чудовища украденный и вновь обретенный амулет из зеленого нефрита. Я громко закричал и бросился как безумный прочь, и крики мои скоро перешли в истерический хохот.

Безумие разносится, как ветер... в течение веков клыки и зубы оттачиваются на трупах... кровью истекают жертвы среди вакханалии летучих мышей, живущих в руинах заброшенных храмов Велиара... Лай костлявого чудовищного мертвеца слышится все громче, все ближе шум и хлопанье проклятых крыльев, они как бы плетут паутину вокруг меня. Мне остается лишь поднести к виску пистолет — только он один может даровать забвение от того неведомого, чего никогда не познать человеку.

ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ

I.

Даже в самых кошмарных событиях обычно таится ирония. Иногда она вплетена в сам их ход, а иногда лишь подчеркивает элемент случайности в связях людей и мест. Именно этот последний вариант видим в случае с Эдгаром Алланом По. В конце сороковых годов прошлого века он, безуспешно ухаживая за талантливой поэтессой миссис Уайтмен, частенько посещал старинный город Провиденс. Писатель всегда останавливался в Мэншен-хауз на Бенифит-стрит — бывшей гостинице «Золотой шар», под крышей которой в свое время находили приют Вашингтон, Джефферсон и Лафайет, а его излюбленный путь к жилищу дамы его сердца пролегал по улице, над которой раскинулось на холме кладбище Святого Иоанна, чьи сокрытые зеленью от досужего взора надгробия обладали для него особой притягательностью.

Вы спросите, в чем же заключалась ирония? А в том, что на своем пути этот непревзойденный певец загадочного и сверхъестественного много раз проходил мимо одного дома, расположенного на восточной стороне улицы, — прилепившегося на крутом склоне холма, невзрачного с виду старомодного особняка, утопающего в огромном заброшенном саду, разбитом еще в незапамятные времена. Эдгар По никогда не писал и не упоминал в своих беседах об этом доме, вероятно, вообще не обратил на него внимания. А ведь по крайней мере у двух людей есть неоспоримые доказательства, что тайна дома не уступает, а может, и превосходит по своей кошмарной сути взлеты самой изощренной фантазии не раз проходившего мимо него гения. Сам же дом и поныне мрачно возвышается, как материальный символ зла.

Этот особняк привлекал внимание любопытных и в старые, и в нынешние времена. Первоначально задуманное как фермерское жилище середины восемнадцатого века, двухэтажное строение отражало вкусы зажиточных колонистов Новой Англии — остроконечная крыша, глухая мансарда, портик в георгианском стиле и внутренние помещения, обшитые панелями (последнее диктовалось изменившимися представлениями о красоте интерьера). Фронтон дома смотрел на юг, восточная стена зарывалась в холм — вплоть до

нижних окон, а западная выходила на улицу. Такое местоположение обуславливалось сто пятьдесят лет назад нуждами времени: требовалось выровнять улицу. Ведь Бенифит-стрит (прежде она именовалась Бэк-стрит) некогда была извилистой тропой между захоронениями первых поселенцев. Перемены стали возможны только после перенесения останков колонистов на Северное кладбище, и вот тогда, не боясь уже оскорбить чувства потомков, улицу начали выравнивать.

Прежде западная стена дома начиналась на высоте двадцати футов от тропы, но во времена Революции, когда улицу стали расширять, часть земли срыли, обнажив фундамент строения. Хозяевам пришлось облицевать подвальную стенку кирпичом, а из самого подвала сделать выход на улицу. Тогда же в подвале появились и два оконца. А когда сто лет назад потребовалось проложить тротуар, срыли еще немного земли, и Эдгар По в своих прогулках мог уже видеть только выходящую на улицу темную кирпичную стену — корпус же самого дома старинной кладки начинался лишь на высоте десяти футов.

Прилегающий к дому сад взбегал по холму вверх, раскинувшись довольно далеко и почти достигая Уитон-стрит. Та его часть, что выходила на Бенифит-стрит, была значительно выше самой улицы. От нее сад отделяла отсыревшая и заросшая мхом высокая каменная стена с пробитой в ней крутой лестницей, ведущей мрачными переходами в верхнюю часть участка с неподстриженными лужайками и развесистыми деревьями. Унылая картина разбитых урн, проржавевших котелков, свалившихся с треног, сооруженных из сучковатых палок, и прочих неожиданных вещей дополнялась жалким зрелищем обветшалой двери с разбитым веерообразным окошком, сгнившими ионическими пилястрами и источенным червями треугольным фронтоном.

В годы своей юности я, помнится, слышал разговоры, что в этом доме слишком часто умирали люди. Именно поэтому первые хозяева дома, прожив в нем двадцать лет, переехали в другое жилище. Место, очевидно, было нездоровым. Возможно, причина крылась в сыром подвале, заросшем грибовидной растительностью, откуда гнилостный запах разносился по всему дому, а может, вину следовало искать в гуляющих по коридорам сквозняках или в колодезной воде. Именно эти пагубные обстоятельства назывались моими близкими в первую очередь. Только годы спустя я нашел в записных книжках моего дяди, доктора Илайхью Уиппла, знатока

древностей, упоминание о смутных подозрениях, которыми делились по секрету между собой старые слуги и прочая челядь. Догадки эти никогда широко не распространялись и были почти забыты ко времени, когда Провиденс стал крупным городом со множеством пришлых людей.

О привидениях речи не было. Никогда я не слышал от старожиллов рассказов о бряцающих цепях, ледяных порывах ветра, внезапно задутых свечах или незнакомых лицах в окне. Самые дошлые иногда поговаривали, что дом-де «нечист», но дальше этого не шли. Одно было несомненно: люди здесь умирают много чаще, чем во всей округе, точнее сказать, умирали: шестьдесят лет назад при неких не совсем обычных обстоятельствах дом опустел и с тех пор не находилось охотников поселиться в нем. Скончавшиеся здесь люди не являлись жертвами какого-то рокового случая; скорее, их что-то долго и методично подтачивало, и тот, в ком жизненных сил было меньше, уходил первым. Из выживших же все поголовно страдали явно выраженной анемией или чахоткой, а некоторые и психическими расстройствами. Все это говорило о неблагоприятной для здоровья атмосфере жилища. Ничего подобного, к слову сказать, не замечалось в соседних домах. Вот, пожалуй, и все сведения, которыми я располагал к тому моменту, когда мой дядя после долгих упрасиваний с моей стороны извлек наконец из своих тайников собранные им материалы — шаг, положивший начало нашему опасному расследованию. В мои детские годы этот особняк, окруженный корявыми бесплодными деревьями, уже пустовал. В поднимающемся террасами саду, куда никогда не залетали птицы, росла бледная, на редкость высокая трава и причудливо изогнутые сорняки. Мальчишками мы частенько забегали сюда, и я до сих пор не могу забыть свой детский страх, вызванный не столько странной деформированностью растений, сколько общей зловещей атмосферой и мерзким запахом. Он шел из обветшавшего дома, куда мы иногда, влекомые непреодолимой жадой неведомого, с опаской проникали через незапертую дверь. В этих стенах, обшитых ветхими панелями, витал дух запустения: оконные стекла были разбиты, ставни расшатаны, обои отклеились, отовсюду сыпалась штукатурка, ступеньки отчаянно скрипели под ногами, а то немногое, что осталось из мебели, уже ни на что не годилось. Пыль и паутина довершали эту мрачную картину, и потому мальчишка, который решался подняться на чердак, считался отчаянным смельчаком. Когда-то в это

просторное помещение с высокими стропилами, освещаемое лишь двумя маленькими тусклыми оконцами, сваливали без разбора всякую рухлядь: сломанные стулья, сундуки, прялки. Теперь за давностью лет все это превратилось в какое-то бесформенное месиво, в адский бедлам.

И все же чердак вряд ли являлся самым зловещим местом в доме. Им был, несомненно, холодный подвал, полав в который мы не могли унять дрожь. Даже сознание того, что он находится не под землей, а на уровне улицы, и за кирпичной стеной с тонкой дверцей и небольшим окошком шумит жизнь, не спасало нас от жгучего страха. Мы никак не могли решить для себя, заглядывать ли сюда почаще в надежде увидеть привидения или, напротив, совсем не показываться, зато спасти тело и душу. В подвале гнилостный запах ощущался сильнее, а кроме того, нам был неприятен вид бледной грибообразной поросли, которая особенно буйно разрасталась в дождливую летнюю погоду. Она чем-то напоминала сорняки в саду и имела преотвратный вид, карикатурно напоминая поганки или трубки индейцев. Ничего подобного мы нигде больше не встречали. Эти растения, сгнивая, начинали слабо фосфоресцировать, и те, кто проходил мимо дома ночью, потом боялись, что видели, как за разбитыми стеклами окон плясали дьявольские огоньки, а зловоние было особенно ощутимо.

Мы никогда, как бы нам ни хотелось, не осмеливались наведываться в подвал ночью, но иногда, если день был пасмурный и дождливый, тоже наблюдали свечение. Кроме того, в подвале было нечто такое, о чем мы иногда не могли с уверенностью сказать, не померещилось ли оно нам. Я говорю о неясном беловатом наросте на грязном полу — смутном, расплывчатом узоре из плесени, который мы различали у основания печи, где поросль редела. Иногда этот узор напоминал по форме скорченную человеческую фигуру, потом сходство уменьшалось и исчезало совсем. Часто не различался и сам нарост. После одного дождливого дня, когда человеческие очертания проступили на полу особенно отчетливо и от плесени по направлению к дымоходу потянулось, как мне почудилось, легкий желтоватый дымок, я рассказал обо всем дяде. Он счел, что у меня разыгралось воображение, и даже посмеялся, но потом задумался. Позже я узнал, что в некоторых самых невероятных из всей череды преданий говорилось о измыывавшем иногда из трубы дыме, принимавшем отвратительные, звероподобные формы. Эти гнусные очертания

воспроизводили и корни мрачных деревьев, пробивавшиеся сквозь толщу камня в подвал.

II.

Когда я достиг совершеннолетия, дядя ознакомил меня со своими записями и документами, касавшимися заброшенного особняка. Доктор Уиппл относился к здравомыслящим врачам старой школы и, несмотря на свой ярко выраженный интерес к тайне пресловутого дома, не торопился направить юношескую любознательность на столь рискованный объект. Сам он, впрочем, был уверен, что вся тайна сводится к нездоровым природным условиям и качеству строительства, но опасался, что многочисленные загадочные подробности, столь заинтересовавшие его самого, могут потрясти мое воображение и вызвать самые непредсказуемые реакции.

Доктор — седовласый, всегда чисто выбритый джентльмен — был старым холостяком. Он проявлял глубокий интерес к истории нашего края и настолько преуспел в этом, что неоднократно вступал в полемику с такими учеными мужами, как Сидни С. Райдер и Томас У. Бикнелл. Он жил со своим единственным слугой в георгианском коттедже с дверным молотком и обитыми железом перилами, примостившемся у того самого места, откуда Норт-Корт-стрит уходила вверх. С коттеджем соседствовали старинное кирпичное здание суда и дом, прежде принадлежавший колониальному управлению, где дед доктора — двоюродный брат прославленного капитана Уиппла, спалившего в 1772 году «Гаспи», боевой корабль Его Величества, — проголосовал за независимость Род-Айленда. В библиотеке — сыроватой комнате с низким потолком, стенами, обшитыми белыми панелями, на каминном с затейливой резьбой и увитыми виноградом окнами — хранились семейные реликвии и бумаги. В некоторых встречались упоминания о заброшенном доме на Бенифит-стрит, тающие намеки на нечто таинственное. Это проклятое место находилось неподалеку от коттеджа: Бенифит-стрит начиналась сразу за зданием суда и шла вдоль холма, на котором строили свои дома первые колонисты.

Наконец мои неустанные расспросы возымели действие. Дядя решил, что, повзрослев, я имею право знать правду, и ознакомил меня с весьма странными обстоятельствами, касаемыми этого дома. Как показывала объективная статистика, за все время его существования жизнь обитавших в нем людей непрерывно подвергалась воздействию некой

злой и разрушительной силы. Это открытие произвело на меня куда большее впечатление, чем на доброго дядюшку. Собранные вместе, отдельные случаи и некоторые вроде бы незначительные эпизоды наводили на ужасные предположения. Мною снова овладело жгучее, неумемое любопытство, по сравнению с которым мой детский интерес казался обычной в этом возрасте любознательностью. Первые догадки привели впоследствии к долгому и изнурительному изучению документов и наконец — к фатальному расследованию, которое так дорого обошлось мне и моей семье. Ведь дядя, конечно же, присоединился к начатым мною розыскам, и после одной ночи, проведенной вместе в проклятом доме, я вышел оттуда один. Как недостает мне теперь этого доброго человека, в течение долгих лет бывшего в моих глазах образцом чести, добродетели, хорошего вкуса, доброжелательности и образованности. В память о нем я воздвиг мраморное изваяние на кладбище Святого Иоанна, где так любил бродить Эдгар По. Этот погост, ограниченный с одной стороны вековой церквушкой, а с другой — домами и оградительными стенами Бенифит-стрит, по сути представляет собой тихую укромную рошницу из раскидистых ив, где мирно жмутся друг к другу могилы и родовые склепы.

Изучая историю дома и сопоставляя отдельные события и даты, мы не обнаружили ничего необычного и тем более ужасного ни в обстоятельствах его строительства, ни в личностях первых владельцев, принадлежавших к богатому и уважаемому семейству. Однако с самого начала в доме ощущалось присутствие неопределенной опасности, которая вскоре осязаемо себя проявила. Собранные дядей по крупицам сведения восходили к постройке дома в 1763 году и довольно подробно прослеживали все дальнейшие события. Его первыми хозяевами были Уильям Хэррис и его жена Роби Декстер. С ними также жили их дети: Элкана, родившаяся в 1755 году, Абилайл — в 1757, Уильям-младший — в 1759, и Руфь — в 1761. Слышавший состоятельным купцом и искусным мореплавателем, Хэррис совершал по поручению фирмы «Обадья Браун и племянники» деловые возжи в Вест-Индию. После смерти Брауна в 1761 году глава новой фирмы, «Николас Браун и К^о», доверил ему бриг «Прудене» водоизмещением 120 тонн, построенный тут же, в Провиденсе. Повышение по службе позволило Хэррису наконец исполнить давнишнюю свою мечту, укрепившуюся после женитьбы, и выстроить собственный дом.

Для особняка он выбрал живописное место на недавно выровненной и потому считавшейся престижной Бэк-стрит; улицу проложили вдоль холма, и она довольно высоко поднималась над плотно застроенным бедняцким районом. Дом вполне соответствовал красоте места, впрочем, ничего лучшего, учитывая весьма скромные накопления, выстроить было просто нельзя. Поэтому понятна та торопливость, с какой Хэррис поспешил въехать в новое жилище, тем более что семья ждала пятого ребенка. Но родившийся в декабре мальчик оказался мертвым. С тех пор в течение ста пятидесяти лет ни один ребенок не родился в этом доме живым.

В апреле следующего года дети Хэррисов заболели неизвестной болезнью, и еще до конца месяца Руфь и Абигайл скончались. По мнению доктора Джоуба Айвза, девочки умерли от лихорадки, но другие специалисты утверждали, что смерть наступила в результате истощения и резкого упадка сил. Болезнь была, по-видимому, заразной, так как в июне Ханна Бауэн, служанка, скончалась от недомогания со сходными симптомами. Другой слуга, Эли Лайдисон, постоянно жаловался на слабость и хотел было вернуться в Рибот, на ферму отца, но помешала его внезапная страсть к Митабел Пирс, взятой на место Ханны. Он умер на следующий год, оказавшийся поистине трагическим: тогда же скончался и сам Уильям Хэррис, подорвавший свое здоровье, как все полагали, на Мартинике, где он подолгу находился в последние годы.

Овдовевшая Роби Хэррис так никогда и не оправилась от потери любимого мужа, а смерть старшей дочери, Элканы, нанесла последний удар по ее рассудку. В 1768 году у нее появились первые признаки помешательства, и тогда вдову пришлось перевести на второй этаж, ограничив ее передвижения по дому. Заботы о семье взяла на себя ее старшая незамужняя сестра, простоватая Мерси Декстер, перебравшаяся на Бенифит-стрит. Природа наделила сухопарую Мерси недюжинным здоровьем, которое, впрочем, после переезда заметно пошатнулось. Она была очень привязана к своей несчастной сестре и обожала племянника Уильяма — единственного из детей, кто остался в живых, хотя и превратился из бывшего крепыша в болезненного, непропорционально высокого и худого подростка. В том же году умерла служанка Митабел, а другой слуга, Презервид Смит, попросил расчет, не дав по этому поводу никаких вразумительных объяснений, а только бормоча нечто невнятное и все время повторяя, что

в доме премерзкий запах. Мерси с трудом нашла новых слуг: семь смертей и сумасшествие, поразившие семью всего лишь за пять лет, могли хоть кого отпугнуть. Кроме того, по городу поползли разные слухи, обросшие со временем совсем уж фантастическими подробностями. Наконец ей удалось заполучить людей со стороны: угрюмую Энн Уайт, родом из той части Северного Кингстауна, которая теперь именуется Эксетером, и ловкого бостонского малого по имени Зенас Лоу.

Именно Энн Уайт впервые открыто заговорила о том, о чем шептались в городе. Мерси не стоило нанимать прислугу из такого Богом забытого местечка, как Нусек-Хилл, слышного тогда, как, впрочем, и теперь, рассадником самых невероятных поверий и предрассудков. Если не далее как в 1892 году жители Эксетера эксгумировали труп и торжественно сожгли извлеченное из него сердце, дабы воспрепятствовать мнимым ночным хождениям покойника, якобы наводившего порчу на горожан, то можно себе представить, с какой силой могло разыграться воображение их предков в середине восемнадцатого века. У Энн был острый язычок, и спустя несколько месяцев Мерси пришлось расстаться с ней, взяв на ее место преданную и добродушную Марию Роббинз, мужеподобную амазонку из Ньюпорта.

Тем временем несчастную, полностью впавшую в безумие Роби Хэррис мучили сны и видения, о кошмарности которых можно было судить хотя бы по ее отчаянным воплям. Иногда истерические крики больной — свидетельство переживаемого ею ужаса — становились совершенно непереносимы, и тогда Уильяма забирал из время к себе его кузен Пелег Хэррис, живший на Пресбитериен-лейн, неподалеку от нового здания колледжа. Здоровье мальчика там сразу же улучшалось, и будь Мерси столь же мудра, как добродетельна, то позволила бы ему поселиться там навсегда. К сожалению, не осталось подробных сведений о том, что именно выкрикивала миссис Хэррис в приступах безумия, но дошедшее до нас представляется на редкость абсурдным. Ну разве можно поверить, что женщина, знавшая лишь несколько французских слов, могла часами ругаться на этом языке, прибегая к идиоматическим выражениям, известным лишь исконным французам? И чего стоили ее странные жалобы на некую ужасную тварь, пытавшуюся кусать и жевать ее, если она находилась под постоянным присмотром? В 1772 году умер Зенас, и миссис Хэррис, услышав об этом, засмеялась с видимым удовольствием, что было совсем на нее не похоже. А на следующий

год и она отошла в мир иной и теперь покоится на Северном кладбище рядом со своим мужем.

Когда в 1775 году начались трения с Великобританией, Уильям Хэррис, несмотря на свои неполные шестнадцать лет, записался добровольцем в армию генерала Грина и за несколько лет значительно преуспел и в здоровье, и в чинах. В 1780 году он служил уже капитаном в войсках Род-Айленда под командованием полковника Энджелла, там, в Нью-Джерси, познакомился с Феб Хетфилд родом из Элизабеттауна, женился на ней и на следующий год, вернувшись с триумфом в Провиденс, привез с собой и юную жену.

Однако возвращение молодого воина не превратилось в сплошной праздник. Дом, правда, находился в отличном состоянии, а улицу расширили, переименовав в Бенифит-стрит. Однако тетушка Мерси заметно сдала — от ее бывлой крепости не осталось и следа. Уильяма встретила скрюченная жалкая старушка с безжизненным голосом и бледным как смерть лицом. Похожие перемены произошли и с единственной не покинувшей семейство служанкой, Марией. Осенью 1782 года Феб Хэррис родила мертвую девочку, а пятнадцатого мая следующего года добродетельная Мерси Декстер, прожив жизнь в самоотверженном труде и заботах о близких, оставила этот мир.

Тогда-то Уильям, полностью уверовавший в нездоровый климат своего жилища, решил навсегда покинуть его. Временно сняв для себя и жены номер в только что открывшейся гостинице «Золотой шар», он затеял строительство более благоустроенного дома на Уэстминстер-стрит, в новом городском районе за Большим мостом. Там в 1785 году родился его сын Дьюти, после чего семья благополучно жила в этом доме до того времени, когда интересы коммерции заставили их перебраться ближе к прежним местам и поселиться в новой части восточного квартала, на проложенной вдоль холма Энджел-стрит. Именно там, где впоследствии, в 1876 году, покойный Арчер Хэррис воздвиг свой пышный, но безвкусный особняк с мансардой. В 1797 году Уильям и Феб скончались во время эпидемии желтой лихорадки, а Дьюти взял на воспитание его двоюродный брат Ратбоун Хэррис, сын Пелега.

Ратбоун был человек деловой и поспешил сдать дом на Бенифит-стрит внаем, несмотря на желание Уильяма, чтобы дом пустовал: он считал своим долгом сделать все, чтобы увеличить состояние подопечного. Ратбоун и впредь

не озадачивался большим количеством смертей и болезней в доме, из-за которых там часто сменялись жильцы, а также растущей недоброй славой особняка. Похоже, он чувствовал только раздражение, когда в 1804 году городской совет обязал его обработать дом серой, дегтем и нафталином после очередных четырех смертей, о которых много говорили в городе, и не верил, что причиной их была все та же эпидемия лихорадки, уже сходившая на нет. По мнению же совета, о наличии источника инфекции говорил стравивший в доме гнилостный запах.

Самого Дьюти мало заботила его собственность: он вырос, стал морским офицером и проявил себя наилучшим образом в войне 1812 года, служа на судне «Виджилент» под командованием капитана Кехуна. С войны он вернулся в добром здравии, в 1814 году женился и стал отцом в ту незабываемую ночь двадцать третьего сентября 1815 года, когда в заливе бушевал невиданной силы шторм. Затопив полгорода, он вынес на улицы сторожевой шлюп, мачты которого уперлись прямо в окна дома Хэррисов на Уэстминстер-стрит, как бы символически подтверждая, что новорожденный Уэлком — сын моряка.

Уэлком погиб с честью у Фредерикберга в 1862 году, уйдя из жизни раньше своего отца. Ни он, ни его сын Арчер не были знакомы со страшной историей дома, относясь к нему просто как к неудачной собственности, которую трудно сдать из-за вечной сырости и гнилостного запаха, неудивительного в таком неухоженном и старом жилище. После нескольких смертей, следовавших одна за другой (кульминацией в количественном их нарастании стал 1861 год), дом никогда уже больше не сдавался, и только бурные события начавшейся войны заставили горожан позабыть обстоятельства этих зловещих кончин. По разумению Кэррингтона Хэрриса, последнего в семье представителя мужской линии, дом был заброшенным родовым гнездом, обросшим за долгое время множеством живописных легенд. Когда я поделился с ним жутким знанием, он хотел было тут же снести особняк и выстроить на освободившемся месте гостиницу. Но после того, как я открыл ему *всё*, он решил сохранить дом, провести водопровод и попробовать снова сдать его. Желавшие поселиться нашлись тут же, и ужасные события были забыты.

Можно себе представить, как потрясла меня хроника семьи Хэррисов. Уйдя с головой в эти записи, я прямо-таки непосредственно ощущал присутствие там непостижимого, чудовищного зла, равного которому я не знал в природе. И связано оно было не с семьей, а с домом. Это мое впечатление подкреплялось множеством документальных свидетельств, обстоятельно собранных дядей, рассказами слуг, вырезками из газет, копиями медицинских свидетельств о смерти и тому подобным. Я не могу, разумеется, привести здесь все документы: дядя, страстный коллекционер по натуре, глубоко заинтригованный историей заброшенного дома, собрал их изрядное количество. Но кое-что повторялось во многих источниках, и вот об этом-то следует упомянуть. Из рассказов слуг, например, выходило, что злая сила таилась в смрадном, заросшем грибковой плесенью подвале. Некоторые слуги, особенно Энн Уайт, вообще избегали туда заглядывать. И еще: по меньшей мере в трех обстоятельных версиях упоминались корни деревьев и плесенные наросты, в дьявольских очертаниях которых угадывались искаженные формы человеческих фигур. Эти рассказы меня особенно заинтересовали, так как и я видел в детстве нечто подобное, хотя у меня было чувство, что каждый рассказчик привносил в историю колорит своего родного фольклора.

Энн Уайт, с ее экстерскими предрассудками, предлагала самую экстравагантную и одновременно самую логичную версию. Она утверждала, что под домом похоронен один из тех вампиров, которые, чтобы сохранить свою плоть, должны пить кровь и красть дыхание у живых людей. Именно с этой целью ужасные полчища мерзких созданий бродят по ночам в виде привидений или прикидываясь людьми. Энн требовала поскорее взяться за поиски в подполе гнусной могилы, и эта ее упрямая настойчивость стала одной из причин, по которой с ней предпочли расстаться.

Ее рассказы пользовались, однако, большим успехом у соседей, оно и понятно — дом и вправду стоял на земле, где когда-то было кладбище. Это обстоятельство, хоть и весьма существенное, было для меня все же не столь важно рядом с другим: предположения Энн подтверждались жалобами Презервида Смита, слуги, уволившегося до прихода Энн и зная ее не знавшего. Смит утверждал, что кто-то по ночам «высасывает из него силы». Как тут не вспомнить свидетель-

ства, подписанные доктором Чэдом Хопкинсом, о смерти четырех людей, скончавшихся якобы от желтой лихорадки в 1804 году! В них тоже говорилось о патологическом малокровии жертв. И несчастная Роби Хэррис кричала в бреду о некоем призрачном существе с остекленевшими глазами и острыми клыками.

Хотя я с предубеждением отношусь к разного рода предрассудкам, но здесь стоило призадуматься, особенно после знакомства с двумя газетными заметками разных лет, в которых говорилось о странных смертях в заброшенном доме. В статье из «Провиденс газетт энд кантри» от 12 апреля 1815 года и в другой — из «Дейли транскрипт энд кроникл» от 27 октября 1845 года — сообщалось о поразительно похожих, приводящих в содрогание случаях. Казалось, что описывалась одна и та же кончина. И благочестивая пожилая леди Стэффорд, почившая в 1815 году, и школьная учительница Элизар Дюрфи перед самой агонией чудовищным образом преображались: взгляд их стекленел, а при осмотре они старались впиться зубами в горло врача. Еще более удивительные обстоятельства сопутствовали той череде смертей, после которых дом на Бенифит-стрит навсегда опустел. Больные теряли рассудок, а потом стремительно погибали от прогрессирующей анемии. Впав в безумие, они покушались на жизнь близких, изобретательно изыскивая возможность вцепиться зубами им в горло или запястье.

Мой дядя занялся врачебной практикой то ли с 1860, то ли с 1861 года, и уже тогда слышал об этих таинственных случаях от старших коллег. Самым необъяснимым в них представлялось то, что жильцы (а последние годы дом снимали неграмотные, темные люди — чистую публику отпугивал мерзостный запах и плохая репутация дома), не знающие ни слова по-французски, заболевая, проклинали всех и вся именно на этом языке. Как тут было не вспомнить бедную Роби Хэррис, скончавшуюся почти столетие назад! На дядю произвело сильное впечатление все услышанное, и, вернувшись с фронта, он занялся сбором информации о странных смертях в заброшенном доме, в чем ему очень помогли доктора Чейз и Уитмарш, давшие, как говорится, сведения из первых рук. Дядя много и серьезно размышлял над этим феноменом и был несказанно рад моему неподдельному интересу: теперь ему было с кем обсуждать то, над чем посмеивались другие. Он не обладал моей пылкой юношеской фантазией, но опыт подсказывал ему, что таинственное место

способно воспламенить воображение и превосходит все известное в области таинственного и ужасного.

Я же отнесся ко всему исключительно серьезно и, не желая ограничиваться пассивной ролью слушателя, старался сам добыть новые сведения. Беседуя много раз с престарелым владельцем заброшенного дома Арчером Хэррисом — вплоть до его смерти в 1916 году, — я получил от него, а также от незамужней сестры Арчера Алисы, здравствующей и ныне, подтверждение собранной дядей информации. На мой вопрос, что могло связывать дом с Францией, оба недоуменно молчали. Арчер вообще ничего не знал, а мисс Хэррис в конце концов припомнила, как ее дед, Дьюти Хэррис, что-то такое рассказывал. Старый моряк, переживший на два года своего сына Уэлкома, павшего в сражении, не знал всей легенды полностью, но вспоминал, как его старая няня, Мария Роббинз, говорила о бредовых выкриках на французском языке Роби Хэррис, за которой ухаживала до самой ее кончины. Мария жила в доме Хэррисов с 1769 по 1783 год — в пору, когда семья окончательно покинула опасное жилище, и присутствовала при смерти Мерси Декстер. Как-то она упомянула малолетнему Дьюти о странном поведении Мерси в ее последние минуты, но он вскоре все забыл, помня только, что речь шла о какой-то дикости. Впрочем, даже эти, крайне неопределенные, подробности внука Дьюти вспомнила с большим трудом. И она, и ее брат мало интересовались историей дома, в отличие от нынешнего его хозяина — Кэррингтона Хэрриса, сына Арчера, которому я без утайки рассказал о жутком нашем расследовании.

Собрав всю доступную информацию о семействе Хэррисов, я стал внимательно изучать документы, относящиеся к прошлому города, занимаясь с захватывающим интересом тем, чему дядя не уделил должного внимания. Мне хотелось составить связное представление об истории поселения начиная с 1636 года, а может, и с более ранних времен, если посчастливится разыскать индейские легенды, бытовавшие в районе Наррагансетского залива. Я узнал, что земля, на которой впоследствии построили дом, была частью протянувшегося вдоль побережья владения, пожалованного в свое время Джону Торкмортону. Земли, дарованные другим колонистам, начинались также недалеко от реки, где теперь протекает Таун-стрит, и тянулись вверх по холму в направлении нынешней Хоуп-стрит. Земли Торкмортонов, по мере разрастания рода, дробились, и мне надлежало установить, к кому же

перешел злосчастный участок на Бэк-стрит, или, что то же самое, на Бенифит-стрит. По слухам, там располагалось кладбище рода Торкмортонов, но, порывшись в старых бумагах, я выяснил, что их останки со временем перезахоронили на Северном кладбище, близ дороги на Потакен-Уэст.

Затем я наткнулся на документ — надо сказать, по чистой случайности, так как он лежал отдельно от всех остальных, — который возбудил мое острейшее любопытство: документ прояснял наиболее странные обстоятельства дела. Это была запись о сдаче в аренду Этьену Руле и его жене в 1697 году небольшого участка земли из владения Торкмортонов. Вот он — французский элемент! Я начал досконально изучать расположение отдельных участков перед тем, как проложили, а затем и выровняли Бэк-стрит, то есть за 1747—1758 годы, и тут на меня дохнуло ужасом, пожалуй не меньшим, чем с самых зловещих страниц когда-либо читанных оккультных книг. То, что я подсознательно уже знал, подтвердилось: там, где теперь стоял заброшенный дом, было кладбище семейства Руле; оно непосредственно примыкало к их жилищу — одноэтажной постройке, и не существовало никаких свидетельств, что останки захороненных там людей куда-либо переносились. Так как из найденного мною документа ничего более нельзя было извлечь, мне пришлось перерывать всю Историческую библиотеку Род-Айленда, а затем и Библиотеку Шепли, прежде чем я выяснил, кто же такие были эти Руле.

Семейство Руле прибыло в наши места, как выяснилось, из Ист-Гринвича, расположенного на западном берегу Наррагансетского залива. Власти Провиденса долгое время колебались, разрешить ли этим тугенотам из Кода обосноваться в городе. В Ист-Гринвиче, куда Руле приехали после отмены Нантского эдикта, их недолго любили. Эта неприязнь происходила, по слухам, не из расовых или национальных предрассудков и не из-за споров о земле — вечном поводе для раздоров между французскими и английскими колонистами, которые не смог притушить даже губернатор Эндрос. Но, учтя их стойкую приверженность к протестантизму — слишком уж яростную, по мнению некоторых, — а также их неподдельную скорбь по утраченному домашнему очагу, которого их практически насильственно лишили, власти даровали им приют в Провиденсе. Более того, смуглолицего Этьена Руле, который мало что смыслил в сельском хозяйстве, зато много преуспел в чтении мудреных книг и часами рисовал диковинные диаграммы, назначили клерком при товарном

складе, обслуживающем верфи в южной части Таун-стрит. Именно там позднее разразился бунт, но это было лет сорок спустя, когда старик Руле уже умер. После этого события семейство покинуло город, и дальнейшая его судьба покрыта тайной.

Но о них не забывали еще долго; в течение целого столетия, а может, и больше, пребывание здесь Руле вспоминали как бурный эпизод в размеренной жизни морского порта Новой Англии. Особенно часто обсуждали сына Этьена, Поля, мрачного субъекта, своим странным поведением спровоцировавшего бунт, после которого семейство убралось из города. В Провиденсе никогда не практиковалась охота за ведьмами, что частенько случалось в пуританских селениях по соседству, но о Поле поговаривали, что он никогда не преклоняет колена в отведенное для молитвы время, да и молится-то непонятно кому. Эти слухи и лежали в основе легенды, известной старой Марии Роббинз. Однако все это не объясняло, какая существовала связь между семейством Руле и бредом на французском языке Роби Хэррис и прочих домочадцев. Не знаю, сопоставлял ли кто-нибудь из жителей города эти легенды с ужасными событиями, известными мне из старой литературы. Я имею в виду то зловещее дело, которое неписаная история мирового Зла связывает с именем *Жака Руле из Кода*, приговоренного в 1598 году к сожжению на костре за общение с дьяволом. Впоследствии по ходатайству парижского парламента смертную казнь заменили пожизненным заточением в сумасшедшем доме. Дело в том, что Руле нашли в лесу с измазанными кровью губами и прилипшими к ним мельчайшими кусочками плоти — вскоре после того, как пара волков растерзала мальчика. Одного волка убили, но другому удалось уйти. Если бы не точное указание места происшествия и имени подозреваемого в злодействе оборотня, все это выглядело бы просто таинственной историей — из тех, что рассказывают поздним вечером у камина. По моему мнению, в Провиденсе вряд ли слышали об этом давнем зловещем событии. Однако, если слухи все же распространились, сходство имен наверняка вызвало в сердцах жителей суеверный страх, а это могло стать поводом к той заварушке, в результате которой Руле пришлось покинуть город.

Я все чаще посещал проклятое место, изучал необычную растительность в саду, обследовал стены дома, тщательно просмотрел каждый дюйм земляного пола в подвале и, наконец, с разрешения Кэррингтона Хэрриса, подобрал ключ к той

всеми забытой двери, которая выходила прямо на Бенифит-стрит. Мне хотелось иметь на будущее возможность побыстрее выбраться отсюда на свет божий, а не плутать мрачными переходами и темными лестницами, ведущими к парадной двери. Здесь, в подвале, единственном месте, где могла таиться вековая нечисть, я проводил в поисках и размышлениях долгие послеобеденные часы. От мирной городской улицы меня отделяло лишь несколько шагов, да и заходящее солнце пробивалось сквозь затянутые паутиной щели в двери. Но ничего нового мне пока не открылось — все та же удушающая затхлость, плесневые контуры на полу и временами доносящийся откуда-то омерзительно гнилостный запах. Иногда кто-нибудь из прохожих замечал сквозь разбитые стекла в двери неясную фигуру и недоуменно останавливался, с любопытством приглядываясь.

Спустя какое-то время дядя посоветовал мне посетить подвал после захода солнца, и вот одной ненастной ночью я начал осмотр земляного пола, освещая электрическим фонариком жутковатые плесневые наросты и уродливые, слабо фосфоресцирующие грибы. На этот раз подвал действовал на меня как-то особенно удручающе, и поэтому я даже не удивился, когда различил — или мне показалось? — среди беловатых плесневых разводов четко обозначенную «сгорченную» фигурку, похожую на ту, что я видел ребенком. Сейчас она особенно хорошо выделялась на полу, и, всматриваясь, я заметил поднимающийся от нее тонкий желтоватый дымок, так поразивший меня одним дождливым днем много лет тому назад.

Легкое светящееся испарение, исходящее от плесневого нароста, постепенно обретало в подвальной сырости пугающие очертания, которые, зарождаясь среди гнили, уплывали в темную дыру дымохода, источая на своем пути удушливую вонь. Зрелище было ужасным, особенно для меня, так много знавшего об этом гиблом месте. Но я все же не обратился в бегство, а неотрывно смотрел на проплывающее призрачное существо, оно же в свою очередь жадно пожирало глазами меня — что я больше ощущал, чем видел. Услышав мой рассказ о ночном приключении, дядя пришел в большое волнение и после упорных размышлений выработал твердый план дальнейших действий. Учитывая важность предприятия, а также нашего участия в нем, дядя настаивал, чтобы мы оба ближайшую ночь, а может, и несколько ночей подряд, провели в сыром, заросшем гнусными грибами подвале,

подстерегая монстра, а дождавшись, постарались бы понять его природу и в случае удачи уничтожить.

IV.

В среду 25 июня 1919 года, поставив в известность Кэррингтона о ночной нашей экспедиции, но не вдаваясь в детали и не сообщив, что мы предполагаем делать, мы с дядей перенесли в подвал два складных стула, раскладную кровать и один весьма тяжелый и сложный прибор. Укрывшись от любопытных взоров за обтянутым бумагой оконцем, мы разместили все эти вещи еще днем, готовясь вечером вернуться сюда на ночное дежурство. Мы также заперли дверь, ведущую из подвала на первый этаж, не желая рисковать прибором, который нам с большим трудом и за изрядные деньги удалось заполучить: кто знает, сколько ночей суждено нам здесь провести! Было решено первую половину ночи дежурить вместе, вторую же — поодиночке, по два часа: сначала я, следующим — мой дядя, чтобы каждый мог немного вздремнуть.

Дядя, несомненно, был главой нашего предприятия: ведь это он достал необходимые приборы в Университете Брауна и на оружейном заводе, что на Крентон-стрит, да и теперь продолжал руководить нашими действиями. Какая жизненная сила, какая энергия таилась в этом человеке, которому шел уже восемьдесят второй год! Илайхью Уиппл прожил свою жизнь в соответствии с теми правилами, которые он исповедовал и пропагандировал как врач, и, если бы не трагические обстоятельства, был бы и сейчас в добром здравии. Только двое во всем мире могли догадываться, что с ним произошло, — Кэррингтон Хэррис и я. Мне пришлось все рассказать Хэррису: ведь он как владелец дома должен был знать, что скрывалось в нем. Кроме того, мы предупредили его о нашем расследовании, так что после исчезновения дяди я надеялся, что он все поймет и поможет мне создать для горожан правдоподобную версию случившегося. Услышав мой рассказ, он побледнел, но помочь согласился и признал, что теперь, видимо, можно будет сдать дом.

Было бы грубой и нелепой ложью сказать, что мы не волновались в дождливую ночь нашего первого ночного дежурства. Обывательскими предрассудками мы не страдали, однако путем размышлений и научных исследований пришли

к выводу, что трехмерная вселенная, где обитает человечество, является лишь одним из вариантов огромного мира вещества и энергии. В нашем же случае почти все свидетельства из достоверных источников говорили за то, что в доме прочно обосновались некие могущественные силы, представляющие исключительную опасность для человека. Нельзя сказать, что мы безусловно верили в вампиров или оборотней, однако допускали существование некоей неизвестной науке модификации жизненной силы и деградированного биологического вещества. Такие организмы могли только изредка проникать в трехмерное пространство, да и то лишь в том случае, если их собственный мир граничил с нашим. У нас же не было никакой надежды разгадать подоплеку этих эпизодических визитов, ибо, не имея отправной точки, невозможно даже подступиться к разгадке.

Короче говоря, дяде и мне казалось, что неопровержимая цепь фактов говорит о наличии в гиблом доме некоего стойкого воздействия неизвестных сил, прослеживаемого с появления в городе двести лет назад зловеще знаменитого французского семейства. Под воздействием неведомых нам законов атомистического и электронного движения это влияние сохранилось до сих пор. Вся история Руле неоспоримо доказывала, что члены этого рода обладали редкой способностью выхода в другие круги бытия, в темные сферы, вызывающие у обычных людей только ужас и содрогание. Возможно, неприязнь населения к семейству в тридцатые годы восемнадцатого века и связанные с нею городские волнения как-то повлияли на одного из Руле, скорее всего на мрачного Поля, задействовав определенные кинетические механизмы в его извращенном сознании. Высвободившаяся энергия продолжала жить и после его смерти в ограниченных пределах прежнего жилища, где Руле окружала яростная ненависть горожан.

В свете последних научных открытий, включая теорию относительности и внутриатомное устройство, все это не вступало в противоречие ни с физическими, ни с биохимическими законами. Можно представить себе материю или энергию, организованные вокруг чужеродного ядра в виде какой-то формы или бесформенно; можно также предположить, что эта субстанция поддерживает свое существование, паразитируя на жизненной силе, плоти или дыхании других, реально осязаемых существ, в которые она проникает, иногда полностью с ними сливаясь.

Этот симбиоз может проводиться с активно враждебной целью, а может быть и нейтральным средством, поддерживающим существование данной субстанции. Но как бы то ни было, подобный монстр все равно является аномалией. В нашем понимании он захватчик, и первейший долг каждого из нас, если он не враг рода человеческого и печется о его душевном и физическом здоровье, уничтожить злую силу.

Мы не знали, в каком образе явится к нам чудовище, и это беспокоило нас. Никто, будучи в здравом рассудке, не видел его, и лишь немногие непосредственно ощущали его воздействие. Возможно, он представлял собой чистую энергию — неземную сущность, стоящую вне царства материи, а может, был частично материальной субстанцией — неизвестной науке, нечетко выраженной плазменной массой, способной по своему усмотрению принимать размытые формы твердого, жидкого, газообразного вещества или комбинации из них. И в плесневом налете на полу, и в форме желтоватого дымка, и в искривленных корнях, о которых говорилось еще в старых легендах, просматривалось отдаленное сходство с очертаниями человеческой фигуры, однако кто мог с уверенностью сказать, было ли это сходство устойчивым состоянием.

Для борьбы с монстром у нас имелось два средства. Во-первых, большая и специально приспособленная для наших целей трубка Крукса, работавшая на мощных батареях и снабженная особыми экранами и рефлекторами: если чудовище окажется неосязаемым, мы надеялись уничтожить его лучевой радиацией высокой мощности. На тот случай, если монстр хотя бы частично является материальным существом, которое можно убить механическим путем, мы припасли два огнемета, с успехом применявшихся на фронтах мировой войны: как и суеверные эскотерские крестьяне, мы собирались сжечь сердце чудовища, если таковое у него существует. Эти орудия уничтожения мы установили в подвале между нашими уголком со стульями и раскладную кровать и местом у печи, где росла столь необычной формы плесень. Когда мы расставляли наши вещи и позднее, когда вернулись на ночное дежурство, белесое пятно было еле заметно. На какое-то мгновение я даже заколебался: а не привиделось ли мне то призрачное существо?

Наше бдение началось в десять часов вечера: смеркалось поздно, а при свете дня ожидаемые явления не происходили. Еле пробивающийся сквозь пелену дождя свет уличных фонарей и слабое фосфоресцирование омерзительных грибов

освещали влажные каменные стены, с которых полностью сошла побелка, и весь подвальный интерьер: сырой, зловонный и заплесневелый земляной пол с этими гнуснейшими грибами; прогнившее старье — табуретки, стулья, столы и еще какую-то, не поддающуюся определению мебель; массивные балки и доски над головой; обветшалую дощатую дверь, ведущую в погреба; лестницу с выщербленными каменными ступенями и поломанными деревянными перилами; грубо сложенную из потемневшего кирпича печь, проржавевшие железные части которой указывали, в каких местах ранее находились подвесные крюки, железные решетки для дров, вертел, поддувало и дверца жаровни; а кроме того — наше аскетическое ложе, складные стулья, а также объемистую и сложную технику уничтожения.

Как и в мои прежние вылазки, мы оставили дверь на улицу незапертой, чтобы иметь путь к отступлению на тот случай, если почувствуем, что не в силах контролировать ситуацию. Мы надеялись, что наши ночные дежурства привлекут в конце концов внимание затаившейся в подвале злой силы и она каким-то образом проявит себе, а там уж мы, разобравшись, что к чему, сумеем с помощью наших мощных приспособлений совладать с ней. Однако трудно было предположить, сколько на это потребуется времени. Наше предприятие становилось небезопасным: кто знает, какой силой обладало чудовище. Но игра стоила свеч, и мы не колеблясь пошли на риск, даже не помышляя о посторонней помощи — нас бы только высмеяли, а возможно, и помешали бы нам. Обо всем этом мы долго говорили, сидя ночью в подвале, пока я не заметил, что у дяди слипаются глаза, и не заставил его лечь отдохнуть.

Когда я остался один в эти предутренние часы, меня пронизал страх. Нет, это не оговорка: тот, кто сидит рядом со спящим, особенно одинок. Дядя тяжело дышал, его вдохи и выдохи слышались даже сквозь шорох непрекращающегося дождя. Более всего действовала мне на нервы сочившаяся с сырых стен вода — стук капель будто буравил голову. Дом не просыхал даже в сухую погоду — что уж говорить про такой потоп, как сегодня. От нечего делать я заинтересовался старинной кладкой стен, но при тусклом свете, глаза мои быстро утомились, да и доносившиеся отовсюду неприятные звуки постоянно отвлекали. Когда они стали совершенно переносимыми, я отворил дверь наружу и вдохнул полную грудь воздуха, с удовольствием глядя на милые сердцу картины.

Снаружи все выглядело так обыденно, что мне сразу легчало. Я глубоко зевнул: усталость брала свое.

Вскоре дядя заворочался во сне. За последние полчаса он уже несколько раз переворачивался с боку на бок, теперь же необычно тяжело задыхался, изредка испуская вздохи, напоминающие сдавленный стон. Я посветил на него фонариком, но дядя лежал, повернувшись в другую сторону. Поднявшись, я обошел раскладушку и снова направил луч света на спящего. А вдруг он заболел? То, что я увидел, по непонятным причинам взволновало меня. Возможно, подействовала сама обстановка — зловещий дом и наша ответственная миссия, — ведь картина была самая что ни на есть мирная. Несколько обеспокоенное лицо дяди хранило, впрочем, его обычное выражение, во вздохах тоже не было ничего странного — ситуация вполне к этому располагала и дядины сны могли ей соответствовать. И все же в его чертах было нечто слишком уж экспрессивное. Обычно дядя, с его безукоризненным воспитанием, держался ровно и доброжелательно, его манеры были мягки и спокойны. Теперь же его, казалось, сотрясали эмоции. Особенно, помнится, меня поразила резкая смена чувств, отражавшаяся на лице спящего. Возбуждение его все нарастало. Судорожно глотая воздух и беспокойно ворочаясь на своей кровати он наконец открыл глаза. И тут мое впечатление подтвердилось: в нем действительно как бы жило несколько человек, и все — из другого, не нашего времени.

Он что-то быстро забормотал, и в складках его губ, в манере речи появилось нечто новое и неприятное. Поначалу я ничего не мог разобрать, но затем с удивлением услышал такое, от чего похолодел. И это говорил образованнейший человек своего времени, писавший статьи по антропологии и археологии для французского журнала «Ревю де Дё Монд»? Илайхью Уинпл бредил на французском языке, и те несколько фраз, что я сумел разобрать, по своему мракобесию не уступали самым мрачнейшим мифам из страниц этого журнала.

Неожиданно на лбу дяди проступил пот, и он, еще в полудреме, резко вскочил с раскладушки. Французские слова сменились истошным воплем на родном языке: «Дышать! Трудно дышать!» Наконец дядя проснулся полностью, лицо его обрело обычное свое выражение и, схватив меня за руку, он начал рассказывать свой сон, зловещий смысл которого я прозревал со страхом.

Вскоре после того, как он погрузился в сон, обычные земные сновидения сменились чем-то иным, настолько ни на что

не похожим, что он даже затруднился в словах. Это был наш мир и одновременно какой-то другой, где происходила невероятная геометрическая путаница: привычные вещи выступали в необычных, тревожащих конфигурациях. Совмещались, казалось, несоизмеримые вещи, разрозненные фрагменты реальности, как если бы пространство и время, распавшись, вновь слились в причудливых сочетаниях. И в этом вихре фантастических образов вдруг возникали моментальные, если можно так выразиться, фотографии — чрезвычайно четкие видения, ошеломляющие, правда, своей разнородностью.

В один момент дяде почудилось, что он лежит в небрежно вырытой яме, а на него сверху смотрит множество угрюмых физиономий в треуголках поверх растрепанных кудрей. И тут же он очутился в доме — по-видимому, очень старом, — обстановка и жильцы в котором непрерывно менялись, и он, помнится, никак не мог уразуметь, в какой находитесь комнате и кто стоит рядом, потому что двери и окна тоже участвовали в этой дикой круговерти. Все это было странно, чертовски странно, и дядя рассказывал сон с какой-то даже робостью, видимо боясь, что я ему не поверю, особенно после того, как он прибавил, что люди в доме очень напоминали чертами лиц семейство Хэррисов. Одновременно он испытывал страшное удушье и неприятное чувство, как если бы кто-то невидимый проникал в него, желая похитить жизненную силу. Я с ужасом представил себе, как изношенный организм восьмидесятилетнего старца сопротивляется проникшим в него злым силам, представил неравную борьбу, где неизбежно победит сильнейший. Но уже минуту спустя успокоился, утешив себя, что сон — это всего лишь сон, да и сами неприятные видения — реакция дяди на предысторию нашего исследования и на непривычную обстановку эксперимента. Ведь в последнее время именно он занимал все наши мысли.

Постепенно беседа рассеяла мои страхи, и, почувствовав сонливость, я в свою очередь занял место на раскладушке. Дядя же, казалось, совершенно не хотел спать и с радостью согласился подежурить, хотя ночные кошмары оборвали его сон задолго до того, как истекли отведенные ему два часа. Заснул я мгновенно, но и мои сновидения были тревожны. Мне снилась темница, где я лежал, ощущая космическое, беспредельное одиночество и зная, что отовсюду надвигается на меня враждебная злая сила. Связанный, с кляпом во рту, я слушал доносящиеся издалека издевательские вопли монстров, жаждающих моей крови. Эхо разносило эти страшные крики по

всей темнице. Помнится, надо мной склонялось дымящееся лицо, но выражение его было не столь приятным, как наяву. Безуспешно пытаюсь освободиться от пут, я силюсь закричать. Сон становится все неприятнее, и я почувствовал облегчение, когда пронзительный вопль, прокатившись эхом по дому, разорвал оковы сна и резко вывел меня из забытья. И тут подвал и все находящиеся в нем предметы вдруг предстали предо мной с какой-то пугающей отчетливостью.

V.

Очнувшись, я не увидел дяди — он сидел за моей спиной, перед моими же глазами были дверь на улицу и фрагмент выходящей на север стены с оконцем и потолком. Я видел их гораздо лучше, чем при свете фосфоресцирующих грибов и тусклых уличных фонарей. Нельзя сказать, чтобы освещение стало ярче, нет, книгу с обычным шрифтом, например, нельзя было бы читать. Но появился новый источник света, отбрасывающий тень от меня и раскладушки; он излучал желтоватое сияние и обладал особой проникающей силой, при которой предметы обрисовывались рельефней, чем при обычном освещении. Я стал гораздо зорче, но два других органа чувств — слух и обоняние — переживали страшный шок. В ушах по-прежнему стоял душераздирающий крик, и, кроме того, я почти задохнулся от невыносимого гнилостного запаха. Всем своим существом ощутив непонятную угрозу, я почти автоматически спрыгнул с раскладушки и бросился к поставленным нами перед плесневым пятном орудиям защиты. Признаюсь, мне страшно было обернуться: к этому времени я уже осознал, что кричал дядя, и боялся заглянуть в лицо опасности, от которой придется защищать себя и его.

Зрелище превзошло самые худшие ожидания. Безграничный космос иногда посылает отдельным несчастливцам кошмарные, inferнальные видения, но то, что я увидел, было ни с чем не сравнимо. Оттуда, где раньше стелились плесневые грибы, восходило мертвенно-желтое испарение; поднимаясь вверх, оно пузырилось и побулькивало, принимая наполовину человеческие, наполовину звероподобные очертания. Сквозь чудовищную тварь просвечивали печь и дымоход. Говоря, что видел это существо, я не совсем точен: его формы как бы додумывались позднее в моем сознании. Тогда же передо мной

клубилось только слабо фосфоресцирующее облако плесневых испарений, оно окутывало и постепенно превращало в омерзительную вязкую массу того, к кому было приковано мое внимание. Этим кем-то был мой дядя, почтенный Илайхью Уиппл, чье потемневшее и расплывающееся лицо глядело на меня со злобной плотоядной усмешкой. Он свирепо тянулся ко мне, желая растерзать, но жуткие когти, не успевая коснуться моей одежды, рассыпались в прах.

Только активность спасла меня от безумия. Я готовился к решительным действиям, и этот настрой оказался бесценным. Мгновенно осознав, что клубящееся зло не принадлежит к субстанции, которую можно сокрушить материальными или химическими средствами, и потому даже не взглянув на огнемёт, неясно вырисовывавшийся слева от меня, я бросился к трубке Крукса и направил на богохульственное зрелище мощнейшую дозу радиации. Раздалось что-то вроде оглушительного всплеска, все заволокло голубоватой дымкой, и желтое свечение несколько поблекло. Но почти сразу же я понял, что цели не достиг: сильнейшее радиоактивное излучение не произвело на чудовищную субстанцию никакого эффекта.

Демонический спектакль, напротив, лишь набирал силу. Новое душераздирающее зрелище исторгло из меня дикий вопль и заставило броситься к незапертой двери, ведущей на улицу. Тогда я не думал о том, что за мной в безмятежную городскую тишь могут вырваться адские силы, и уж тем более меня не заботило, какое впечатление я произведу на случайного прохожего. В голубовато-желтом освещении тело дяди как-то омерзительно разжижалось, обретая ни на что не похожую консистенцию; одновременно лицо его претерпевало множество совершенно немыслимых изменений, которые могли зародиться разве что в воображении безумца. За мгновение он успевал побывать дьяволом и толпой, склепом и карнавальным шествием. В тусклом свете эта студенистая масса сменяла десятки, дюжины, сотни обликов и, ухмыляясь, опускалась все ниже к земле, оседая вместе с таявшим, как свеча, телом. Некоторые из множества мелькавших карикатурных видений ничего и никого не напоминали, другие были знакомы.

Я узнавал лица Хэррисов, мужчин и женщин, взрослых и детей, но одновременно видел и другие лица — старые и молодые, грубые и утонченные, знакомые и незнакомые. На секунду мелькнула плохая копия с миниатюры несчастной

Роби Хэррис, которую я видел в Художественном музее, затем мне показалось, что я узнал лицо костлявой Мерси Декстер, запомнившееся мне во время посещения дома Кэррингтона Хэрриса, где висел ее портрет. Все это производило кошмарное впечатление, и я стоял, застыл на месте, провожая взглядом последнее, сложившееся из черт слуги и младенца, видение, мелькнувшее уже на уровне заплесневелого пола, где растеклась салыная зеленая лужа. Мне показалось, что в этот последний момент разрозненные черты ужасной маски яростно боролись друг с другом, пытаясь слиться в дорогой мне образ доброго дядюшки. Мне приятно вспомнить, что на мгновение его доброе лицо возобладало над хаосом и он даже попытался послать мне последний привет. Кажется, я тоже сумел выдать из сведенного судорогой горла слова прощания, а потом бросился на улицу, куда за мной на мокрый от дождя тротуар устремилась тонкая салыная струйка.

Остальная часть ужасной ночи прошла как в тумане. Улица под дождем была пустыня. Мне не пришло в голову обратиться к кому-нибудь за помощью, — что я мог рассказать? Я бесцельно брел куда-то к югу вдоль Колледж-Хилл и Городской библиотеки, а затем, миновав Хопкинс-стрит, перешел мост, оказавшись в деловой части города, где высокие здания — символ современного материального мира — казалось, оберегали меня от стародавнего фантастического бытия. Затем забрезживший на востоке сероватый рассвет осветил древний холм с его почтенными склонами, как бы призывая меня вернуться и завершить начатое. Я пошел — мокрый, без шляпы на голове, почти ничего не соображая, и ранним утром уже стоял у той злобейшей двери на Бенифит-стрит, которую оставил распахнутой. Она и теперь — на глазах у ранних прохожих, с которыми я не осмеливался заговорить, — стояла таинственно приоткрытой, как бы приглашая войти.

Салыная лужа исчезла, впитавшись в ноздреватую поверхность пола. Перед печкой на плесенном наросте не было даже следов огромной скорченной фигуры. Я стоял и смотрел на раскладушку, стулья, инструменты, забытую мной шляпу, на соломенный головной убор дядюшки. Мысли мои все еще путались, и я не мог бы с точностью сказать, что мне приснилось, а что произошло на самом деле. Но вскоре память моя прояснилась, и тут я наконец осознал, свидетелем какого кошмара мне случилось быть. Присев, я стал соображать, насколько позволяло состояние, что же все-таки произошло

и как совладать со всем этим ужасом, если он действительно имел место. Очевидно, что явившаяся мне субстанция была не материальна, не обладала она также и эфирными свойствами, и, прочем, и какими-либо иными, известными человеку. Не представляла ли она в таком случае некую неведомую эманацию, выделяемую вампирами и таившуюся, согласно эскетерским легендам, на некоторых погостах? Решив, что отыскал ключ к тайне, я вновь стал разглядывать то место у печки, где обретались странной формы плесневые грибы. Через десять минут у меня созрело решение, и, надев шляпу, я поспешил домой. Там я принял ванну, позавтракал и попросил по телефону доставить завтра утром к заброшенному дому на Бенифит-стрит мотыгу, лопату, противогаз и шесть оплетенных бутылей с серной кислотой. Затем я постарался заснуть, но сон не шел, так что оставшееся время я провел в чтении и, чтобы как-то снять напряжение, сочинял бессмысленные стихи.

На следующий день в одиннадцать часов утра я уже копал землю. День выдался солнечный, и это взбодрило меня. Я по-прежнему был в одиночестве: при одной только мысли поделиться с кем-нибудь пережитым меня охватывал страх еще больший, чем перед самой встречей с загадочным злом. Только необходимость заставила меня позже рассказать все Хэррису, да и то я перескочил себя лишь потому, что он слышал старые легенды и был хоть в какой-то степени расположен поверить мне. Переворачивая пласты вонючей черной почвы, и рассекая лопатой белые грибы и, видя, как из них сочится густая, желтая, похожая на гной жидкость, трепетал от мысли, что мне придется увидеть. Человеку не следует знать некоторые секреты земли, и тот, с которым я соприкоснулся, принадлежал, несомненно, к таковым.

Руки мои тряслись, но я неуклонно продвигался к цели и вскоре стоял уже в глубокой яме около шести футов шириной. Неприятный запах все возрастал, и я не сомневался, что вот-вот вступлю в контакт с дьявольской тварью, захватившей дом полтора века назад. Я не знал, в каком она предстанет обличье, какова ее форма, субстанция, какой объем она набрала за те годы, что похищала у людей жизненную силу. Прошло изрядно времени, прежде чем я выбрался из ямы, утрамбовал края и расставил по двум сторонам огромные бутыли с серной кислотой, чтобы в случае необходимости незамедлительно вылить их содержимое в зияющее отверстие. После этого я откидывал грунт только на две другие стороны, работая мед-

ленно и в противогазе: запах становился все непереносимее. Сознание близости к таящемуся подо мной неведомому монстру почти лишало меня рассудка.

Внезапно лопата вошла во что-то более мягкое, чем земля. Я задрожал от страха и хотел было выбраться из ямы, которая к тому времени стала мне по шею, но затем, собрав остатки мужества, начал осторожно, светя себе электрическим фонариком, соскребать лопатой верхний слой земли. То, что открылось моим глазам, напоминало протухший, полупрозрачный студень, тускло поблескивавший на свету. Продолжая счищать землю с желеобразной массы, я постепенно дошел до того места, где она закруглялась, и понял, что непонятная субстанция имеет форму. Очищенная мною часть дугообразно выступала массивной белесой трубой, расширенной на неровном изгибе до двух футов в диаметре. Я еще немного поскреб лопатой студенистую поверхность и... Не помню, как я очутился наверху, спасаясь от гнусной твари, помню только бешеную торопливость, с какой опрокидывал одну за другой тяжелые бутылки, выливая их едкое содержимое в зияющую кладбищенскую бездну с чудовищным монстром, чье гигантское плечо я только что видел.

Вряд ли мне суждено когда-либо забыть ослепительный зеленовато-желтый вихрь, взметнувшийся из потаенных глубин, залитых разъедающим потоком кислоты. Живущие на ближайших склонах люди долго вспоминали потом этот, как они говорили, желтый день, когда от якобы фабричных отходов, сброшенных в реку Провиденс, поднимались ядовитые испарения. Если бы они знали всю подноготную! По их словам, страшный рев, сотрясший округу, раздался из-за разрыва водопроводной трубы или неполадок в газовой магистрали. Насчет этого я тоже мог бы внести ясность. Рев и вправду был оглушительный, едва выносимый. Опорожнив четвертую бутылку, я потерял сознание — ядовитые пары проникли-таки под противогаз, а когда пришел в себя, все уже было позади.

Последние две бутылки, вылитые мною после обморока, никакого нового эффекта не дали, и, почувствовав, что с опасностью покончено, я стал зарывать яму. Только после полуночи земля в подвале сровнялась, теперь уже работать было не страшно — здесь все изменилось. Воздух больше не отдавал гнилью, странные грибы сморщились и распались, превратившись в безобидную серую труху, присыпанную, как перлом, подвальный пол. Навсегда канул в небытие один из

самых чудовищных монстров, когда-либо терроризировавших землю, и если есть ад, эта тварь несомненно там. А я, бросив поверх засыпанной ямы последнюю лопату земли, смог наконец заплакать. Это были первые слезы, пролитые мною по незабвенному дядюшке. Первые — из многих.

На следующий год во избегающем на холм саду вокруг заброшенного особняка не росли уже ни блеклая трава, ни странного вида сорняки, и вот тогда-то Кэррингтон Хэррис с легким сердцем сдал дом жильцам. У дома по-прежнему гниственный вид, но теперь это только придает ему особую прелесть. И мне, право, будет жаль, если его снесут и построят на этом месте галантерейную лавку или гостиницу. Прежде голые деревья, окружавшие дом, вдруг зазеленели и неожиданно принесли плоды — небольшие и очень вкусные яблоки. А в прошлом году на их шишковатых сучьях птицы свили свои первые гнезда.

I.

Зимой 1927/28 года чиновники федерального правительства провели секретное расследование неких событий, происшедших в старинном Массачусетском порту Инсмут. Население впервые узнало об этом в феврале, когда последовали многочисленные облавы и аресты, а затем в той же обстановке таинственности были взорваны и сожжены вытянувшиеся вдоль берега многочисленные ветхие и замшелые лачуги, давно уже покинутые своими хозяевами.

Некоторые из окрестных жителей по простоте душевной связывали действия властей с преследованием нарушителей сухого закона. Зато люди более-менее образованные изумлялись столь массовым арестам, не менее озадачивало их большое число привлеченных правоохранительных сил и тщательная конспирация в отношении арестованных. Печать хранила упорное молчание. Велись ли по этому делу судебные процессы? Были ли предъявлены обвинительные заключения? Так или иначе, в государственные тюрьмы не поступил ни один из обвиняемых. Ходили слухи о некой эпидемии и о специальных лагерях, а позднее — о размещении заключенных в военных тюрьмах, но ни во что определенное эти слухи так и не вылились. Долгое время Инсмут оставался наполовину вымершим городом, только недавно в нем появились первые признаки возрождения.

Либеральные круги выступили с протестами по поводу утаивания от общественности фактов расследования, и тогда отдельным депутатам позволено было посетить некоторые лагеря и тюрьмы. Любопытно, что после этих поездок протесты мгновенно прекратились. Труднее оказалось заткнуть рот прессе, но и она в конце концов сдалась. Только одна бульварная газетенка с неодолимой тягой ко всему скандальному проболталась, что некая подводная лодка сбросила за Рифом Дьявола несколько глубоководных бомб. Однако это сообщение, поданное со слов моряков, сочли не относящейся к делу болтовней — зловещий риф лежал не менее чем в полутора милях от Инсмутской гавани.

Жители округи и близлежащих городов долго толковали об этих событиях, но в большой мир слухи не просочились.

Народен, население здешних мест поговаривало о черных делах, творившихся в постепенно вымиравшем Инсмуте вот уже почти сто лет, причем и сами рассказы, и недомолвки равно приводили в трепет. Люди здесь приучились держать язык за зубами, и никакими силами невозможно было их заставить говорить. Да и знали они на самом деле не так уж много: огромные солончаковые болота, где не жила ни одна живая душа, отделяли Инсмут от ближайших поселений.

И вот теперь я решаюсь наконец пролить свет на таинственные события. Со всей этой нечистью, убежден, покончено навсегда, и потому гласность не принесет вреда, разве что заставит испытать глубокое отвращение, пережитое некогда участниками операции в Инсмуте. Кроме того, сами события не анонимны и могут навести на иные объяснения. Уверен, что даже мне неизвестна вся правда, хотя, надо сказать, и у меня есть причины не копать глубже. Слишком уж близко соприсноусулся я с этим делом — ближе, чем любой из местных жителей, и то, что испытал при этом, требует и посейчас от меня крайней осторожности.

Ведь именно я в панике покинул Инсмут ранним утром 16 июля 1927 года и затем бомбардировал правительство толпами беспредельного ужаса письмами, где описывал случившееся со мной, требуя незамедлительного расследования и самых жестких мер. Пока шло следствие, я ни с кем не открывался. Теперь же, когда страсти утихли и все, как говорится, быльем поросло, меня тянет поведать о тех страшных часах, что я провел в этом морском порту с дурной репутацией, в городе, где свили себе гнездо смерть и безграничное зло. Сама попытка поделиться пережитым укрепляет меня в мысли, что я не безумец и не жертва мучолюбивой галлюцинации. Она, уверен, даст мне силы и для последнего ужасного шага, который мне предстоит совершить.

Прежде у меня не было случая побывать в Инсмуте. Но тем летом, отмечая свое совершеннолетие, я путешествовал по Новой Англии, знакомясь с ее достопримечательностями и славным прошлым. Преследовал я и личные цели: намереваясь лучше ознакомиться со своей родословной, собирался из старинного Ньюберипорта направиться прямо в Архем, откуда происходило семейство матушки. Машины у меня не было, и я старательно избирал повсюду самый дешевый вид транспорта, путешествуя то автобусом, то поездом, то троллейбусом. В Ньюберипорте мне сказали, что до Архема ходит только поезд, проезд на нем стоил довольно дорого,

и вот тут-то я впервые услышал об Инсмуте. О нем упомянул кассир, плотный мужчина с хитроватым лицом и, судя по речи, не местный. Догадавшись о скудости моего кошелька, он отнесся к моему положению с пониманием и посоветовал добраться до Архема другим путем.

«Туда еще ходит автобус, — нерешительно протянул он. — На нем не любят ездить, хотя он и не петляет. Всё потому, что автобус идет через Инсмут. Водит его Джо Сарджент, сам-то он родом из Инсмута. Странно, что автобус до сих пор не сняли с линии: ни здесь, ни в Археме в него не садятся. Ни разу не видел в нем больше двух-трех человек, а ведь билеты недорогие. Только инсмутцы и ездят. Автобус отправляется с площади, прямо от аптеки Хеммонда, в десять утра и в семь вечера, если ничего не изменилось. Старая развалина, никогда сам не ездил в нем».

Вот так я услышал впервые о загадочном Инсмуте. Разумеется, меня сразу заинтересовал этот город, не нанесенный на карту и не упоминавшийся в последних путеводителях, а таинственные намеки кассира только разожгли мое любопытство. Город, способный пробудить такую неприязнь у соседей, думал я, наверняка таит в себе нечто необычное и заслуживает внимания путешественника. Если автобус останавливается в нем перед Архемом, пожалуй, сойду. Придя к такому решению, я обратился к кассиру с просьбой рассказать еще что-нибудь об этом городке. Тот, осторожно подбирая выражения, начал свой рассказ, и в тоне его чувствовалось некоторое пренебрежение к теме разговора.

«Инсмут? Занятный городишко, расположен в устье Меньюксета. Раньше был довольно многолюдным. Известный перед войной 1812 года порт. Но за последние сто пятьдесят лет всё изменилось. Поезда туда не ходят — ветка из Раули давно травой заросла.

Теперь в нем больше пустых домов, чем людей. Заняться нечем, разве что ловить рыбу или омаров. Тамашные жители ездят продавать улов сюда, в Архем или в Инсуич. Раньше в городке было несколько фабрик, но теперь все они закрыты, кроме ювелирной, да и та на ладан дышит, когда работает, когда на замке.

В свое время фабрика славилась на всю округу, а ее нынешний владелец, старый Каин Марш, слыл богатым человеком — сам Крез ему в подметки не годился. Теперь же стал чудачком и затворником. Все отсиживается в своем доме. То ли из-за кожного заболевания, то ли еще какой порок

открылся. Дело основал его дед, капитан Абед Марш. Мать Каина была иностранка, кажется, с Карибских островов, и поэтому многие высказывали свое неодобрение, когда Каин пятьдесят лет назад женился на девушке из Инсуича. С уроженцами Инсмута не любят родниться, а те, в ком течет их кровь, стараются это скрыть. Впрочем, дети и внуки Марша ничем не отличаются от прочих людей. Они не раз покупали у меня билеты. Старшие что-то давно не появлялись. А самого старика я вообще никогда не видел.

И чем этот Инсмут всем не угодил? Послушайте меня, молодой человек, не обращайтесь вы внимания на эту болтовню! Здешних людей трудно завести, зато, когда заведешь, не остановишь. Об Инсмуте всякое толкуют последние сто лет, шушукуются по углам, а у страха, сами знаете, глаза велики. Некоторые истории вообще смехотворны. Вроде того, что капитан Марш заключил сделку с дьяволом и заселил Инсмут дьяволятами прямехонько из ада. Или басня о культе Сатаны и об ужасных жертвоприношениях, воздаваемых ему где-то в районе верфи. На их следы якобы наткнулись в 1845 году. По счастью, я не местный, родом из Пентона, штат Вермонт, и в такую чепуху не верю.

А чего только не болтают старожилы об этом мрачном утесе, который они называют Рифом Дьявола! Он почти всегда выступает из воды, и все же островом его не назовешь. Рассказывают, что там видели полчища нечистой силы. Облепили весь утес, шмыгают туда-сюда из пещеры в пещеру, каких там много поближе к вершине. Торчит себе этот риф шербатым уродцем примерно в миле от берега, корабли в ту пору, когда еще был порт, делали большой крюк, только бы не пройти с ним рядом.

Со временем моряки совсем отказались заходить в Инсмут. По их словам, капитан Марш иногда приставал к рифу во время прилива. Может, и приставал — у скалы любопытное строение. Или искал припрятанный пиратами клад. Возможно, и нашел. Но говорили другое: якобы капитан видится там с чертями. Думаю, из-за Марша такая у рифа дурная слава.

Во время страшной эпидемии 1846 года поумирало более половины инсмутцев. Никто так и не узнал, что это за болезнь объявилась. Похоже, что-то заморское: должно быть, моряки завезли из Китая или еще откуда. Жуткое было дело. Начались волнения и прочие безобразия, о которых сами жители не очень-то распространялись перед другими. Эпидемия довела город до чудовищного состояния. В конце

концов болезнь отступила и больше не возвращалась, но в городе теперь живет всего триста-четыреста человек.

Мне все-таки кажется, что за неприязню людей к этому месту скрываются обычные расовые предрассудки. Трудно осуждать их, сам не выношу этих типов из Инсмута. Ноги моей не будет в их городишке. Вы ведь знаете, хотя сами-то вы, судя по выговору, с Запада, что суда из Новой Англии плавают и в Африку, и в Азию, и в Южную Америку. В какие только порты они не заходят, каких только людей не видят! А иногда кого-нибудь и с собой прихватят. Может, слышали о жителе Салема, который женился на китайке? А в районе Кейл-Кода целое поселение выходцев с островов Фиджи.

В уроженцах Инсмута тоже ощущается что-то заморское. Трудно правда, докопаться до истоков: место окружено болотами и рукавами реки — практически отрезано от остального мира. Думаю, это старый капитан Марш повнез разных туземцев, ведь в двадцатые — тридцатые годы он владел тремя кораблями. В жителях городка есть что-то диковинное. Не знаю, как объяснить, но иногда посмотришь на тако-го — и мороз по коже. Взять хоть Сарджента. Сами увидите, если сядете в его автобус. Головы у них обычно вытянутые, носы сплюснутые, а глаза так выпучены, что непонятно, как они умудряются их закрывать. Да и кожа странная — шершавая какая-то и словно паршой покрыта. На шее лежит складками. Рано лысеют. Особенно уродливы старики, но их, слава богу, не часто видишь. Может, помирают быстро. Посмотрят на себя в зеркало — и дух вон. Животные инсмутцев не выносят. Трудно им было ладить с лошадьми, пока не появился автотранспорт.

Жители Архема и Инсуича не хотят иметь с ними дела, да они и сами нелюдимы. В город приезжают — держатся в сторонке. И не приведи Господи ловить в их краях рыбу. А там всегда пропасть. Нигде нет, а там кишмя кишит. Но только попробуй пристроиться — сразу прогонят. Раньше оттуда добирались по железной дороге, шли до Раули пешком, а там садились в поезд. Но после того, как ветку прикрыли, ездят на автобусе.

Говорите, гостиница? Как же, есть. Называется «Джилмен-Хауз», но не думаю, что приличная. Не советую в ней останавливаться. Лучше проведите ночь в нашем городе, а утром садитесь на десятичасовой. А там уже пересядете на тот, что идет в Архем. Он отходит в восемь вечера. Пару

лет назад один инспектор фабричного дела останавливался в «Джилмен-Хауз». Остался, говорят, недоволен. Там, судя по всему, собирается черт знает кто. Хотя вроде бы большинство номеров были пустыми, но он слышал в них голоса. Жуткие голоса. У него кровь в жилах застыла. Говорили не по-нашему. Один голос был особенно ужасен: какой-то неестественный, говорит — будто хлопает. Инспектор побоялся даже ложиться, так и просидел одетый всю ночь. Только рассвело — сразу деру. А те голоса всю ночь не умолкали.

Этот человек, его имя Кейси, рассказывал, что инсмутцы глаз с него не спускали и держались настороже. Его очень озадачило положение дел на фабрике Марша — той, что в старом здании, на нижнем берегу Меньюксета. Я об этом слышал и раньше. Бухгалтерские книги в непотребном состоянии, учет ведется как бог на душу положит. Вечная загадка — где Марш достает золото для обработки. Он и прежде, когда всю торговал драгоценностями, не закупал его помногу.

На фабрике, говорят, делают разные странные штучки, их иногда тайком продают моряки или фабричные рабочие. Может, подражают иноземным драгоценностям? Женщины из семейства Марша тоже носят диковинные украшения. Не исключено, что капитан Абед наменял их в какой-нибудь заморской гавани, ведь он всегда брал с собой и плавание стеклянные бусы и прочие дешевые безделушки, на которые так падки туземцы. Некоторые уверяют, что тут не обошлось без клада пиратов, — он его будто бы отыскал на Рифе Дьявола. Но вот что любопытно. Марши продолжали скупать всю эту стеклянную дребедень и после смерти капитана, все шестьдесят лет, а ведь после Гражданской войны ни один мало-мальски приличный корабль не покинул инсмутского порта. Может, сами жители любят наряжаться как попугаи? Тогда они ничем не лучше африканских каннибалов и дикарей с Гвинеи.

Эпидемия сорок шестого года скосила лучшие семьи города. Теперь там живут одни отбросы. Марши и другие богачи ничем не отличаются от остальных. Я уже говорил, что в городе осталось не более четырехсот человек, хотя места хватает. Таких, как они, — ленивых, хитрых и бессовестных — на Юге зовут «белой рванью». Они ловят рыбу, омирон и развозят на грузовиках. Откуда только в их краях столько рыбы?

Никто не знает, что у них там творится; школьные инспек-

тора и чиновники, ведающие переписью населения, просто голову с ними теряют. Инсмут не любит соглядатаев. Слышал, что несколько человек — бизнесмены и государственные служащие — там пропали, как в воду канули. А один, побывавши у них, сошел с ума и теперь томится в дейверской психиатрической лечебнице. Чем уж они его так напугали?

Будь я на вашем месте, ни за что бы не отправился туда на ночь. Не бывал там и не собираюсь, но думаю, если поехать днем, ничего не случится. Конечно, найдутся такие, что будут вас отговаривать, но не слушайте их. Если хотите увидеть настоящую старину, Инсмут — то, что надо.

Часть вечера я провел в публичной библиотеке Ньюберипорта, отыскивая информацию об Инсмуте. Расспрашивал и местных жителей — в магазинах, закусочных, гаражах, пожарном депо, — но, как и предупреждал кассир, все они отмалчивались. Поняв, что только зря теряю время, я прекратил расспросы: при первом же упоминании об Инсмуте люди настораживались, словно в одном только интересе к этому городку заключалось нечто дурное. Служащий из клуба Союза христианской молодежи, где я остановился, очень удивился моему желанию побывать в столь убогом городке. Та же реакция была и у сотрудников библиотеки. По-видимому, в глазах городской интеллигенции Инсмут являл собой пример крайнего падения нравов.

Просмотрев в библиотеке книги по истории Эссекского округа, я узнал из них крайне мало. Город был основан в 1643 году. До революции его жители занимались в основном судостроением, и в начале девятнадцатого столетия Инсмут уже стал процветающим торговым портом. Позже получила некоторое развитие и другая промышленность: фабрики, осевшие на берегах Меньюксета, пользовались энергией реки. Об эпидемии 1846 года и последующих волнениях в документах говорилось мало, — может, считалось, что это бросает тень на весь округ?

Почти не встречалось упоминаний о последующем запустении города, хотя к такому выводу можно было прийти самостоятельно, изучив косвенные источники. После Гражданской войны вся промышленность Инсмута свелась к деятельности ювелирной фабрики Марша, и продажа золотых изделий стала единственной статьей городского дохода, не считая извечного рыбного промысла. Однако у рыбаков скоро наступили тяжелые времена: цены на рыбу упали из-за конкуренции крупных компаний. И все же у берегов Инсмута

рыбы всегда было вволю. Сохранилось туманное свидетельство, что польских и португальских рыбаков, забросивших там как-то сети, прогнали самым жестоким образом. С тех пор чужаки редко промыслили в тех водах.

Но самым интересным для меня было мимолетное упоминание о диких инсмутских украшениях. Они, видимо, производили большое впечатление на местных жителей, потому что некоторые из них заняли место в музее Мискатоникского университета в Археме и в коллекции Исторического общества в Ньюберипорте. В описании драгоценностей, кратком и маловыразительном, я сумел все же уловить намеки на их исключительную оригинальность. Мое воображение настолько разожглось, что я только о них и думал и, несмотря на поздний час, вознамерился увидеть один из хранившихся в городе экземпляров — массивный золотой предмет необычных пропорций, нечто вроде тиары. Во всяком случае, так он классифицировался в справочниках.

Библиотекарь дал мне записку к куратору Общества, мисс Анне Тилтон, жившей неподалеку, и эта милая пожилая дама была настолько любезна, что специально для меня открыла здание и показала коллекцию. Там хранились прелюбопытные экспонаты, но мой взгляд сразу же остановился на сверкавшем в дальнем углу стенда странном предмете.

Я буквально рот раскрыл от изумления перед этим буйством фантазии — захватывающей, неземной красоты вещь лежала передо мной на алой бархатной подушечке. Даже теперь затрудняюсь сказать, что же все-таки я увидел. То есть это, конечно, была тиара, научное описание не обманывало, и все же... Ее передняя, довольно высокая часть контрастировала с асимметричными боковыми; создавалось впечатление, что она предназначена для нестандартной головы овальной формы. Изготовлена она была почти исключительно из золота, хотя странный блеск говорил о примеси неизвестного, необычайно эффектного металла. Тиара находилась в отличном состоянии, можно было часами любоваться этим удивительным, ни на что не похожим творением. Искуснейший мастер резьбы по металлу изобразил на ее поверхности тончайшие геометрические узоры, а также орнамент с морской символикой.

Чем больше я смотрел на эту вещь, тем больше околдовывался ею, и в этом гипнотическом влечении было что-то тревожное, нечто не поддающееся рациональному объясне-

нию. Сначала я приписал свое непонятное беспокойство непривычному, нездешнему облику этого произведения искусства. Все в таком роде, виденное мною ранее, носило черты эстетической принадлежности к определенной расе или нации или же являло собой авангардистский вызов традиционным течениям. Тиару же я не мог причислить ни к одному из известных направлений. Необычайно высокая техника исполнения говорила о сложившейся, зрелой художественной школе, но фокус заключался в том, что ее не существовало в природе — ни на Востоке, ни на Западе, ни в древнем, ни в современном мире! Ни о чем подобном я не слышал и, уж конечно, не видел. Казалось, это творение заброшено с другой планеты.

Но охватившее меня волнение имело и другую, не менее важную причину. Меня будоражила странная живописная и математическая символика тиары. Она навевала мысли о недостижимых, сокровенных тайнах, о пучинах времени и пространства, а морская тематика резьбы какой-то тоской отдавалась в сердце. Среди отдельных рельефов выделялись фантастические чудовища — наполовину рыбы, наполовину жабы, злобный вид которых вызывал отвращение. Глядя на них, я, казалось, вспоминал что-то давно позабытое, испытывая при этом неприятное чувство потревоженного подсознания — псевдопамяти, как если бы они вызывали образы из самых недр клеток и тканей. Ведь их способность к запоминанию ведет свое начало от примитивных организмов и таинственным образом передается по наследству. И теперь, когда я смотрел на этих чудовищных рыбожабушек, меня не покидало чувство, что каждый изгиб жуткой плоти этих тварей источает неведомое и нечеловеческое зло.

На фоне охвативших меня эмоций краткий комментарий мисс Тилтон звучал особенно прозаично. По ее словам, тиару почти за бесценок заложил в ломбарде на Стейт-стрит пьяный житель Инсмута, вскоре погибший в драке. Общество выкупило ее у ростовщика и поместило в постоянную экспозицию, как она того и заслуживает. Согласно выдержанной в уклончивых выражениях атрибуции, происхождение тиары могло быть ост-индским или индо-китайским.

Учитывая различные гипотезы о происхождении драгоценности и ее появлении в Новой Англии, мисс Тилтон склонялась к тому, что тиара была найдена капитаном Абедом Маршем вместе с пиратским сокровищем. Такая догадка подкреплялась и неоднократными предложениями со стороны

семейства Маршей выкупить у музея золотой убор за солидную сумму. Несмотря на решение Общества не расставаться с тиарой, Марши не унимались и регулярно возобновляли свое предложение.

На прощанье почтенная дама дала мне понять, что просвещенные жители округа не сомневаются: богатство Маршей напрямую связано с найденным кладом. Сама она относилась к Инсмуту, где никогда не бывала, с нескрываемым отвращением. По ее словам, люди там совсем утратили человеческий облик. Она же уверила меня, что слухи о пустившем там корни культе Сатаны до некоторой степени соответствуют истине. В городе действительно существует некая секта, набравшая большую силу и основательно потеснившая официальную церковь.

Секта называлась «Тайный союз Дагона»¹ и была, как выразилась эта почтенная дама, ни чем иным, как языческой пакостью, завезенной с Востока сто лет назад; в те времена, когда у берегов Инсмута стало меньше рыбы. Приверженность к секте простого народа вполне объяснима: ее зарождение совпало с внезапной миграцией рыбы на прежние места. Секта очень быстро приобрела огромную популярность, потеснив франкмасонов, и вскоре собрания ее членов стали проводиться в помещении Масонского общества на Нью-Черч-Грин-стрит.

Все эти обстоятельства давали благоверной мисс Тилтон прекрасный повод избегать нечестивый город, меня же услышанное еще более подстегивало к поездке. Если раньше меня привлекали там старинная архитектура и прочие исторические памятники, то теперь к этому присоединился и острый антропологический интерес, который разгорался все сильнее, так что я в своей маленькой комнатухе Христианского союза еле дождался рассвета.

II.

Незадолго до десяти часов я уже стоял перед аптекой Хеммонда на площади Старого рынка с небольшим чемоданчиком в руках, дожидаясь автобуса на Инсмут. Ко времени прибытия автобуса площадь заметно опустела, праздный люд разошелся кто куда, часть осела в кафе «Идеальный

¹ Дагон (финик.) — западносемитский бог покровитель рыбной ловли.

лен», расположенном как раз напротив аптеки. Да, кассир явно не преувеличил неприязни местного населения к Инсмуту и его обитателям. Послышалось тарыхтение, и на Стейт-стрит выехал небольшой старенький автобус грязно-серого цвета. Развернувшись, он подкатил к тротуару и остановился неподалеку от меня. Еще не рассмотрев автобус хорошенько, я уже знал, что это именно тот, который мне нужен, и действительно, табличка с полустертыми названиями — Архем — Инсмут — Ньюберипорт — подтвердила мою догадку.

В автобусе сидели только три пассажира — все молодые, смуглолицые и весьма неопрятные мужчины угрюмого вида. Когда водитель открыл двери, они неуклюже вывалились на улицу и стали молча слоняться по Стейт-стрит с теми же угрюмыми лицами. Шофер тоже вышел и направился в аптеку. Это наверняка был Джо Сарджент, о котором упоминал кассир. Не успел я еще толком его рассмотреть, как меня окатила волна бог весть откуда взявшегося отвращения. Неудивительно, подумалось мне, что местные жители избегают ездить на автобусе, который водит такой субъект, или посещать город, где живут подобные ему люди.

Когда шофер вышел из аптеки, я стал буквально пожирать его глазами, пытаясь определить причину своей антипатии. К автобусу шел худощавый сутулый мужчина меньше шести футов ростом, в потертом синем костюме и выцветшей шапочке для гольфа. По туповатому, лишенному выражения лицу ему можно было дать лет тридцать пять, хотя сзади он казался старше, по-видимому из-за глубоко залегших складок на шее. Голова его была сильно вытянута, а водянистые глаза настолько выпучены, что меня взяло сомнение, могут ли они вообще закрываться. Нос был приплюснут, маленькие уши выглядели недоразвитыми. Над толстой верхней губой и на пористой коже щек практически не было никакой растительности, если не считать нескольких рыжеватых волосков, кудрявившихся на значительном расстоянии друг от друга. Сама кожа выглядела бугристой и шелушилась, как бывает при некоторых кожных заболеваниях. На крупных кистях вздувались вены непривычного серовато-голубого цвета. По сравнению с кистями пальцы казались на редкость короткими и как бы ввинченными в ладонь. Он шел к автобусу, странно подволакивая ноги, и я успел заметить непропорционально громадные ступни. Удивительно, как он умудрялся подбирать себе обувь.

Во всем его облике ощущалась неряшливость и нечисто-

плотность, и это еще больше отвращало меня. Шофер явно либо подрабатывал на разделке рыбы, либо жил неподалеку от этого места — слишком уж специфический запах исходил от него. Относительно его происхождения трудно было сказать что-либо определенное. Я понимал, почему в нем могли видеть иноземца, но не находил в нем признаков ни азиатских народов, ни полинезийских, ни левантийских, ни негроидных. На мой взгляд, тут речь шла скорее о вырождении, нежели о примеси иной крови.

Мне стало не по себе, когда я увидел, что кроме меня, никто в автобус садиться не собирается. Ехать одному с этим водителем не хотелось. Но когда наступило время отправиться, я победил свои сомнения и, войдя вслед за шофером, протянул ему доллар и пробормотал одно только слово: «Инсмут». Он с любопытством посмотрел на меня, но, ничего не сказав, дал сорок центов сдачи. Я сел подальше от него, но на той же стороне, чтобы во время поездки любоваться морем.

Наконец старая развалина рывком тронулась с места и загремела по Стейт-стрит мимо старинных кирпичных зданий, оставляя за собой клубы дыма. Наблюдая из своего окна за прохожими, я ощущал их желание не видеть автобус, поскорее отвернуться или по крайней мере сделать вид, что они не замечают его. Мы свернули налево и очутились на Хай-стрит. Здесь дорога стала ровнее. Медленно проехав мимо величественных старых особняков, возведенных в первые годы Республики, и еще более древних домов колонистов, автобус миновал улицы Лоуэр-Грин и Паркер-Ривер и выехал на бескрайний простор побережья.

День стоял теплый и солнечный, однако песчаные дали, поросшие низким кустарником и осокой, становились все безлюднее. Из окон была хорошо видна синяя кромка воды и песчаная линия Плам-Айленда. После того как мы свернули с основной магистрали на Раули и Инсмут, дорога приблизилась к самому морю. Местность по-прежнему оставалась необитаемой, а по ужасному состоянию дороги я заключил, что любой транспорт здесь — явление редкое. Невысокие ветхие столбы несли только два телефонных провода. Нам частенько приходилось проезжать по деревянным, грубо сколоченным мостам, переброшенным через глубоко врезавшиеся в берег узкие излучины, которые наполнялись водой только во время прилива. Такая природная особенность тоже во многом способствовала изоляции района.

Иногда среди этой песчаной пустыни попадались гнилые пни и осыпающиеся фундаменты домов, а ведь некогда здесь был плодородный и густо населенный край. Перемены совпали, если верить хранившимся в библиотеке документам, с эпидемией 1846 года и в народе связывались воедино: считалось, что обе беды ниспосланы свыше. В действительности дело обстояло значительно проще: наступление песков вызвала необдуманная вырубка леса на побережье.

Но вот и Плам-Айленд скрылся из виду, теперь перед нами ширился только безграничный простор Атлантического океана. Узкая дорога пошла резко вверх. Глядя на пустынный гребень горы, туда, где изрытая глубокими колеями дорога сливалась с небом, я вдруг испытал неизъяснимое беспокойство. Казалось, что автобус, дойдя до вершины, растает с нашей грешной землей и сольется с таинственными сферами небес. В запахе моря ощущалась новая, неприятная примесь, а напряженная, согнутая спина водителя и его узкая голова, казалось, излучали ненависть. Теперь я видел, что волосы не росли у него не только на бороде, но и на затылке, если не считать нескольких жиденьких завитков на сероватой морщинистой коже.

Мы въехали на гребень. Перед нами раскинулась долина, где Меньюксет прокладывала себе путь к северу от длинной цепи скал, самой величественной из которых казалась Кингспорт-Хед, и, извиваясь, текла к Кейп-Энн. В туманной дымке я с трудом различал контуры гигантской скалы, увенчанной, как короной, необычной старинной постройкой, о которой ходило множество легенд. Но сейчас не она привлекала мое внимание. Я с любопытством разглядывал раскинувшееся в долине селение, понимая, что наконец-то вижу оброчный слухами, загадочный Инсмут.

Город выглядел довольно крупным и плотно застроенным, но сразу бросалось в глаза, что жизнь в нем еле теплится. Редко из какой трубы вился дымок, а три возвышавшихся над крышами собора, шпили которых были хорошо видны на фоне голубых далей, поражали своей неухоженностью. С венца одного полностью осыпалась штукатурка, а у двух других на том месте, где полагалось быть городским часам, зияли дыры. У большинства домов кровли провисли, фронтоны были, по всей видимости, источены червями, а когда мы спустились пониже, я обратил внимание, что многие крыши просто обвалились. Однако сверху выделялось и несколько монументальных особняков в стиле короля Георга, с шатро-

вым покрытием и лестницами с перильцами, которые еще зовут «утехой вдовушки». Эти дома отстояли дальше прочих от побережья, и два-три из них были в довольно неплохом состоянии. Вдалеке виднелись проржавевшие и заросшие травой рельсы бывшей железной дороги, вдоль которой тянулся ряд покосившихся телеграфных столбов без проводов и различались колен заброшенных проселочных дорог, ведущих в Раули и Инсуич.

У самого берега разруха ощущалась сильнее, но и там я разглядел хорошо сохранившееся кирпичное здание под белой крышей, похожее на небольшую фабрику. Занесенную леском гавань окружал волнорез, у которого сидело несколько рыбаков. По обвалившемуся фундаменту можно было догадаться, что на одном конце его когда-то стоял маяк. С годами ветер нанес в гавань песчаные холмы. На них я различил несколько ветхих хибарок, замшелые плоскодонки и разбросанные верши для омаров. Самым глубоководным местом здесь казалась та часть реки, где стояла фабрика. Затем река поворачивала на юг и впадала в океан сразу за волнорезом.

То тут, то там из песка выступали гниющие остатки верфи, а по мере продвижения на юг свалка отходов все нарастала. Несмотря на прилив, далеко в море виднелась длинная темная линия, слегка приподнятая над водой. Глядя на нее, я почувствовал некую скрытую угрозу и понял, что это, по-видимому, и есть Риф Дьявола. Но по мере того как я всматривался в далекий риф, к первоначальному неприятному чувству присоединилось какое-то неясное влечение — меня словно манило туда, и эта вот тяга испугала меня, как ни странно, гораздо больше.

На дороге мы никого не встретили, но вблизи города я увидел несколько брошенных ферм, в той или иной степени тронутых обветшанием. Затем показались нежилые по виду дома: окна заткнуты тряпками, рядом, в захлапанных дворах, обломки раковин и тухлая рыба. Пару раз нам повстречались люди, которые вяло копались у себя в неухоженных садах или собирали моллюсков на пропахшем рыбой пляже, а также ребятишки с обезьяньими мордашками, играющие на заросших сорняками ступеньках. Вид людей подействовал на меня даже более удручающе, чем состояние их жилищ: в лицах и пластике было что-то отталкивающее. Я пробовал было доискаться до причин отвращения, но безрезультатно. На мгновение мне показалось, что их внешность вызывает в

моей памяти виденные ранее и позабытые иллюстрации, которые я рассматривал в моменты тревоги или грусти, но вскоре я отменил это предположение.

Автобус спускался все ниже, и можно было уже уловить движение отдельных струй водопада, который сверху казался неподвижной светлой лентой. А покосившиеся, давно не крашенные дома теперь плотно выстраивались на нашем пути двумя рядами, что выглядело уже по-городскому. Поле обозрения все более сужалось: я видел только улицу, по которой мы ехали, и по отдельным признакам угадывал, где в прошлом проходила мощенная булыжником мостовая, а где — клинкерный тротуар. В домах явно никто не жил. Иногда между отдельными строениями зияла пустота, и только по остову печи и завалившемуся входу в погреб было ясно, что когда-то здесь стоял жилой дом. Над всей этой разрухой висел стойкий и мерзкий запах рыбы.

Скоро начали попадаться перекрестки и боковые улочки. Те, что вели налево, неизбежно упирались в замусоренный и нищий прибрежный район, те же, что шли вправо, сохраняли какое-то подобие былой респектабельности. На улицах по-прежнему было пустынно, но теперь стали появляться отдельные признаки обжитого жилья: занавески на окнах да кое-где обшарпанный автомобиль, припаркованный у обочины. Тротуары здесь уже не сливались с мостовыми, а деревянные и кирпичные дома, хотя и построенные где-то на заре девятнадцатого века, выглядели вполне прилично. При виде этого нетронутого островка прошлого я, будучи страстным поклонником старины, почти перестал замечать отвратительный запах и утратил чувство неведомой опасности.

Но до конца пути мне пришлось еще раз испытать довольно сильные и неприятные ощущения. Автобус выехал на площадь, откуда расходилось в разные стороны несколько улиц. В центре ее пробивалась сквозь грязь зелень жалкого газончика, по двум сторонам возвышались церкви, но мое внимание привлек дом с колоннами, расположенный на правой стороне площади. Краска на этом когда-то белом здании потемнела и облупилась, а надпись над входом настолько выцвела, что с трудом можно было разобрать слова: «Тайный союз Дагона». Видимо, этот дом и был прежде Массонским собранием, а ныне стал приютом приверженцев дикого первобытного культа. Пока я сиделся разбирать слова на фронтоне, начали бить часы. Я обернулся.

Звук шел из церкви, построенной значительно позже всех остальных зданий: бросались в глаза низкий купол (грубое подражание английской готике), непропорционально большое основание и ложные окна. Хотя самих часов я не увидел, но и так догадался, что пробило одиннадцать. И вдруг сердце мне неожиданно сжал такой необузданный и необъяснимый страх, что вмиг улетучились все мысли, в том числе и о времени. Дверь церкви распахнулась, обнажив зияющую черную пустоту. А потом я увидел, как кто-то движется в этом черном прямоугольнике, и это видение мгновенно породило в моем сознании ощущение кошмара, тем более мучительного, что для него не было никаких оснований.

По церкви ходил человек — первый, если не считать водителя, увиденный мною в центральной части города, и будь он в нормальном состоянии, то вряд ли испугался бы. Мне тут же стало ясно, что это, конечно, пастор. «Союз Дагона» изменил церковный ритуал в городе, а вместе с ним и облачения священников. Возможно, неосознанный мой ужас был вызван высокой тиарой на голове пастора — точной копией той, что вчера вечером показывала мне мисс Гилтон. Должно быть, именно это сходство роковым образом подействовало на мое воображение и наделило зловещими чертами неразличимое в темноте лицо и неясную фигуру. Поразмыслив, я пришел к выводу, что другой причины внезапного и острого пробуждения моей псевдопамяти о Зле просто не могло существовать. Таинственный культ вызвал к жизни появление своеобразных головных уборов. Ну и что? Первая тиара, возможно, попала к жителям города случайно — скажем, из кладя.

Теперь на нашем пути изредка попадались уродливые молодые люди — поодиночке или молчаливыми группами по два-три человека. Кое-где на нижних этажах осыпающихся домов мелькали закопченные вывески магазинов, а пару раз мы встретили грузовик. Шум водопада все приближался. Наконец я разглядел впереди высокий берег реки, через нее пролегал широкий мост с железными поручнями, откуда открывался прекрасный вид. Пока мы, дребезжа, переезжали через мост, я успел обозреть окрестности и заметил на крутом, утопающем в зелени берегу и на самом склоне несколько фабричных зданий. Внизу бушевал могучий поток. Со скалы низвергались две мощных струи и, объединяясь, падали дальше, на следующую ступень. Стоял оглушительный гул. Миновав реку, мы вскоре въехали на полукруглую

площадь и подкатили к высокому дому с куполообразной крышей. На выцветших желтоватых стенах я увидел вывеску с наполовину стертыми буквами, гласившую, что предо мной гостиница «Джилмен-Хауз».

Мне не терпелось покинуть автобус, и я поспешил побыстрее внести свой чемодан в обшарпанный гостиничный холл. Там никого не было, кроме пожилого мужчины, и хотя он отличался обликом от типичного инсмутца, я все же не рискнул задать ему те вопросы, которые вертелись у меня на языке. Слишком уж мрачные слухи ходили об этой гостинице. Сдав багаж на хранение, я снова вышел на площадь, которую автобус уже успел покинуть, и внимательно огляделся.

С одной стороны площадь ограничивалась набережной, от которой полукругом расходились дома с остроконечными крышами, построенные в начале девятнадцатого века. Их разделяли улочки, идущие на юг, юго-восток и юго-запад. Уличных фонарей почти не было, да и в немногих уцелевших, как я заметил, лампы были разбиты. И хотя ожидалось полнолуние, я порадовался про себя, что уеду отсюда до наступления темноты. Дома на площади были в хорошем состоянии, в некоторых из них размещались магазины — я насчитал около дюжины. Среди них выделялась бакалея из сети Национальной торговли, с ней соседствовали аптека и рыбный магазинчик. Неподалеку приютился унылого вида ресторан, а ближе к реке, у восточной границы площади, находилась контора единственного городского предприятия, а именно фабрики Марша. Неподалеку слонялось около десятка человек; четыре-пять легковых и грузовых машин застыли в разных частях площади. Так выглядел центр Инсмута. Далеко на востоке виднелась размытая синева тавани, эту синь прорезали шпили трех некогда прекрасных соборов конца девятнадцатого — начала двадцатого века. На противоположном берегу реки можно было различить здание под белой крышей, которое я принял за фабрику Марша.

Нужные мне справки я решил навести в бакалее — по моим представлениям, продавцы там не могли быть из местных жителей. Войдя в магазин, я увидел за прилавком юношу лет семнадцати и, разговорившись с ним, с радостью убедился, что он смыслен, контактен и счастлив возможностью с кем-нибудь перемолвиться словом. Вскоре выяснилось, что город ему отвратителен, особенно его угрюмые обитатели и невыносимый запах тухлой рыбы. Встреча с посторонним

человеком развязала ему язык. Он был родом из Архема, здесь же жил и столовался у уроженцев Инсучаги; как только представлялась возможность, навезжал домой. Родителям не нравилось, что сын служит в Инсмуте, но сюда его направляла компания Национальной торговли, а он, дорожа службой, не посмел отказать.

По его словам, в Инсмуте нет ни библиотеки, ни торговой палаты, но кое-что посмотреть все-таки стоит. Улица, по которой я приехал, именуется Федеральной. К западу от нее пролегают Броуд-стрит, улицы Вашингтона, Лафайета и Адамса — лучшие кварталы, где стоят дома бывших хозяев города. К востоку идут улицы, где обитает беднота, эти трущобы тянутся к побережью. А замеченные мною старые, давно заброшенные соборы высятся на Мейн-стрит. Однако ходить по тем местам следует с превеликой осторожностью, особенно к северу от реки — люди там отличаются враждебностью и подозрительностью. Кое-кто из любопытных даже сгинул в той стороне.

По словам паренька, некоторые места в городе слывут запретной зоной для приезжих. Он, в частности, не советовал мне слоняться в районе фабрики Марша, здания с колоннами на Нью-Черч-Грин-стрит, где располагается «Тайный союз Дагона», а также неподалеку от действующих церквей. Службы в этих храмах отличаются крайним своеобразием, даже по части церковных облачений, недаром благочестивые святые отцы не признают нового учения, почитаая его за ересь. Да так оно и есть, ибо в таинственных верованиях инсмутцев содержатся намеки на некоторые удивительные превращения, в результате которых бессмертие якобы может быть достигнуто при жизни.

Относительно молодежи юноша сказал, что она «пробует» не знает куда себя деть. Молодые люди так же сторонятся чужих, как и старшие, и живут, похоже, как звери в норах, лишь изредка появляясь на улицах. Трудно представить себе, что они делают в свободное от рыбной ловли время. Впрочем, если судить по изрядному количеству незаконно приобретаемого алкоголя, который они регулярно потребляют, возможно, в дневные часы они отходят от тяжелого похмелья. Этих угрюмых молодцов объединяет своеобразное чувство товарищества: кажется, они единодушно презируют этот мир, словно знают другой, несравненно лучший. Выглядят они преотвратительно, особенно безобразны выпуклые, никогда не мигающие глаза, которые никто

не видел закрытыми, да и голос у них звучит мерзко. Так и хочется заткнуть уши, когда они распевают вечерами в церквях, особенно в дни праздников или религиозных бдений, которые устраиваются дважды в год: 30 апреля и 31 октября.

Инсмутцы очень любят воду и много плавают в реке и в заливе. Особой популярностью пользуются соревнования по плаванию к Рифу Дьявола. Останови на улице любого и предложи участвовать в таком заплыве — можешь не сомневаться, что тот согласится и с честью выдержит нелегкое испытание. Впрочем, ничего удивительного, ведь на улице встречается в основном молодежь, ну а те, что постарше, выглядят так, словно они больны. Исключения бывают только среди тех, кого нельзя назвать типичными инсмутцами, вроде клерка в гостинице. Никто не знает, какие биологические изменения сопутствуют старению местных жителей и не являются ли типичные для инсмутца черты внешности признаками неизвестной и незаметно подкрадывающейся болезни, которая с годами набирает силу.

С приходом зрелости эта неведомая науке болезнь вызывает в их организме значительные изменения, затрагивающие даже костные ткани — форма черепа и та становится иной. Впрочем, обо всех признаках болезни, как справедливо заметил юноша, судить трудно: местные жители не вступают ни в какие отношения с приезжими, даже если те годами живут в Инсмуте.

Юноша не сомневался, что самых безобразных городские власти где-то прячут. Время от времени люди слышат какие-то странные звуки. По общему мнению, ветхие хижины в северной части реки соединены между собой подземными туннелями, возможно, там-то и скрываются эти уроды. На мой вопрос, есть ли в местных жителях примесь чужой крови, юноша ничего не смог ответить. Точно известно лишь одно: когда в город наезжают государственные служащие и другие посланцы из внешнего мира, инсмутцы делают все, чтобы скрыть от них отталкивающие стороны своей жизни.

Самое бесполезное занятие, сказал юноша, задавать местным жителям вопросы. На них отвечает только один человек — непохожий на прочих инсмутцев старик, живущий в северной части города, в богадельне, он весь день шатается по улицам, чаще всего в районе пожарного депо. Этого седовласого старика девятиюности шести лет от роду зовут Зедок Аллен. Он немного не в себе и давно носит титул городского пьянчужки. Странный, диковатого вида старик все

время оглядывается, словно чего-то боясь, и на трезвую голову никогда не вступает в разговор с посторонними. Однако ему бывает невозможно отказаться от рюмочки-другой спиртного, после чего язык у него тут же развязывается, и тогда можно услышать диковинные вещи.

Но и от старика правды не узнаешь: все его истории — порождение больной фантазии, безумный бред, полный неясных намеков на нелепые ужасы и чудеса. Никто не перит ему, но горожанам все же не нравится, когда он пьет и болтает с приезжими. Открыто приставать к нему с вопросами небезопасно. Но, очевидно, именно его рассказы породили фантастические легенды о здешних неслучайностях.

Кое-кто из приезжих, живших здесь по роду службы некоторое время, рассказывал о каких-то будто бы виденных ими кошмарах. Впрочем, имея все время перед глазами уродливых горожан и слушая рассказы старого Зедока, немудрено спятить. Теперь гости города никогда не выходят поздно вечером из дома — считается, что это тоже опасно. Да и улицы почти не освещаются.

Говоря о занятиях местного населения, юноша упомянул, что рыба у здешних берегов просто кишмя кишит, но этим не умеют пользоваться. Цены на улов падают, а конкуренция растет. Так что самым надежным делом в городе является работа на золотообрабатывающей фабрике, контора которой находится рядом, на площади, в нескольких шагах отсюда. Старика Марша никто давно не видел, но иногда он проезжает мимо, к себе на фабрику, в машине с зашторенными окнами.

О внешности Марша ходят разные слухи. Когда-то он был большим щеголем: говорят, что и теперь по-прежнему носит элегантные костюмы с узкими брюками, которые с трудом подгоняют по его обезображенной фигуре. Еще недавно его сыновья принимали клиентов в конторе, но теперь их что-то тоже не видно. По последним сведениям, делами занялось младшее поколение. Сыновья же и дочери Марша стали как-то странно выглядеть, особенно те, что постарше. По слухам, их здоровье сильно пошатнулось.

Одна из дочерей Марша, уродливая, похожая на жабу женщина, носит причудливые драгоценности, выполненные, как я понял, в той же экзотической манере, что и тигра. Юноша видел тигру несколько раз и слышал, что ее нашли в каком-то кладе — то ли пиратов, то ли самого нечистого. Местные священники или пасторы — кто знает, как их величают, — тоже носят такой убор с таинственным орнаментом.

Да только посмотреть на это убранство редко удается. Похожие драгоценности, по слухам, водятся еще кое у кого в Инсмуте, но сам юноша их не видел.

Марши и еще три семьи местной знати — Уайты, Джилмены и Элиоты — держатся особняком. Живут они в просторных домах на Вашингтон-стрит и, как поговаривают, укрывают там тех своих родственников, чей облик стал непереносим для окружающих. К слову сказать, город почитает этих родственников покойными.

Юноша предупредил меня, что на многих улицах отсутствуют таблички с названиями, и по собственной инициативе нарисовал примитивный, но вполне пригодный для использования план центральной части города. Едва взглянув на план, я понял, что он будет для меня большой подмогой, и, горячо поблагодарив своего наставника, сунул листок в карман. Отнесясь с опаской к грязному заведению, именному здесь рестораном, я тут же, в магазине, купил себе на ленч сырных крекеров и имбирных вафель. Пожалуй, надо будет обойти все главные улицы города, побеседовать с теми прохожими, у которых нет типично инсмутского облика, а в восемь вечера сесть на автобус, отправляющийся в Архем. Я уже понял, что Инсмут представляет собой законченный пример глубокого социального вырождения, но, не будучи социологом, положил для себя ограничить осмотр архитектурных достопримечательностей.

Для начала я принялся систематически, одну за другой, прочесывать узкие, запущенные городские улицы. Пересек мост и направился в сторону рокошущего водопада, подойдя довольно близко к фабрике Марша. Удивляло отсутствие обычного для таких мест индустриального шума. Фабричное здание стояло на крутом берегу реки неподалеку от моста и той площади, к которой сходились улицы, и которую я принял за изначальный центр города, впоследствии, после Революции, переместившийся на Городскую площадь.

Переправившись мостом через ущелье в район Мейн-стрит, я оказался в таких трущобах, что мне стало не по себе. На голубом небе проступали угловатые очертания прилепившихся друг к другу кособоких крыш. Над ними высился полуразрушенный старинный собор, креста на шпиле не было. Лишь немногие дома на Мейн-стрит выглядели обитаемыми, большинство же пустовало. По обеим сторонам улицы с незаасфальтированными пешеходными дорожками, тянулся длинный ряд покинутых хибар с осевшим фундаментом,

крепившихся к земле под самыми немислимыми углами. Вместо окон зияли черные пустые дыры. Все это навевало такую жуть, что требовалось изрядное мужество, чтобы пройти по улице к порту. Ведь если вместо одного покинутого жилища видишь целое покинутое селение, страх возрастает даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Ни одна самая пессимистичная концепция не может пробудить в душе такого первозданного страха и панического неприятия, как вид бесконечных, вызывающих мысли о смерти, молчаливых улиц. Что может быть мрачнее пустующих просторов темных жилищ, отданных во власть паутины, воспоминаний и торжествующих червей-древоточцев?

Фиш-стрит с ее более пристойными зданиями из кирпича и камня выглядела пореспектабельней, но и она пустовала. Уотер-стрит могла бы считаться ее двойником, если бы не провалы в тех местах, где раньше были доки, а теперь виднелось море. До сих пор я не встретил ни одного живого существа, если не считать нескольких рыбаков, бродивших в отдалении по берегу океана, и не услышал ни единого звука, кроме шума волн, доносившегося из гавани, да рева водопада. Все это, вместе взятое, так взвинтило мои нервы, что я, еще когда вступил на шаткий мост Уотер-стрит, стал поминутно оглядываться. В соответствии с планом мост на Фиш-стрит действительно оказался разрушенным.

На северных берегах реки кое-где были заметны следы человеческого существования — на Уотер-стрит шла активная расфасовка рыбы, из труб тянулся дымок, дыры в крышах были на скорую руку заделаны. Невесть откуда доносились странные звуки, а изредка на мрачных улочках и немощеных дорожках появлялись и тут же исчезали неуклюжие фигуры. На меня это действовало даже более угнетающе, чем полное безлюдье южного района: люди здесь выглядели еще уродливее, чем в центре. Вид их вызывал у меня фантастические ассоциации с неким неведомым злом, но докопаться до истоков этих ассоциаций мне не удавалось. Примесь чужеродной крови ощущалась в жителях прибрежного района сильнее, если только своеобразие их облика объяснялось смешением рас, а не таинственной болезнью. Если же это все-таки была болезнь, то здесь встречались, несомненно, самые запущенные случаи.

Меня беспокоил также источник раздававшихся время от времени неясных звуков. Они доносились не из заселенных домов, а чаще и громче всего слышались в глубине наглухо

заколоченных лачуг. То это был шорох, то хруст, а то и совсем необъяснимые звуки, вроде хрипов, и я с тяжелым сердцем вспомнил слова юного продавца о тайных убежищах. Неожиданно мне пришло в голову, что я не представляю себе, как звучат голоса горожан. Ведь за все время я ни разу не слышал их речи. И тут же подумалось, что и не хотел бы услышать.

Недолго задержавшись на Мейн-стрит и Черч-стрит, чтобы взглянуть на две прекрасные, но обветшавшие церкви, я заторопился прочь из отвратительного района трущоб. Было бы логично отправиться теперь на Нью-Черч-Грин-стрит, но мне претила даже сама мысль оказаться рядом с церковью, где я видел чем-то испугавшего меня священника в таинственной тиаре. Да и юноша советовал держаться подальше от церквей, возле которых, так же как и возле здания «Тайного союза Дагона», присутствие чужаков не поощрялось.

Я продолжал идти на север параллельно Мейн-стрит, но, дойдя до Мартин-стрит, повернул в сторону реки, пересек Федеральную улицу, стараясь держаться на почтительном расстоянии от действующей церкви, и начал осмотр фешенебельного района: Брод-стрит, Вашингтон-стрит, Лафайет-стрит и Адамс-стрит. Хотя благородные старые улицы находились в полном запустении, они все же, укрываясь под сенью вековых вязов, сумели сохранить некоторое благообразие. Один за другим я рассматривал обветшалые и в большинстве своем забытые особняки, утопающие в тенистых запущенных садах; только один-два дома на каждой улице выглядели обитаемыми. На Вашингтон-стрит четыре или даже пять особняков подряд вместе с окружающими их садами и лужайками были в отличном состоянии. Я решил, что самый великолепный из них, с террасными цветниками, идущими вплоть до Лафайет-стрит, принадлежит старому Маршу, немощному хозяину фабрики.

Улицы были пустыни, ни одной живой души; странно, подумалось мне, куда могли подеваться все собаки и кошки? И еще один вопрос не давал мне покоя: почему даже в самых пристойных домах так тщательно закрываются окна верхних этажей и мансард? В этом безмолвном городе, где, казалось, безраздельно властвуют отчуждение и смерть, отовсюду веяло тайной и скрытой опасностью. Мне все время чудилось, что из-за каждого куста за мной жадно следят непроницаемые, никогда не закрывающиеся глаза.

Я поешился, когда слева от меня часы на башне хрипло

пробили три. Слишком уж врезалась в память мне церковь с низким куполом, откуда донесся такой же бой. Идя по Вашингтон-стрит в направлении реки, я вскоре попал еще и одну, вернее, бывшую некогда таковой, промышленно-торговую зону: прямо передо мной высились развалины фабрики, правда, ближе к ущелью, темнели очередные руины, в которых я распознал бывшее здание железнодорожного вокзала и мост через пути.

В этом месте через реку был переброшен сомнительного вида мостик, снабженный знаком «опасно», но я все же рискнул и перебрался на южный берег, где снова обнаружилось присутствие человека. Несуразные существа исподтишка поглядывали в мою сторону, а те, кто выглядел пономальнее, смотрели на меня с холодным любопытством. Почувствовав, что сыт Инсмутом по горло, я направился по Пейн-стрит к центральной площади, порешив выбраться из города любым транспортом, не дожидаясь зловещего автобуса на Архем, который когда еще отправится. Вот тогда-то я и увидел слева от себя полуразрушенное пожарное депо и на скамейке перед ним — одетого в неопишемые лохмотья краснолицего старого бородача с бесцветными глазами. Он беседовал с двумя потертого вида пожарными, не производившими, впрочем, впечатления неполноценных людей. Это мог быть только Зедок Аллен, полоумный пьяница под сто лет, рассказывающий неправдоподобные и жуткие истории об Инсмуте и его тайнах.

III.

Тут меня, должно быть, черт попутал, так или иначе, но планы мои в очередной раз решительно изменились. Поначалу я намеревался ограничиться осмотром архитектурных памятников. Теперь же, не досмотрев, спешил в центр, чтобы поскорее выбраться из этого смрадного города, навевающего раздумья о запустении и смерти. Однако при виде старого Зедока Аллена мысли мои потекли в ином направлении, и я невольно замедлил шаг.

Хотя у меня уже сложилось впечатление, что старик всего лишь разносит недельные и бессмысленные бредни, а кроме того, меня предупредили, что беседовать с ним небезопасно, все же меня неудержимо тянуло поговорить со старцем, на глазах которого город постепенно пришел в такой упадок,

со свидетелем, помнившим дни, когда корабли и фабрики были обычным явлением в жизни горожан. В конце концов даже самые невероятные мифы часто оказываются символическим отражением реальности, а старик живет в Исмуте более девяноста лет и многое повидал. Здравый смысл и осознанность отступили перед вмиг вспыхнувшим любопытством, и я в тщеславии молодости возомнил, что смогу разнчить крупницы истины в сбивчивом, бессвязном повествовании, которое надеялся услышать с помощью виски.

О том, чтобы заговорить со стариком в присутствии пожарных, и речи не было: они бы этого не допустили. Да и надо было сначала раздобыть у бутлеггеров спиртное, благо продавец из бакалей подсказал мне, где его всегда можно достать. Я положил вернуться сюда уже с бутылкой и с самым безмятежным видом слоняться недалеко от депо, дожидаясь, когда Зедок отправится бродить по городу. По словам продавца, старик отличался непоседливостью и никогда не сидел здесь более часа-двух кряду.

Кварту виски я заполучил довольно легко, хотя и не дешево, в одном магазинчике на Элиот-стрит, неподалеку от центральной площади. Конечно, с черного хода. Неопытный мужчина, вынесший бутылку, бросил на меня типичный «исмутский» взгляд, но в остальном был даже любезен: судя по всему, привык обслуживать чужаков, желающих как-то скрасить время, — шоферов, скупщиков золотых изделий и прочих заезжий люд.

Выходя в очередной раз на площадь, я понял, что мне повезло: со стороны Пейт-стрит показалась длинная, тощая фигура старого Зедока Аллена, который, пошатываясь, плелся к гостинице. Я постарался привлечь его внимание к только что купленной бутылке и, добившись своего, повернул на Уэйн-стрит и зашагал в сторону безлюдного района. Старик, плотоядно поглядывая на бутылку, зашаркал следом.

Сверяясь с полученным от продавца планом, я продвигался к пустынному месту на южном побережье, где уже побывал сегодня. Кроме маячивших вдали на молу рыбаков, вокруг никого не было. Чтобы полностью обезопасить себя, я собирался пройти еще дальше. Там, на заброшенной верфи, в укромном местечке, можно было вдоволь наговориться, не боясь быть замеченным. Но не успел я дойти до Мейн-стрит, как услышал за спиной хриплый голос старика, с трудом окликающего меня: «Эй, мистер, погодите!» Приостановившись, я подождал, пока он поравняется со мной, и

затем предложил несколько раз основательно приложиться к бутылке.

На улицах не было ни души, нас окружали одни только причудливые скособооченные лачуги. Я попробовал разговаривать со стариком, но тот оказался более твердым орешком, чем можно было предполагать. Наконец между двумя полуразваленными стенами я увидел проход к морю, а дальше этот уголок был закрыт от любопытных взоров старым складом, а на моховиках у самой воды можно было удобно расположиться. Идеальное место для задушевной беседы, подумал я и предложил своему спутнику последовать за мной к морю. Там мы устроились на камни. Сердце мое сжималось от запустения и тлена, которыми, казалось, даже воздух был пропитан, голова кружилась от невыносимого рыбного амбре, но я твердо решил держаться до конца.

До отправления архемского автобуса оставалось четыре часа, и я принялся за свой скудный ланч, время от времени давая пьянице отпить из бутылки. Боясь, как бы Зедок не набрался до бесчувствия, внимательно отмерял порции, следя за его состоянием. Спустя час у старика развилась дрожь, но, к моему глубокому разочарованию, мои расспросы о загадочном прошлом Исмута он пропускать мимо ушей. Зато с видимым удовольствием болтал о текущих событиях, неожиданно обнаружив хорошее знакомство с прессой. Было видно, что он любит пофилософствовать на деревенский манер — с яркими, назидательными афоризмами.

К концу второго часа я стал опасаться, что кварты виски оказались недостаточно для удовлетворения моего любопытства, и стал подумывать: а не лучше ли оставить старого Зедока в покое и уйти с миром? И вот тогда-то случай сделал то, чего я не смог добиться всеми своими уловками. Старческая хрипая болтовня неожиданно переключилась на интересующий меня предмет, и я поддался вперед, напряженно вслушиваясь. Все это время я сидел спиной к морю, откуда доносился все тот же мерзкий рыбный запах, старик же — лицом к нему. Видимо, бесцельно блуждающий взгляд его остановился на четко и эффектно вырисовывавшемся вдали Рифе Тьявола. Зрелище ему, однако, не понравилось, и он чертыхаясь про себя, доверительно зашептал, заговорщицки мне подмигивая. Склонившись ближе и ухватив меня за ладьян

поджака, он делился все более красноречивыми признаниями.

— С этого паскудного места всё и началось. Все зло в нем. Это врата ада, и ни один лот не достанет там дна. Капитан Абед принес нам беду. Он нашел здесь больше богатства, чем в южных морях.

Все пошло тогда прахом. Торговля сворачивалась, фабрики — даже новые — закрывались, лучшие мужчины занялись каперством. Все они погибли в войне 1812 года или пропали без вести на кораблях Джилмена — бриге «Элиза» и барже «Рейнджер». У Абед Марша было три судна: бригантина «Колумба», бриг «Хетти» и барк «Королева Суматры». Только он один из всех ходил в Вест-Индию и Тихий океан и торговал там на островах с дикарями.

Да, такого чертова отродья, как капитан Абед, не было еще на свете. Помню его рассказы о заморских краях и еще как он обзывал болванами тех, кто исправно посещает церковь и безропотно несет свой крест. По его словам, там, где он торговал, жители поклоняются более могущественным богам. Те, дескать, прислушиваются к молитвам людей и посылают им много рыбы.

Мэтт Элиот, его первый помощник, тоже много чего рассказывал. Но его не очень-то трогали, скорее отвращали все эти языческие шуточки. Так вот он говорил, что к востоку от Отахеита лежит остров с древними каменными божками, старше которых нет ничего на свете. Они похожи на тех, что встречаются на Понапе в группе островов Сенявина, но резными чертами лиц напоминают каменных великанов с острова Пасхи. Неподалеку есть еще один остров, вулканического происхождения, тоже с каменными диковинками. Эти камни такие гладкие, словно долгое время пробыли под водой. На них, однако, сохранились изображения страшных чудищ.

Так вот, сэр, рыба в тех местах, по словам Мэтта, не переводится. А народ щеголяет в головных уборах и браслетах из невиданного золота, испещренного изображениями тех же жутких чудищ — помеси рыбы с лягушкой или вроде того. И вот эти-то чудовища запечатлены на украшениях в разных позах, будто люди. Жители никому не говорят, откуда у них эти богатства. Туземцы с соседних островов удивлялись, отчего рыба здесь всегда ходит, даже когда ее нигде в помине нет. Мэтт этого понять не мог, и капитан Абед тоже. Потом Абед заметил, что каждый год с острова исчезают непонятно куда красивые молодые люди, а ста-

риков вообще не видно. И еще он обратил внимание, что некоторые обитатели острова выглядят год от года все более странно.

Капитан Абед докопался-таки до истины. Как он это сделал, не знаю. Но только вскоре он начал прицениваться к золотым вещам. Спрашивал, откуда они и можно ли достать еще. Наконец некий Валакеа рассказал ему древнюю легенду. Никто, кроме Абед, не поверил бы этому светлокожему старому дьяволу, но капитан понимал туземцев и читал их души, как книги. Ха-ха! Никто не верит моим рассказам, и вы, молодой человек, тоже наверняка не поверите, хотя с виду вы такой же смывленный, как и капитан Абед. Да и глаза у вас точь-в-точь как у него.

Старик зашептал еще тише, и, хотя я был уверен, что слышу всего лишь пьяные бредни, неподдельный ужас, зазвучавший в его голосе, заставил меня содрогнуться.

— Так вот что я вам скажу, сэр. Абед узнал такое, о чем не знал никто в целом свете. Да и знал бы — не поверил. Оказывается, жители Канаки — так назывался остров — приносили своих юношей и девушек в жертву неведомым богам, живущим в морской пучине, а те взамен ниспосылали им свое благоволение. Абед решил, что изображения страшных чудищ на вулканическом острове как-то связаны с этими богами. Те, возможно, были амфибиями — отсюда и все эти русалочьи рассказы. Толковали, что на дне моря у них целые города. Маленький вулканический остров, что поднялся из глубины, как раз оттуда. А в каменных жилищах, от которых остались одни развалины, эти существа жили. Кое-кто из них жил на том месте, которое островом поднялось над водой. Туземцы с Канаки увидели их, объяснились знаками и заключили сделку.

Этим лягушкам пришлось по нутру человеческие жертвоприношения. За долгие годы под водой они совсем утратили связь с землей. Никто не видел, что они делают с жертвами, и я думаю, капитан Абед был достаточно умен, чтобы не расспрашивать об этом. Жертвы приносились дважды в год — на первое мая и на тридцать первое октября, в канун Дня всех святых. Кроме того, существам преподносились также полюбившиеся им резные безделушки — изделия местных ремесленников. Они же обязались подгонять к острову рыбу и сдержали слово: рыба со всего моря круглый год кишела у тамошних берегов. И еще они время от времени дарили туземцам разные золотые вещи.

Туземцы на каноэ переправляли жертв и подарки на вулканический островок, а обратно везли те золотые драгоценности, которые им приглянулись. Поначалу рыбагушки не появлялись на большом острове, но со временем им захотелось его повидать. Они, казалось, стремились к обществу туземцев и не прочь были участвовать в их праздниках, вроде Майского дня или Дня всех святых. Любопытно, что они могли жить и в воде, и на суше, — настоящие амфибии, черт их подери. Туземцы предупредили соседей: если жители других островов проноухают об их существовании, то им несдобровать. Но лягушки только посмеялись над этим, они, мол, нисколько не боятся. Сами могут кого хочешь уничтожить. Им не страшен никто, кому не подвластна магия Почивших Старцев. Однако, не желая лишних хлопот, они все же погружались в воду, если кто-то чужой приплывал на остров.

Когда выходцы из моря объявили, что хотели бы породниться с туземцами, те вначале заартачились. Но, как выяснилось, они и так уже были в родстве с морскими тварями. Все живое вышло из воды и при желании может снова в нее вернуться. Дети от смешанных браков, объяснили туземцам рыбагушки, рождаются похожими на людей, но с годами в их облике больше проступают черты морских предков. В конце жизни они должны переселиться в море, присоединившись к жителям подводной страны. Но вот что самое главное, молодой человек... Жители острова, превращаясь на склоне лет в рыбагушек и погружаясь в море, становятся бессмертными. Ведь эти морские существа никогда не умирают своей смертью. Их можно только убить.

Так вот, сэр. Когда Абед впервые попал на остров, во всех туземцах уже текла кровь морских тварей. Стариков там скрывали от посторонних глаз — уж очень они менялись — до тех пор, пока они окончательно не «дозреют» и не сойдут в море. Были и некоторые сложности. Большинство туземцев легко превращались в рыбагушек, но были и такие, которым это давалось с превеликим трудом. Быстро менялись те, кто уже рождался похожим на морских предков, те же, в ком побеждало человеческое начало, часто оставались на острове. Но их заставляли совершать пробные погружения. Переселившиеся в воду туземцы часто всплывали, чтобы посмотреть, как идут дела на острове. И никого не удивляло, если какой-нибудь молодой человек беседовал со своим прапрапрадедушкой, уже двести лет живущим в море.

Все перестали бояться смерти. Она отступила. Ты жил вечно, если только... не погибал в войне с другими дикарями, если тебя не приносили в жертву, если тебя не укусила ядовитая змея, если ты не сгорел от быстротечной болезни. Словом, если с тобой не случилось чего-нибудь непредвиденного перед окончательным переселением в воду. Теперь все готовились не к смерти, а к перемене обличья и образа жизни. Страх исчез. Туземцы считали, что выиграли в этой сделке, и могу поклясться, то же самое думал и капитан Абед, когда старый Валакеа рассказывал ему все это. Сам Валакеа был одним из немногих, кто не породнился с лягушками: принадлежа к семейству вождя, он должен был жениться на равной себе, то есть на дочери предводителя соседнего племени.

Тот же Валакеа познакомил Абед с обрядами и заклинаниями, без знания которых невозможно было общаться с морскими тварями. Он также показал кое-кого, кто уже был ближе к рыбагушке, чем к человеку. Однако он не познакомил его ни с одной морской тварью. Под конец Валакеа подарил капитану какую-то, кажется свинцовую, штуковину, с помощью которой можно было вызывать этих тварей. Брось ее в воду, произнеси заклинание — и они гут как тут. По словам Валакеа, эти твари живут повсюду, и любой человек, знающий магические слова, может поднять их с морского дна.

Мэтту не нравились переговоры капитана и он уговаривал Абед не связываться с жителями проклятого острова. Однако мысль о легкой наживе не давала капитану покоя, ведь богатство само плыло ему в руки. Дело пошло. Через несколько лет у Абед было уже столько золотых вещей, что он открыл в Инсмуте золотообрабатывающую фабрику, купив у Уайта прогоревшее предприятие. Он не осмеливался продавать драгоценности в том виде, в каком они к нему поступали, — боялся расспросов. В руки команды иногда попадали отдельные вещицы, и хотя матросы поклялись держать язык за зубами и не хвастаться поживой, но вы же знаете, как слаб человек. Кроме того, капитан разрешил женщинам из своего семейства носить такие украшения, правда, из тех, что поскромнее, чтобы экзотичность их не бросалась в глаза.

Примерно году в тридцать восьмом, мне тогда исполнилось семь лет, Абед, наведавшись в очередной раз на остров, не нашел там никого. По-видимому, туземцы с соседних островов проноухали-таки про морских тварей. Возможно, они

отняли у местных магические талисманы, повиноваться которым были обязаны морские существа. Никто не знал, сколько их попало в руки туземцев Канаки, когда море выбросило из своих глубин остров с развалинами старше самого всемирного потопа. Преданные своим богам туземцы не оставили никаких священных свидетельств иной веры на вулканическом острове, кроме очень больших каменных изваяний, которые нельзя было сдвинуть с места. Кое-где валялись мелкие камешки, возможно талисманы, с начертанной на них свастикой. Может, это и были магические знаки Старцев? Люди исчезли, золотых украшений тоже как не бывало, а туземцы с соседних островов дружно помалкивали о случившемся. Все выглядело так, будто на острове никто никогда не жил.

Капитан Абед тяжело переживал все это: хорошо налаженная выгодная торговля неожиданно порушилась. Да и остальным инсмутцам стало хуже: золотым промыслом кормился весь город. Большинство горожан не роптало и смиренно переносило испытание, хотя беды сыпались одна за другой: рыба не ловилась, фабрика бездействовала.

Тогда-то Абед и начал стыдить горожан. Они-де как овечки молятся христианскому богу, которому нет до них никакого дела. А вот он, капитан, знал одно племя, так оно поклонялось могущественным богам, и те даровали все необходимое своим подопечным, и даже более того. И еще капитан сказал, что если люди поддержат его, то, может быть, удастся связаться с такими силами, которые пошлют им и рыбу, и золото. Матросы, ходившие с ним на «Королеве Суматры», сразу смекнули, в чем дело, и отмалчивались, их вовсе не тянуло связываться с морскими тварями. Но другие, соблазненные речью Абеда, умоляли открыть им истинную веру, которая помогает людям жить.

Тут старик прервал свой рассказ и, пробормотав что-то невнятное себе под нос, умолк. Было похоже, что его неожиданно охватил страх. Он то нервно оглядывался, то подолгу, как зачарованный смотрел в сторону далекого черного рифа. На вопросы не отвечал, и пришлось опять прибегнуть к спасительной бутылке. Меня чрезвычайно заинтересовал безумный рассказ старика. Я считал, что притчевая основа истории вызвана особенностями внешнего облика инсмутцев, а яркое воображение старика, несомненно знакомого с морскими легендами, разукрасило ее аллегориями на потребу слушателей, придав ей вид захватывающей были. Ни на секунду

не поверил я, что за этим увлекательным бредом скрываются хоть крупинка истины, и все же, услышав о диковинных драгоценностях, в разряд которых попадала и зловещая гнара, виденная мной в Ньюберипорте, испытал чувство близкое к ужасу. Возможно, конечно, и другое. Родиной украшений действительно был далекий остров, остальное же приисочинил капитан Абед, а этот антикварный старик лишь повторял выдумки с чужих слов.

Я протянул Зедоку бутылку, и тот осушил ее до последней капли. Удивительное дело, он так много выпил, а язык у него не заплетался. Облизав горлышко бутылки, старик привычным жестом сунул ее в карман. Наконец стал клевать носом, что-то бормоча. Придвинувшись поближе, я ловил каждый звук, и мне почудилось, что в седой его бороде мелькнула насмешливая улыбка. Бормотание вновь складывалось в связные предложения, и вот что я услышал:

— Бедняга Мэтт был с самого начала против всей этой затеи, отговаривал людей, настраивал священников, но все впустую. Жители прогнали из города католического священника, за ним Инсмут покинули Бэбкот, глава баптистской церкви, и методист. Я был маленьким мальчиком, но то, что тогда видел и слышал, никогда не изгладится из моей памяти: Дагон и Ашторет, Велиар и Вельзевул, Золотой телец, ханаанские и филистимляньские идола, вавилонские мерзости... *Мене, теке, фарес...*

Старик снова замолк, и по мутному взгляду выцветших голубых глаз я понял, что он вот-вот впадет в пьяное оцепенение. Однако, когда я легонько потряс его за плечо, он резко вскинулся и озадачил меня еще несколькими бредовыми фразами:

— Не верите? Ну тогда объясните мне, молодой человек, зачем капитан Абед с двадцатью молодчиками ездили глубокой ночью на Риф Дьявола и распевали там гимны так громко, что при береговом ветре весь город не спал? Ну-ка ответьте... А еще объясните, зачем капитан Абед бросал с рифа в воду какие-то тяжелые вещи? И что он сделал со свинцовой штуковиной, которую дал ему Валакеа? Что вы на это скажете, юноша? И что они вытягивали из воды на Майский день и в канун Дня всех святых? И почему священники в новых молебнях, все из бывших матросов, расхаживали в диковинных одеждах, с золотыми уборами на головах, похожими на те, что раньше привозил Абед? Почему?

Выцветшие глаза старика горели теперь сатанинским

огнем, грязная борода торчала дыбом. Зедок, видимо, заметил, что я непроизвольно отпрянул назад, и злобно захихикал.

— Ха-ха-ха! Смекаешь теперь? Хотелось бы, наверное, быть на моем месте в те далекие деньки, когда я сидел на крыше своего дома, не спуская глаз с рифа. Дети все слышат — взрослые за разговорами просто не замечают их. И я тоже слышал, как шептались о капитане и его дружках, и решил все проверить сам. Ха-ха-ха! Однажды я взял у отца бинокль и залез, как обычно, на крышу. И увидел ночью на рифе странные фигуры, которые с восходом луны попрыгали в воду. Абед с командой находились в лодке, а то были какие-то неизвестные существа. Нырнув, они больше не показывались на поверхности... Что бы вы почувствовали на моем месте, если бы вот так мальчишкой сидели на крыше, смотрели в бинокль и неожиданно поняли, что странные фигуры — не люди и формы у них не человеческие?.. А? Ха-ха!

Старик был на грани истерики, и меня охватил безотчетный страх. Он положил на мое плечо свою руку с шишковатыми пальцами, и мне показалось, что дрожь в ней была совсем не от опьянения.

— И вот представьте себе, однажды вы видите, как с лодки Абед в воду бросают какой-то тяжелый предмет, а затем на следующий день узнаете, что один юноша исчез из дома. Каково, а? О Хиреме Джилмене никто больше не слышал. Никогда. И о Нике Пирсе, и о Лили Уайт, и об Адониреме Сотунке, и о Генри Гаррисоне. Каково, а? Ха-ха-ха! Эти фигуры на рифе объяснялись знаками... размахивали руками.

Так вот, сэр, Абед снова стал понемногу становиться на ноги. Из трубы замершей было фабрики опять пошел дымок, а три дочери капитана надели на себя золотые украшения, каких никто на них раньше не видел. Да и другие горожане зажили лучше — в гавань повалила рыба, и от Инсмута пошли груженные суда в Ньюберипорт, Архем и Бостон. Тогда же Абед проложил к Инсмуту железнодорожную ветку. Рыбаки из Кингспорта прослышали о богатых уловах и пришли к нам на шлюпах, но все как один сгинули. Больше их никто не видел. Тогда же в нашем городе создали «Тайный союз Дагона», который обосновался в помещении Массонского дома. Мэтт Элиот, сам масон, был против продажи, но его не послушали, а потом он куда-то пропал.

Не думаю, что Абед собирался обставить дела в Инсмуте так же, как на острове Канаки. Вряд ли он помышлял смешивать расы, постепенно приучать юношество к водной жизни, вряд ли задумывался о последующем переселении соплеменников навечно в море. Он хотел только золота и был готов за него платить сполна. Какое-то время это устраивало морских хозяев...

К сорок шестому году горожане стали задумываться, не слишком ли много непонятного появилось в их жизни? Неизвестно куда пропадали люди, с мест субботних сборищ неслись какие-то дикие песнопения, ходили разные слухи о таинственном рифе. Я тоже внес свою лепту, рассказав члену городского управления Маури о том, что видел с крыши. И вот однажды, когда Абед с командой отправился, как обычно, на риф, за ним вдогонку послали лодку, и я слышал звуки перестрелки. На следующий день Абед и тридцать два его приятеля сидели уже в тюрьме, а горожане терялись в догадках, какое обвинение им предъявят. Боже, если бы мы только знали, что нас ждет! Ведь время шло, минуло две недели, а этим тварям никого не принесли в жертву...

Зедок выглядел измученным, его, казалось, вновь охватил страх. Я не торопил его, но со значением поглядывал на часы. Начинаясь прилив, и шум волн вроде бы придал ему силы. Начало прилива меня тоже обрадовало: в это время ослабевал зловонный запах. Шепот возобновился, и я опять напряг слух.

— Жуткая ночь... Я все видел с крыши... Их было великое множество... Лавина... Они карабкались через риф и плыли к гавани, потом по Меньюксету... Боже, что творилось той ночью на улицах Инсмута... Они ломались и в нашу дверь, но отец не открыл... Потом он выбрался через окно с ружьем в руках и побежал разыскивать Маури, чтобы помочь... Горы трупов, крики умирающих... выстрелы, вопли... паника на Старой площади, на Городской площади, на Нью-Черч-Грин-стрит, двери тюрьмы распахнуты... воззвание... измена... Потом, когда выяснилось, что погибло более половины жителей, заговорили о якобы опустошившей город эпидемии... В живых остались только Абед со своими сподвижниками, морские твари и те, кто умел терпеть и держать язык за зубами. Отца же своего я больше никогда не видел...

Старик тяжело дышал и обливался потом. Он все сильнее стискивал мое плечо.

— К утру от побоища не осталось никаких следов, всё было убрано. Всем заправлять стал Абе́д, он-то и объявил о новшествах. Гости теперь участвовали вместе с нами в обрядовых песнопениях, а потом расходились по нашим домам... Они хотели смешаться с людьми, как было на Канаки, и капитан не собирался им в этом препятствовать. Абе́д зашел слишком далеко, разум его совсем пошатнулся. Он только и толковал, что у нас всегда будет рыба и золото, надо только уступить...

В остальном в нашей жизни ничего не изменилось, разве только мы стали больше сторониться приезжих, понимая, что так будет лучше для нас. Все мы принесли клятву Дагону, а позднее некоторые из нас принесли также вторую и третью клятвы. Те, кто был особенно активен, получали награды: золото, драгоценности и прочее. Идти против морских тварей было бессмысленно — миллионы их жили в морях. Они предпочли бы не выходить из воды и не убивать, но не могли смириться с тем, что их обманули. У нас же не было талисманов, с помощью которых туземцы прогнали рыбагушек.

Что им было нужно? Человеческие жертвоприношения, побрякушки и приют в городе, когда их почему-либо сюда тянуло. Дай им это, и они оставят тебя в покое. Но если чужак со стороны захочет пошпионить, я ему не завидую. Все посвященные — члены «Союза Дагона», а также дети, рожденные от смешанных браков, — не умирают, а возвращаются к Матери Гидре и Отцу Дагону — туда, откуда мы все вышли... Иа! Иа! Ктулф хтан! Фиглуй мглунаф Ктлуф рлех вгах-нагл фхтага...

Старик понес что-то совсем уж невнятное, и у меня сжалось сердце. Бедняга, подумал я, до каких безумных галлюцинаций довело тебя пьянство и невыносимый вид всей этой разрухи, упадка и ущербности окружающего! Но какое мощное воображение! Старик слабо застонал, слезы струились по морщинистым щекам его, теряясь в густой бороде.

— Чего только не повидал я с тех пор... *Мене, текел, фарес!* Кто-то исчезал навсегда, другие кончали с собой... Тех же, что пытались рассказать правду о нашей жизни в Археме или Инсуиче, называли сумасшедшими. Вот и вы небось считаете меня тахим. Но Бог мой, чего только я не перевидал... Они давно прикончили бы меня — слишком много знаю, только не могут. Я принес две клятвы Дагону и потому нахожусь под особой защитой. Да и надо сначала доказать, что я вправду проболтался... Но третью клятву не дам — скорее умру.

Незадолго до Гражданской войны начали подрастать дети.

рожденные после сорок шестого года. После той кошмарной ночи, испытав ее ужасы, я уже не осмеливался подглядывать и совать нос в чужие дела и поэтому никого из морских тварей не видел. Потом отправился на войну и, будь чуток поумнее, никогда бы сюда не возвратился. Но родные написали, что все изменилось к лучшему. Еще бы, ведь в городе после шестидесяти третьего года находились правительственные войска. Однако после войны все пошло еще хуже. Люди уезжали, фабрики и магазины закрывались, корабли больше не покидали гавань, да и сама гавань обветшала, железнодорожные пути заросли травой, но *онм...* они по-прежнему приплывали к нам с проклятого рифа. И потому закрывались наглухо все новые чердачные окна, а из покинутых жилищ доносились странные звуки.

О нас ходит много историй. Вы, наверное, тоже слышаны, если, конечно, интересовались и задавали вопросы. Всего ведь не утаишь. Взять хотя бы диковинные золотые украшения. Не все из них попадают на фабрику. Да, слухи ползут, но ведь это всего лишь слухи. Ничего определенного. Кто им поверит! Считают, что эти драгоценности — из пиратского клада, а необычную внешность местных жителей объясняют примесью чужеродной крови или неизвестной болезнью. А что можно узнать со стороны? Да ничего. Горожане отпугивают всех приезжих, а те, что все-таки задерживаются в городе, любопытства не проявляют — боятся. Здесь опасно бродить поздним вечером. Животные не слушаются полукровок, лошади и мулы упираются и не хотят везти. Вопрос разрешился, только когда появились автомобили.

В сорок шестом году капитан Абе́д женился второй раз, но его жену никто никогда не видел. Поговаривали, что он не хотел жениться, но твари его заставили. От этого брака у него родилось трое детей. Двое исчезли в юном возрасте, а вот дочь по виду не отличалась от обычных людей и училась в Европе. Абе́д обманом выдал ее замуж за одного парня из Архема, который ни о чем не подозревал. Теперь ведь никто не хочет иметь дело с нисмутцами. Сейчас фабрикой управляет Барнабас Марш — внук Абе́да от первой жены. Он сын Онесифоруса, старшего сына Абе́да, жена у него была тоже из тех тварей и никогда не показывалась на людях.

У Барнабаса нынче пора перерождения, глаза у него уже не закрываются, изменилась и фигура. Говорят, одежду еще носит, но скоро, видать, перейдет в воду. Может, уже и опускаться. У них так заведено — что-то вроде пробных заплывов.

Десять лет он таится от людских глаз. Бедняжка жена... Вот уж, наверное, переживает. Взял ее из Инсуича. Его чуть не линчевали пятьдесят лет назад, когда он за ней ухаживал. Сам Абед умер в семьдесят восьмом году. Из следующего поколения тоже никого не осталось. Дети от первой жены поумирали, а что с остальными... Бог знает...

Шум прибоя все усиливался. Он как-то влиял на старика: хмельное нытье сменилось настороженностью. Он поминутно прерывал рассказ, оглядываясь по сторонам или напряженно всматриваясь туда, где виднелся риф. Несмотря на явную неправдоподобность истории, настроение старика передавалось и мне. Зедок говорил теперь громче, как бы стараясь придать себе смелости.

— Что же вы молчите? Ну скажите, понравилось бы вам жить в городе, где все вокруг гниет и рушится, а на заколоченных темных чердаках и в глубоких подвалах ползают чудовища? Мычат, лают и скачут. Везде и всюду, куда ни войдешь. А завывания, доносящиеся каждый вечер из церквей и бывшего Массонского дома? Страх берет, когда слышишь их да еще знаешь, что там происходит! А крики с ужасного рифа в Майский день и в канун Дня всех святых! Что? Думаете, старик свихнулся? Ну так знайте, это еще не всё.

Черт бы вас побрал... Не смотрите на меня его глазами. Абед Марш в аду и будет там вечно. Ха-ха! Точно говорю — в аду. Самое там ему место. Меня ему не достать. Я ничего плохого не сделал и никому ничего не сказал.

Знаете что, молодой человек... Я и в самом деле никому ничего не говорил, но сейчас скажу. Слушайте меня внимательно... Это еще никому не известно... После той ночи, как вы уже слышали, шпионить я перестал, но тем не менее кое-что выведал!

Хотите знать самое что ни на есть ужасное? Да? Ну так слушайте... Страшно не то, что натворили эти морские дьяволы... А то, что они собираются натворить! Они тайно растят в брошенных домах пакостных чудовищ. Уже не один год переправляют их в город и скоро закончат свое черное дело. Дома, расположенные на север от реки, между океаном и Мейн-стрит, кишат нечистью. Морскими тварями и теми, кого они принесли с собой. И вот когда у них все будет готово... Слушайте, когда все будет готово... Вы что-нибудь знаете о шоготе? Тогда слушайте. Я знаю, что они там растят. Однажды ночью видел... А-а-а-а-а!

Я чуть не лишился сознания от неожиданного крика,

полного нечеловеческого ужаса, который издал старик. В этот момент он был все так же устремлен в сторону смрадного моря. Глаза расширились от страха. Лицо являло собой ожившую трагическую маску греческого театра. Он не шевельнулся, но костлявая рука с силой впилась в мое плечо. Я обернулся посмотреть, что его так напугало.

Но ничего не увидел. Море спокойно катило свои волны. Одна волна было заметно ближе остальных. Зедок потянул меня за плечо, и я снова повернулся к нему. Старик весь дрожал, не в силах вымолвить ни звука. Наконец голос вернулся к нему, и он заговорил прерывающимся шепотом.

— Бегите отсюда! Скорее бегите! Они заметили нас. Бегите и никогда не возвращайтесь. Не мешкайте! Они пронохали. Бегите скорее из этого города...

Тяжелая волна ударила о кирпичную стену заброшенной верфи. Неожиданно шепот старика опять перешел в истерический вопль, от которого в жилах леденела кровь.

— А-а-а-а!

Не успел я прийти в себя от изумления, как старик, оставив наконец мое плечо, бросился как полоумный бежать вдоль разрушенной стены на север — в сторону города.

На море по-прежнему ничего не было видно. А когда я дошел до Уотер-стрит, Зедока Аллена уже и след простыл.

IV.

Вряд ли смогу описать свое состояние после этой душераздирающей сцены. Она была фантастична, ужасна и вместе с тем вызвала жалость к безумному старику. Хотя продавец из бакалей предупреждал меня, действительность превзошла все мои ожидания. История производила впечатление ребяческой, но серьезность, с какой Зедок говорил, и его неподдельный ужас не могли не передаться. Во мне нарастало беспокойство, а если учесть изначальную мою неприязнь к городу и смутное ощущение нависшей над ним опасности, то немудрено, что меня тянуло поскорее его покинуть.

Я решил, что позже поломаю голову над этой аллегорией и постараюсь извлечь из нее рациональное зерно, сейчас же лучше выбросить ее из головы. Время несло с угрожающей быстротой — часы показывали пятнадцать минут восьмого, а архемский автобус в восемь часов отходил с Городской

НАСЛЕДСТВО ПИБОДИ

Так случилось, что я никогда не видел своего прадеда Асафа Пибоди. Мне было пять лет, когда он скончался в старинной родовой усадьбе, расположенной к северо-востоку от Уилбрема, городка в штате Массачусетс. Помнится, во время его болезни родители возили меня туда, но даже взглянуть на старика мне не удалось: взрослые поднялись к нему в спальню одни, оставив меня на попечение няни. Прадед слыл богачом, но, как известно, каждый новый наследник беднее предыдущего: даже камень не вечен, что уж говорить о деньгах — время тем более их не щадит. Наследство подтачивают налоги, а после смерти прадеда оно к тому же часто переходило из рук в руки. Сначала умер дед. Потом скончалось двое моих дядюшек: один погиб на Западном фронте, другой потонул на «Лузитании». Третий дядя умер задолго до своих двух братьев, и поэтому усадьба отошла к моему отцу.

У отца напрочь отсутствовал вкус к сельской жизни — этим он отличался от остальных родичей. Он не собирался хоронить себя в глуши и потому не проявлял должного интереса к унаследованной усадьбе. Деньги же прадеда отец пустил в дело, приобретая акции нескольких бостонских и нью-йоркских фирм. Мать тоже не разделяла моего жгучего любопытства к уединенной массачусетской усадьбе. И все же с именем не расставались. Однажды, когда я во время каникул гостил дома, мать в разговоре с отцом предложила продать старую развалину, но отец отказался самым решительным образом. Помню, меня поразила та ледяная (другого слова не подобрать) отчужденность, с какой он выслушал это предложение, а также произнесенные им загадочные слова: «По предказанию деда, один из его потомков возродит старое владение». На это последовала презрительная реакция матери: «Господи! Было бы о чем говорить! Что там осталось!» Пропустив мимо ушей ее язвительные слова, отец молчал, продолжая хранить из своим лишь поразившее меня выражение холодной замкнутости. Своим молчанием он как бы говорил, что есть чрезвычайно важные причины, чтобы воздерживаться от продажи имения.

но не и его власти открывать их. И все же сам он никогда не навещал туда, хотя исправно платил налоги через своего поверенного в делах, некоего Ахаба Хопкинса, юриста из Уилбрема. Тот регулярно извещал родителей о положении дел в имении, советуя «поддерживать его в надлежащем порядке», они же пропускали его советы мимо ушей, полагая, что вкладывать средства в усадьбу — пустая трата денег.

Хозяйство было полностью заброшено. Хопкинс пытался было сдать старый дом, но особого успеха не имел. Кто-то снимал его на короткий срок, но потом он снова надолго пустел. Родовое гнездо Пибоди медленно разрушалось от сырости и времени. Тогда-то в результате трагического стечения обстоятельств, а именно — после гибели обоих родителей осенью 1929 года в автомобильной катастрофе, хозяином усадьбы стал я. Хотя это событие совпало с началом затяжного экономического кризиса и недвижимость неуклонно падала в цене, я все же решил продать наш бостонский дом и вырученные деньги вложить в благоустройство имения. После смерти родителей мне отошел достаточно солидный капитал, и потому я решил оставить юридическую практику, которая отнимала у меня много времени и сил, и поселиться на природе.

Мне не терпелось осуществить свой план, но вначале следовало привести в порядок хотя бы уголок в старом доме. Ведь надо же где-то на скорую руку обосноваться. Заложенный в 1787 году особняк затем обустраивался несколькими поколениями. Первоначально это было типичное жилище колониста — строение строгих пропорций, с четырьмя внушительного вида колоннами по фасаду и недостроенным третьим этажом. Со временем именно эта часть стала основной — сердцевиной дома. Впоследствии дом постоянно подвергался реконструкциям, расширялся, становясь все более громоздким. Был закончен полностью третий этаж, подведена лестница. Появились многочисленные флигели и служебные помещения. К тому времени, когда я решил здесь обосноваться, особняк превратился в бесформенную громадину и вместе с садом, не уступавшим по заброшенности дому, занимал более акра земли.

Далее уже полностью утратило свой строгий колониальный стиль. Архитектура его стала эклектична: каждый из владельцев вносил в облик дома что-то свое. Двухэтажная крыша соседствовала с одноэтажной; оконные рамы раз-

чались величиной, причудливой лепки карнизы чередовались с классически простыми, почти аскетическими выступами. Даже слуховыми окошками снабжена была одна часть крыши. Но хотя знаток с пренебрежением отнесся бы к строению, вобравшему в себя столько несовместимых художественных стилей, для обычного человека вид его оставался довольно привлекательным. Во многом этому способствовали разросшиеся старые вязы и дубы — особняк прямо-таки в них утопал. Просвет открывался лишь в сторону заброшенного сада с розовыми кустами и зеленеющими поодаль тополями и березками. Несмотря на губительное действие времени и разноликость стилей — или благодаря этому, — особняк навевал мысли о преходящем величии и как-то удивительно соответствовал колориту местности. Казалось, его некрашеные стены гармонично сливаются с окружающими их могучими, неохватными деревьями.

В доме было ни много ни мало — двадцать семь комнат. Из них я решил привести в порядок три — все в юго-восточной части особняка. Осенью и в начале зимы я регулярно наезжал сюда из Бостона, следя за ходом работ. После того как старое дерево отчистили и натерли воском, оно приобрело дивный теплый оттенок; электрический свет изгнал из комнаты угрюмый мрак, и только затянувшиеся сантехнические работы задержали до конца зимы мой приезд. Лишь двадцать четвертого февраля я поселился в родовом гнезде Пибоди, а затем в течение месяца ломал голову, что делать дальше с домом. Первоначально я собирался сохранить только старинную часть особняка, сломав все позднейшие пристройки, но затем изменил решение. Особое очарование дома состояло для меня в том, что здесь обитали, сменяя друг друга, мои предки, здесь текла их жизнь, заполненная обыденными событиями и переживаниями.

Ночью, когда мартовский ветер глухо завывал за окном, я долго лежал без сна, томимый подозрениями, что в доме кто-то есть. Сверху доносился неясный шум. Похоже, там некто перемещался, не ступал, а именно перемещался, то есть двигался как-то необычно. Трудно сказать, на что это было похоже. Казалось, движение сосредоточено на малой площади. Вперед-назад. Вперед-назад. Помните, я вышел в темный холл, откуда вела вверх лестница, и долго стоял, прислушиваясь и всматриваясь в темноту. Теперь звук

идял, спускаясь по ступеням, то усиливаясь, то затихая. Я продолжал стоять и слушать, пытаясь понять, где таится его источник. Очень хотелось найти всему этому какое-то рациональное объяснение. Решив наконец, что это бьетесь на ветру ветки, я удалился к себе и успокоился. Шум продолжался, но теперь, когда я докапался, как полагал, до его причины, он меня больше не тревожил.

А вот замучившие меня в ту ночь сны толкованию не поддавались. Обычно наутро я забывал ночные видения, но тут они оказались настолько ярки и фантастичны, что живо держались в памяти. В них я играл роль пассивного свидетеля бесконечных пространственно-временных смещений и череды обманных ощущений. Все это происходило в присутствии призрачной фигуры в остроконечной шляпе и еще какого-то неразличимого существа, которых я видел как бы сквозь призму мрачного ночного пейзажа. Но мучили меня не столько сами сны, сколько их прерывистость. Краткие видения молниеносно сменяли друг друга, каждое не имело ни начала, ни конца, а мир, в который меня уносили, был совершенно фантастичен и чужероден, как если бы находился в другом, неизвестном мне измерении. Проснувшись я совершенно измученный.

На следующий день меня посетил архитектор, молодой человек, не склонный верить мрачным легендам, слухам в народе о старых домах, укроившихся в сельской глуши. Он открыл мне прелюбопытный факт.

Вступив во владение домом, вы, конечно, не ожидали, что в нем есть потайная комната? — спросил он, раскладывая предо мной чертежи.

А разве она есть? — удивился я.

Есть. Может, тайная молельня, а может, темница для сбежавших рабов.

Никогда не видел.

Я тоже. Но взгляните сюда...

И он показал мне составленный им план дома, где было ясно видно, что вдоль северной наружной стены старейшей части здания тянется неучтенное пустое пространство. Что там было? Вряд ли молельня. Может, и правда карцер для беглых рабов? Но дом построили в те времена, когда рабы еще не сбегали в Канаду. Нет, не то.

— Вот бы взглянуть на этот тайник, — сказал я.

— Он должен быть тут.

И мы его действительно обнаружили — надежно скры-

тый тайник, на его след могло привести разве что отсутствие окна в северной стене спальни. Дверь в потайную комнату удачно маскировала искусная резьба, украшавшая стену из красного дерева. Не знавший о тайнике человек ни за что не распознал бы скрытую в резьбе дверь — не имея дверной ручки, она открывалась нажатием на определенный узор. Его отыскал архитектор, лучше меня разбиравшийся в подобных делах. Перед тем как войти в потайную комнату, я задержался на пороге, изучая проржавевший запор.

За дверью находилась узкая каморка — конечно же, не модельная. В длину она тянулась футов на десять, пройти их можно было не сгибаясь, но вот в сторону из-за крутого ската крыши нельзя было сделать ни шагу. Только вперед-назад, и ни на дюйм вбок. Любопытно, что комната все еще хранила следы пребывания человека: повсюду валялись книги и бумаги, а стул, казалось, только что отодвинули от небольшого письменного стола.

Сама комната ни на что не походила. У нее были какие-то скошенные, искривленные углы, как будто строитель хотел сбить с толку ее владельца. Весь пол покрывали диковинные узоры, некоторые из них самым варварским образом были вырезаны в дощатом полу, образуя подобие круга. Углы комнаты расписаны крайне отталкивающими рисунками. Стол вызывал отвращение своим внешним видом: казалось, его спалил огонь — такого он был грязно-черного цвета. И уж явно служил не только для письменных занятий. На нем высилась куча книг — видимо, очень старых — в кожаных, как и лежавшая рядом тетрадь, переплетах.

Общество архитектора не позволило мне изучить комнату более тщательно: убедившись в существовании тайника и бегло осмотрев помещение, он увлек меня к выходу.

— Вы, конечно, захотите снести стенку, расширить спальню и прорубить здесь окно? — спросил он. И, не дождавшись ответа, добавил: — Не станете же вы сохранять этот чулан?

— Не знаю, — уклончиво ответил я. — Пока ничего не могу сказать. Надо еще выяснить, когда сделан тайник.

Про себя же подумал: окажется комната такой старой, как я предполагаю, ни за что с ней не расстанусь. Хотелось получше рассмотреть ее, порыться в старых книгах. Да и спешки не было — у архитектора хватало и других

дел. О судьбе маленькой каморки наверху можно было еще подумать. На том и порешили.

Я собирался завтра же вновь заглянуть в тайник, но помешали обстоятельства. Во-первых, меня ждала еще одна тревожная ночь, с мучительными, навязчивыми видениями, растолковать которые я не умел, потому что прежде видел сны, только когда болел. Мне грезились мои предки, и чаще всего — длиннородый старец в чудной конусообразной черной шляпе. Этот старец оказался моим прадедом Асафом, в чем я удостоверился на следующее утро, найдя его изображение в череде фамильных портретов, висевших в холле нижнего этажа. В моем сне прадед перемещался как-то странно, будто летал. Он проходил сквозь стены, шел по воздуху, не касаясь земли; его тень мелькала в кронах деревьев. И повсюду его сопровождал громадный черный кот, с той же легкостью, что и хозяин, нарушавший законы пространства и времени. Сны никак не были связаны между собой, и даже внутри каждого из них отсутствовала цельность — просто бесконечная цепь ярких, галлюцинаторных видений, хотя и с неизменным присутствием прадеда, кота и фамильного особняка. Эти сны перекликались с картинками, виденными мною прошлой ночью, демонстрируя все те же пространственно-временные фокусы, правда, с меньшей отчетливостью отдельных видений. Так я промаялся всю ночь.

А наутро вдобавок ко всему архитектор сообщил об отсрочке строительных работ. Он долго уклонялся от объяснений, но затем признался на мои настойчивые расспросы, что нанятые им строители сегодня утром в один голос заявили, что отказываются «здесь» работать. Однако мне не стоит беспокоиться: в Бостоне полно польских и итальянских безработных и, если я согласен немного подождать, он заключит с ними договор на выгодных для меня условиях. У меня не было выбора, и я согласился. Впрочем, во многом мое разочарование было напускным: к этому времени я стал сомневаться, стоит ли так уж все переделывать. В конце концов, очарование старых построек таится в стоящих за ними веках, поэтому центральную, наиболее древнюю часть усадьбы нужно лишь отремонтировать, не внося никаких новшеств. Попросив архитектора все же поторопиться, я отправился сделать кое-какие покупки.

В неприязни ко мне местных жителей я уже успел удостовериться. Но если раньше большинство старалось

просто не замечать меня, а другие, с кем я успел познакомиться, небрежно кивали, то этим утром все как один отводили глаза в сторону. Даже продавцы отвечали сквозь зубы, всем своим видом показывая, что в дальнейшем мне стоит наведываться за покупками в другую лавку. Подомав голову над тем, что бы это значило, я пришел к выводу, что такое отношение напрямую связано с моими планами по переустройству усадьбы. Могли быть два объяснения. Либо фермеры считали, что усадьба в результате утратит свою прелесть, либо, напротив, боялись, что реставрация продлит ей жизнь, уничтожив все их надежды распахать лакомый кусочек земли.

Но вскоре мои догадки сменились гневом. Почему меня чураются как парня? Разве я заслужил такое обращение? Кипя от негодования, я зашел в контору Ахаба Хопкинса и пылко излил перед ним свои обиды, хотя видел, что тем немало его смущаю.

— Не принимайте все так близко к сердцу, мистер Пибоди, — попытался он успокоить меня. — Согласитесь, эти люди пережили страшный шок. Можно понять их нелюбезность и подозрительность. К тому же крестьяне очень суеверны. Сколько помню себя — а ведь я не молод, — они всегда были такими.

Серьезность, с какой Хопкинс произнес эти слова, охладила мой пыл.

— Вы сказали: шок? Простите, но я ничего не понимаю.

Адвокат посмотрел на меня с таким удивлением, что мне стало не по себе.

— Гм, видите ли, мистер Пибоди, в двух милях от вас живут некие Тейлоры. Глава семейства Джордж мне хорошо знаком. У них десяток детей. Точнее, было десять. Этой ночью одного из младших, двухлетнего малыша, похитили прямо из кровати и унесли, не оставив никаких следов.

— Мне очень жаль. Но при чем здесь я?

— Конечно ни при чем, мистер Пибоди. Вы здесь человек новый и многого не знаете... Впрочем, раньше или позже вам все равно станет известно... Здесь не любят семейство Пибоди. Более того — ненавидят.

Я не смог скрыть своего изумления.

— Но почему?

— Сами знаете, люди склонны верить самым невероятным слухам и сплетням, — ответил Хопкинс. — Вы достаточно прожили на свете, мистер Пибоди, и понимаете, что мир не изменился. А уж деревенских тем паче. Еще ребенком я слышал о нашем прадеде всякие рассказы. Дело в том, что после его вступления в наследство здесь произошло несколько жутких случаев с похищениями малолетних детей. И вот теперь они видят связь между приездом нового владельца и возобновлением, как они полагают, страшного ритуала.

— Какой ужас! — воскликнул я.

— Согласен с вами, — проговорил Хопкинс с преувеличенной любезностью. — Но что поделать! Кроме того, уже апрель, Вальпургиева ночь на иссу.

Его лицо смущал мой убитый вид.

— Послушайте, мистер Пибоди, — спросил он с наигранной шутливостью, — неужели вам неизвестно, что ваш дед слыл здесь колдуном?

Я вышел от адвоката в смнении. Несмотря на пережитое потрясение и обиду, несмотря на все мое возмущение грубостью фермеров, которые демонстрировали мне неприязнь, смешанную с неподдельным ужасом, меня все же больше беспокоила возможная связь моих почтовых вестей с этими страшными событиями. В снах прадед являлся мне в странном виде — Хопкинс же дал вполне определенную характеристику этому моему предку. Оказывается, местный люд почитал его за колдуна или чародея — словом, мужской вариант ведьмы. Выйдя от Хопкинса, я уже не пытался проявлять любезность к встречным, которые по-прежнему отворачивались при моем приближении, а просто сел в машину и поехал домой. Но там мое терпение подверглось новому испытанию: кто-то из безграмотных и озлобленных соседей прибил к парадной двери вырванный из тетради листок, на котором нацарапал карандашом: «Праваливай пака цел, нито пажаленш!»

Этой ночью мой сон, возможно по причине пережитых волнений, был еще беспокойнее, чем предыдущий. Но в тревожных грезах появилась некоторая связность. В них опять

присутствовал мой прадед Асаф Пибоди, только теперь облик его стал еще более зловещим, а в руках он нес неразличимый в сумраке предмет телесного цвета. Не менее устрашающе выглядел и громадный кот, скользящий, или скорее парящий, бок о бок с хозяином: шерсть на нем вздыбилась, уши стояли торчком, а хвост был лихо задран клерку. Я видел, как десаами, проселками, рошами пронеслся Асаф, потом замелькала череда узких коридоров и наконец он оказался в склепе. Временами я различал его и в самом доме. И повсюду его сопровождал на некотором отдалении Черный Человек — не негр, а существо черное как бы изнутри, темнее самой ночи, с глазами, пылавшими адским пламенем. За прадедом попрыгивали и разные мелкие твари: летучие мыши, крысы, а также гнусные карлики — полулюди-полукрысы. Мои сновидения сопровождались слуховыми галлюцинациями: я слышал сдавленные стоны и плач, как будто мучили ребенка, чей-то омерзительный утробный хохот и монотонно бубнящий голос: «Асаф будет жить. Асаф возродится».

Когда я пробудился с первыми лучами солнца в своей комнате, вырвавшись наконец-то из непривычного кошмара, в моих ушах, могу поклясться, все еще звучал детский плач. Ребенок, казалось, находился в доме. Сон больше не шел, и я долго лежал с широко раскрытыми глазами, размышляя, что принесет мне будущая ночь, и та, что следом за ней, и вереница дальнейших.

С приездом из Бостона польских рабочих я на какое-то время отвлекся и перестал думать о ночных видениях. Поляки выглядели флегматичными, добродушными людьми. Бригадир, коренастый, плотного сложения, — звали Чичерка — довольно бесцеремонно командовал тремя своими товарищами. Те же торопились выполнить любой приказ пятидесятилетнего здоровяка, как бы боясь его гнева. Рабочие обещали архитектору быть только через неделю, но тут, по их словам, сорвалась одна работенка, они и подались сюда. Послали архитектору телеграмму и выехали вслед за ней. У них есть план реконструкции, и они сразу же, не дожидаясь архитектора, примутся за дело...

Перво-наперво строители взялись счищать штукатурку с северной стены — как раз в той комнате, за которой располагался тайник, при этом они старались не повредить опоры, удерживавшие третий этаж. Я стоял и смотрел, как мастеровые аккуратно снимают вслед за штукатуркой

и старую, ручной работы крепежную сетку. Стены в комнате были все в трещинах и с годами напрочь утратили первоначальный цвет. Здесь, как видно, давно никто не жил. В той части дома, где я поселился, стены тоже имели жалкий вид, но, сделав там столько кардинальных преобразований, с косметическим ремонтом я решил повременить.

Немного понаблюдав за ходом работ, я вышел из комнаты. По дому разносился глухой стук, потом он неожиданно прекратился. С минуту помедлив, я снова вернулся в помещение и увидел, как вся четверка сгрудилась у стены и истоиво крестится. Затем, в ужасе отпрянув от стены, они сломя голову бросились из дома. Поравнявшись со мной, побагровевший от волнения Чичерка выкрикнул в мой адрес какое-то несусветное ругательство. Через мгновение их уже и след простыл, а я все стоял в полном остолебенении — слышал, как затарахтел мотор, как отъехала машина, но не в силах был сдвинуться с места.

Наконец, охваченный глубоким смятением, я направился к месту, где поляки только что работали. Рядом со стеной валялись забытые ими при бегстве инструменты. Они уже успели снять изрядный слой штукатурки, обнажив у плинтуса часть стены, сохранившей следы минувших десятилетий. Но только подойдя совсем близко, я увидел то, что так напугало рабочих, и понял, почему в такой панике и страхе бежали они из моего дома.

Ведь в основании стены, за плинтусом, завернутые в пожелтевшую и почти истлевшую бумагу с еле различимыми древними кабалистическими знаками, рядом с гнусными орудиями убийства — короткими кинжалами с ржавыми следами крови — лежали крошечные черепа и скелеты по меньшей мере трех младенцев!

Я не верил своим глазам, однако находка эта подтверждала местные нелепые суеверия, о которых днем назад рассказывал Ахаб Хопкинс. Мысль моя лихорадочно заработала. Известно, что при жизни прадеда исчезали младенцы, а его самого почитали колдуном и магом, приносящим во время своих богохульственных обрядов человеческие жертвоприношения. И вот теперь в стенах дома отыскивались зловещие свидетельства его нечестивых деяний!

Справившись с первоначальным шоком, я сообразил, что мне следует действовать, причем без промедления. Если о черепах проносятся мои богобоязненные соседи, мне несдобровать, это ясно. Не мешкая побежал я за картонной коробкой, а вернувшись, побросал в нее кости и снес в фан-

мильный склеп. Там я ссыпал их в пустую нишу, где когда-то покоились останки Джедседии Пибоди. При этом крошечные черепки рассыпались, к моему облегчению, в прах, теперь, если начнутся поиски, в склепе обнаружат только горсть истлевших костей. Даже эксперт не сможет дать точного заключения. И если поляки напишут архитектору о случившемся, я смогу все отрицать. Кстати сказать, в дальнейшем они никак не проявили себя — видимо, скрыли от архитектора подлинные причины своего бегства, перепугавшись до смерти.

Не дожидаясь, пока уйдут новые рабочие, согласные выполнить все нужные реставрационные работы, я однажды под влиянием неясного инстинкта, отправился в потайную комнату, которую собирался при свете мощного электрического фонарика осмотреть самым тщательным образом. Уже на пороге меня ждало ошеломляющее открытие: после нашего с архитектором визита там кто-то побывал — об этом неопровержимо говорили следы, оставленные таинственным гостем. На пыльном полу виднелись отпечатки босых ног мужчины и кошачьих лап. Но были и более страшные свидетельства. Следы мужчины и кота начинались в искривленном северо-восточном углу, хотя там нельзя было даже выпрямиться. Эта парочка, казалось, прошла сквозь стену и направилась к черному столу, где, собственно, и оставила самые кощунственные приметы своего визита. Идя след в след за таинственными отпечатками, я чуть не натолкнулся на этот самый стол.

Он был весь забрызган какой-то жидкостью. В одном месте, по соседству с темным пятном, оставшимся на пыльной поверхности то ли от лежавшей кошки, то ли просто от небольшого свертка, растеклась мерзкого вида лужа, не более трех дюймов диаметром. Направив на стол фонарик, я пытался понять, как туда могла попасть жидкость, затем перевел луч на потолок, предположив, что он, возможно, прохулился, но тут же вспомнил, что со времени моего предыдущего прихода сюда дождя не было. Обмакнув указательный палец в лужицу, я поднес к нему фонарик. Жидкость оказалась красной, и я мгновенно понял, что это кровь. Как она попала сюда? Об этом я не осмеливался думать.

И все же разные предположения вне всякой логики, одно мрачнее другого, лезли мне в голову. Прихватив с собой несколько книг в кожаных переплетах и рукопись, я заторопился прочь из этой зловещей комнаты и перевел дух.

лишь оказавшись в менее романтической обстановке, где углы были углами, а не таинственными конфигурациями, как бы заимствованными из других, неведомых человечеству измерений. Прижав к груди взятые книги, я поспешно, с тяжелым ощущением невольной вины, прошел в свои покои.

Раскрыв книги, я с ужасом убедился, что знаю их содержание, хотя могу поклясться, что никогда не видел их прежде и даже не слышал в ту пору о существовании таких трудов, как «Молот ведьм» или «О демоническом» Синистрари. Они были посвящены магии и колдовству, в них приводились разные заклинания и магические формулы, рассказывалось, как можно с помощью огня уничтожить ведьм и колдунов, говорилось об их излюбленных способах передвижения... «Прельщенные призрачными видениями демонов, они с легкостью перемещаются в ночном пространстве, путешествуя, как они сами, кстати, свидетельствуют, на некоторых животных... или сами по себе, выходя из помещения через специально предназначенные для этого отверстия. Сам Сатана прельщает во сне ум того, кого избрал, используя для искушения окольные пути... Они берут мазь, изготовленную ими по дьявольскому рецепту на крови убитых младенцев, обмазывают ею стул или постель, а затем, усевшись поудобнее, тут же взмывают ввысь, будь то день или ночь. По своему желанию они могут быть видимыми или невидимыми...» Отложив это чтение, я потянулся за книгой Синистрари.

Здесь подробно говорилось о том, что колдуны и ведьмы должны через определенные промежутки времени совершать ритуальные убийства детей или другие акты кровавого насилия. В переводе с латыни это звучало буквально так: «Они обещают дьяволу совершать в установленное время жертвоприношения; каждые пятнадцать дней или по крайности каждый месяц убивать или отравлять ядом человеческое дитя, а также еженедельно творить какое-нибудь другое зло на погибель рода человеческого, навлекать на людей град, бурю, пожары, падёж скота...» Это чтение пробудило во мне острую, мучительную тревогу, передать которую слова бессильны. Я машинально перебирал остальные книги, среди которых были «Жития

магов» Эввапиуса, «О природе демонов» Анания, «Полет Сатаны» Стампы, «Слово о колдунах» Буже, а также рукопись некоего сочинения Олауса Магнуса в черном переплете из гладкой кожи, в которой я не сразу распознал человеческую.

Само присутствие в доме подобных книг свидетельствовало о повышенном интересе его хозяина к колдовству и магии и во многом объясняло живучесть предрассудков среди местного люда по отношению к моему прадеду. Но кто мог знать об этих книгах? Единицы. Значит, было что-то еще? Что же? Найденные в стене под тайником кости неопровержимо доказывали, что между усадьбой и загадочными исчезновениями детей существует какая-то зловещая связь. Впрочем, кроме меня, о находке никто не знает. Нет, видимо, в жизни прадеда помимо затворничества и скардености было что-то еще, что вызывало у соседей такие страшные предположения. Ключ к этой загадке не найти в потайной комнате, но вот в старых подшивках «Уилбремских ведомостей», хранившихся в публичной библиотеке, он мог и отыскаться.

Полчаса спустя я уже сидел в книгохранилище, листая пожелтевшие от времени страницы. Это занятие могло затянуться, ведь я просматривал газеты без всякой системы, номер за номером, изучая все экземпляры, вышедшие в последние годы жизни моего прадеда. Я мог вообще ничего не найти, хотя некоторую надежду давала менее ревностная в те времена защита прав личности, позволявшая прессе публиковать все подряд, любые сомнительные материалы. Так минул час, а я все еще не встретил ни единого упоминания об Асафе Пибоди, хотя нашел и внимательно прочитал несколько заметок о случаях нападения на людей, чаще детей, в непосредственной близости от усадьбы Пибоди. Потерпевшие единодушно утверждали, что стали жертвой некоего «большого черного зверя», который, по их словам, легко менял свои размеры — «то был величиною с кошку, а то — со льва». Такие заявления объяснялись, конечно же, разыгравшимся воображением жертв, в основном детей до десяти лет, которые сумели убежать от преследователя, отделавшись ранами и укусами. Меньше повезло малышам: за 1905 год несколько младенцев исчезло бесследно. Но имя прадеда никак не связывалось с этими жуткими событиями и вообще не возникало на страницах вплоть до года его кончины.

Только тогда корреспондент «Уилбремских ведомостей» обнародовал местные домыслы об Асафе Пибоди. «Склонился Асаф Пибоди, — писал он. — Его будут долго помнить. Многие приписывали ему способности, коими в давние времена обладали значительно чаще, чем теперь. Известно, что во время знаменитых салемиких процессов был осужден некий Пибоди. И сам Джедедия Пибоди приехал в наши места из Салема, а затем выстроил себе близ Уилбрема дом. Предрассудки очень живучи, и в них обычно отсутствует логика. Со времени кончины Асафа Пибоди больше не видел черного кота, но это всего лишь чистейшей воды совпадение. И уж совсем нелепы слухи, что гроб не открывали для прощания по причине жуткого вида усопшего и необычности погребального ритуала. К слову, до сих пор кумушки уверяют, что колдунов и ведьм следует хоронить лицом вниз и ни в коем случае не переворачивать. В крайнем случае их останки нужно сжечь...»

В такой вот странной манере, с явным подтекстом была написана вся статья. Мне же она открыла, к сожалению, даже больше, чем я предполагал. На кога моего прадеда смотрели как на его помощника в черных делах: существовало ведь поверье, что ведьмы и колдуны имеют в своем распоряжении личных демонов, способных принимать любое обличье. Фермеры, конечно же, склонны были в этом случае видеть демона и в обычном домашнем животном, просто очень привязанном к своему одинокому хозяину и никогда не покидавшем его. В моих снах они, кстати, тоже были неразлучны. Несравненно больше насторожили меня слова, относящиеся к особенностям погребения прадеда. Уж кто-кто, а я-то знал, что Асафа Пибоди действительно похоронили лицом вниз. И более того — знал, что теперь он против всех правил перевернут навзничь. Я всерьез начал подозревать, что кроме меня в доме живет еще кто-то, он проникает в мои сны, бродит по окрестностям, летает!

В эту ночь мне снова привиделись сны, сопровождаемые громкими слуховыми эффектами, как если бы на меня изливалась какофония звуков из других миров. В них вновь явился ко мне прадед, творя опять какое-то зло, но в этот раз его хвостатый компаньон порой останавливался и смотрел на меня с торжествующей злобной издевкой. Я видел, как старец в конусообразной шляпе и длинном черном балахоне, показавшись со стороны леса и войдя в незнакомый мне дом через стену, очутился сразу в темной пустой комнате с черным алтарем, перед которым дожидался жертвоприношения Черный Человек. Зрелище было тяжким, но согласно тайным законам сна я был обязан смотреть на это дьявольское деяние. В другом сне я снова увидел прадеда, кота и Черного Человека, на этот раз далеко от Хилбрема, в густом лесу; они стояли среди толпы, собравшейся перед воздвигнутым на поляне алтарем, чтобы отслужить Черную Мессу, а затем предаться диким оргиям. Эти видения были достаточно четкими, но другие казались вырванными из бездонной сумеречной пропасти, полной непривычных цветовых сочетаний и звуковых диссонансов. Земное тяготение, видимо, отсутствовало в этих никому не ведомых мирах, а я обретал там несвойственные мне наивысшие измерения. Так, я внимал леденящим кровь песнопениям Черного Человека, предсмертным крикам погибающего ребенка, нестройным звукам свирели, извращенным молитвам странной паствы, животным воплям участников оргии. Всё это отчетливо звучало в моих ушах, хотя сами картины я мог и не видеть. Иногда в мои сны вторгались обрывки разговоров или отдельные фразы, производившие на меня крайне тягостное впечатление; несмотря на всю бессмысленность, они тоской ложились на сердце.

— Изберем его?

— Он именно тот, кто нам нужен.

— Потомок Джедедний, потомок Асафа, опекаемых Балором.

— Он должен предстать перед Книгой.

Иногда в этих причудливых фантазмагориях я видел и себя. Особенно запомнился мне сон, где прадед и кот поочередно подводили меня к огромной черной книге, в которой кровью начертанные подписи горели огнем. Я тоже должен был расписаться. Прадед крикнул Балора, который

расцарапал мне руку и, пританцовывая, обмакнул перо в кровь. Когда я писал свое имя, прадед направлял мою руку. Меня очень разволновала поутру связь сна с реальностью. Дело в том, что в моем сне трона к шабашу нечестивцев пролегалла через болото, мы шли по заросшим осокой склизким кочкам, а то и дело остувался в мерзкую жижу, а вот прадед и кот ни разу не остунились, они словно скользили над болотом.

Утром я проснулся позже обычного и сразу заметил на своих еще вечером чистых ботинках ошметки высохшей черной грязи! Как ошпаренный прыгнув с кровати, я пошел по следам, оставленным грязными подошвами, которые по коридору и лестнице привели меня в потайную комнату третьего этажа. Заканчивались они, конечно же, в треклятом углу. Я стоял и смотрел, не веря своим глазам. Невероятно, но все обстояло именно так. Свежий порез на руке говорил, что ночные события происходили на самом деле.

Когда я покидал комнату, меня прямо-таки качало, голова кружилась. Так вот почему отец мой с такой неприязнью принял идею продажи поместья. Родители, видимо, слышали граем уха о творящейся здесь чертовщине от деда, который, наверное, и похоронил своего отца вниз лицом. И хотя они с большим сомнением и толчкой презрения относились к такого рода предрассудкам, все же у них хватило рассудительности не рисковать и не бросать открыто вызов таинственным силам. Можно было понять и жильцов, не желающих здесь жить и бегущих отсюда как от чумы. Дом стал средоточием неподвластных человеку сил, и я понимал, что в меня тоже проникла зараза, пропитавшая весь особняк. В каком-то смысле меня можно было считать узником дома и его зловещей истории.

Мне оставалось только попытаться отыскать разгадку тайны в дневнике прадеда. Забыв о завтраке, я поспешил открыть тетрадь. Записи, сделанные рукой моего прадеда, чередовались в дневнике с вырезками из писем, газет, журналов и даже книг, относящихся к интересующему его вопросу. Казавшиеся на первый взгляд не связанными друг с другом, эти вырезки рассказывали о разных непостижимых явлениях. Как я уразумел, прадед считал их делом рук колдунов. Его собственные записи встречались редко, однако были весьма многозначительны.

«Всё идет как предполагал. Плоть Дж. восстанавливается необычно быстро. Так и должно быть согласно маги-

ческим заповедям. Стоит перевернуть, и всё начинается снова. Возвращается демон-слуга, и с каждой новой жертвой прибавляется плоть. Бессмысленно переворачивать его вновь. Единственный выход — предать огню!»

И еще:

«В доме кто-то есть. Кот? Вижу его, но не могу поймать».

«Это действительно черный кот. Откуда он мог взяться? Тревожные сны. Дважды присутствовал на Черной Мессе».

«Видел во сне кота. Он подвел меня к Черной Книге. Подписал».

«Во сне ко мне явился демон по кличке Балор. Красивый юноша. Объяснил мою зависимость».

И почти вслед за этим:

«Сегодня ко мне приходил Балор. Ни за что не узнал бы его. В виде кота он тоже очень красив. Спросил его, не в этом ли обличье он служил Дж. Он подтвердил. Показал мне место, где стены образуют странный многомерный угол — путь наружу. Его сконструировал Дж. Научил, как выходить через него».

Больше я не мог читать. И этого было больше чем достаточно. Теперь я знал, что случилось с останками Джедедний Пибоди. И знал, что мне следует делать. Мучимый страхом, я все же, не откладывая, направился прямо к фамильному склепу и, войдя в него, заставил себя подойти к гробу прадеда. И, увы, только теперь заметил под именем Асафа Пибоди бронзовую табличку с выгравированными словами: «Да падет проклятье на того, кто потревожит его сон!»

Я поднял крышку гроба.

Несмотря на то, что ничего другого я не предполагал увидеть, кровь застыла в моих жилах. Всё изменилось. Раньше здесь были только припорошенные пылью скелет и лохмотья одежды. Теперь же скелет прадеда стал вновь обрастать плотью, понемногу обретаемой с того момента, когда я бездумно послужил Злу, перевернув прах. Но был и другой источник жуткого перерождения покойника, он лежал тут же в гробу — высохший, сморщенный трупик, и хотя младенца похитили менее десяти дней назад, у него был вид выпотрошенной и набальзамированной мумии!

Я выскочил из склепа как ошпаренный, но только для того, чтобы заняться устройством погребального костра. Работал в неступлении, торопился сколь мог, опасаясь, как бы кто-нибудь не заметил; впрочем, опасения мои были

излишни — местные жители за версту обходили поместье. Затем я из последних сил выволок гроб Асафа Пибоди с его дьявольским содержимым, точно так же как за десятилетия до этого сам Асаф ташил гроб Джедедний! А потом стоял у костра, неотрывно глядя, как огонь расправляется с гробом, и только один слыша истошный, полный муки и ярости вопль, уносимый пламенем ввысь.

Угли погребального костра тлели всю ночь, яркое пятно было хорошо видно из моего окна.

Внутри же дома меня ждало нечто другое. Черный кот подошел к порогу моей комнаты и застыл, выжидательно, плотоядно на меня косясь.

И тут я вспомнил тропу через болото, засохшую глину на ботинках, грязные следы, вспомнил и не зажившую еще царапину на запястье, и Черную Книгу, в которой расписался так же, как и Асаф Пибоди.

Повернувшись к еле различимому в полумраке коту, я тихо позвал его: «Балор!»

Он приблизился и уселся уже на самом пороге.

Вынув из ящика стола пистолет, я тщательно прицелился и выстрелил.

Кот по-прежнему пристально смотрел на меня. Даже ухом не повел.

Балор. Один из младших демонов.

Значит, вот оно — настоящее наследство Пибоди! Дом, земля, лес — всё это только прикрытие, за которым прячутся потайная комната, угол, ведущий в иное измерение, тропа через болото к месту шабаша, росписи в Черной Книге.

Кто же, подумал я, перевернет меня после моей смерти?

Большинство людей не живет, но пребывает в довольно неустойчивом равновесии между гипотетической жизнью и вероятной смертью и, даже понимая это, предпочитает подобное состояние, потому что всегда лучше обосновать принципиальную безответность волнующего вопроса, нежели разбить голову об него. Такая позиция очень правильна, несмотря на противоположное мнение сторонников сумасшедшей романтической определенности и ударной нравственности героизма. Очень иллюстративна в этом плане судьба Бэзила Элтона из рассказа-притчи «Белый корабль». Рассказ напевно-наивен и прозрачно-символичен, но сквозь его спокойную сказочную гладь хорошо видны подводные рифы постоянного размышления Лавкрафта.

Молодой Бэзил Элтон и его спутник — «бородатый старик» — отправляются в довольно ирреальное плавание, в туманный и фосфоресцирующий океан. Минуя страну Зар, где живут сны и мысли несравненной, ныне забытой красоты, они попадают к берегам Талариона — города, в котором хранятся тайны, издревле терзающие человека, города, чьи улицы белы от непогребенных костей. Далее на пути лежит Ксура — «страна недостижимых наслаждений», но путешественников отпугивает ужасающий запах зараженных чумой селений и раскрытых могил, и они продолжают вояж вплоть до Сона-Нил — «страны грез», средоточия мыслимых и немислимых человеческих упований, страны счастливого бессмертия. Обычное, казалось бы, инициатическое путешествие, сотни раз отраженное в сказках и эпических повествованиях. Но вот в чем горечь новизны: максимализм достигнутой цели никогда не может сравниться с максимализмом познавательных амбиций — Бэзил Элтон, вопреки совету своего мудрого спутника, продолжает вести белый корабль, надеясь достигнуть Катурии — чудесной страны абсолютных платонических идеалов. Корабль преследует странную золотисто-голубую птицу, которая, как полагает герой, летит в эту страну. Впереди встают черные базальтовые скалы ошеломительной высоты, но когда корабль пытается уйти от этих сомнительно-идеальных бере-

гов, его подхватывает прибой и бросает на скалы. Корабль исчезает, и на рассвете остается только труп золотисто-голубой птицы Катурии — мифической цели спиритуального поиска — не существует. Герой совершенно напрасно покинул Сона-Нил — «страну грез».

Лавкрафт любил называть себя «механистическим материалистом», всегда был противником мистического иллюзионизма и романтики бесплодного героического порыва. Такой человек должен был полностью отринуть главный принцип сказки или когерентного идеализма — качественную многоликость пространственно-временной вариации человеческого бытия — и необходимо присоединиться к поклонникам научного прогресса и прагматического жизнедействия. Почему же он стал равнодушным врагом технического здравомыслия, создателем гротескной мифологии, мрачным исследователем сверхъестественных бездн? На такой вопрос найдется немало относительно верных ответов. Прежде всего надо акцентировать необычайную разветвленность его интересов и прихотливую гибкость его художественного дарования.

Хоуард Филипп Лавкрафт (1890—1937) родился в городе Провиденсе (Новая Англия, Массачусетс), начал сочинять сразу и стихи в самом нежном возрасте, а с двенадцатитринадцати лет — публиковать статьи по химии, географии и астрономии в любительских, тиражированных на гектографе изданиях. Лавкрафт — классический пример посмертной литературной славы: при жизни он был обречен публиковаться в любительских журнальчиках и дешевых еженедельниках — исключение составляет лишь знаменитый периодический сборник «Зловещие рассказы», в котором начинали почти все в будущем известные мастера хоррора. Лавкрафт не отличался практичностью и никогда не пытался «выгодно пристроить» свои произведения. Но дело даже не только в этом: в двадцатые, тридцатые годы жанр страшного рассказа в частности и литература «беспокойного присутствия» вообще далеко не пользовались уважением в среде ценителей и критиков. Всё это считалось второсортной беллетристикой и развлекательным чтением. Более того, любой писатель, который продолжал упорствовать в художественных поисках такого рода, объявлялся эпигоном Эдгара По, и, естественно, с его литературной репутацией было все ясно. Только через тридцать-сорок лет после смерти Лавкрафта положение изменилось.

Бедный Лавкрафт! Чего он только не наслушался при жизни и чего о нем только не писали! Его обвиняли в дилетантизме, в бездарности, в потворствовании алчному любопытству толпы, в поисках драстического эффекта любой ценой и т.д. «На него повлияли столь многие авторы, что зачастую трудно определить, где Лавкрафт, а где полу-осознанное воспоминание о прочитанных книгах. Некоторым писателям он особенно обязан, например По, Мэчену, Стокеру, Э. Т. А. Гофману, Уэллсу, Давсену» (Питер Пен-дальт). Хотя из таких цитат можно составить недурных размеров сборник, их количество отнюдь не подтверждает их справедливости. Вообще говоря, упреки в подражательности или механическое зачисление автора в какую-либо литературную школу не заслуживают доверия, а, скорее, обнаруживают очевидное нежелание критика более внимательно разобраться в художественном материале. Строго рассуждая, не может быть никакого подражания (разве что в случае пародии или сознательного плагиата), а литературные школы существуют только в учебниках. Каждый писатель являет собой определенный энергетический центр с тем или иным радиусом действия, с тем или иным зарядом суггестии. Изменение роли языковой знаковой системы, принципиальная катастрофа идеологического наставления, семантическая коррозия высоких субстантивов — всё это серьезно трансформировало значение и сущность писательского бытия в современную эпоху. Писатель уже не провидец или учитель, его сообщение потеряло этическую напряженность, он остался лишь человеком среди людей, и его мастерство теперь не хуже и не лучше всякого другого. Поэтому для нас остается несущественным вопрос, кто и каким образом повлиял на заинтересовавшего нас автора, а также нравится ли литературоведам или нет; если автор отличается сюжетной изобретательностью, оригинальностью экзистенциальной позиции, если мы не в силах сорваться с крючка его вербального гипноза... нам, в сущности, все равно, хорошо он пишет или плохо. Это случай Говарда Филлипса Лавкрафта.

* * *

Испытывать ужас перед кем-то или чем-то свойственно каждому, испытывать беспричинный ужас — особенность тонких, чувствительных субъектов, но признать ужас главной и определяющей константой бытия — на это способны немногие, и Лавкрафт один из таких немногих. Психическая конституция, характер, специфический жизненный опыт могут, разумеется, способствовать трагическому мироощущению, но для универсализации понятия «ужас» необходимо глубокое метафизическое основание, которое Лавкрафт напел в современной научной картине мироздания. Всем нам известно, что земля — пылинки в беспредельном космосе, что жизнь человеческая менее чем ничто, и однако это никому не мешает строить дома и планы, воспитывать детей, делать карьеру или беспрерывно размышлять о лучшем будущем. Что нас спасает от безумия, самоубийства или духовной пульверизации? Инерция, или рутина, или прирожденная глупость? Нет. Согласно Лавкрафту, страх закрывает нам глаза и уши спасительной пеленой иллюзии: мы не слышим вой космического хаоса, не видим чудовищ, повелевающих временем и пространством, материей и энергией, не ощущаем на плечах гибельной тяжести «фогра» — черного двойника, что неустанно побуждает нас отвергнуть банальность скучных дней человеческих, смелее толкнуть дверь смерти и раскрыть глаза на роскошь невообразимых гиперпространственных пейзажей. Но Лавкрафт один из провозвестников нового положения дел: благотельная иллюзия рассеивается, мифо-религиозная трактовка бытия утрачивает свою защитную функциональность. «Страх» и «ужас» приобретают новую характеристику: они теряют свойство неожиданности и преходящести и создают чувство перманентной относительности и тревожной готовности ко всему — именно в таком психологическом климате находятся герои повестей и рассказов американского «индифферентиста». Здесь нет гармонии в смысле периодической смены настроений и переживаний, потому что нет противостояния мажора и минора. Счастье, радость, блаженство, покой не обозначают ничего специально позитивного, это просто синонимы случайной передышки и релаксации. Консонанс здесь — только минутная инерция диссонанса, начало пути кажется светлым только в сравнении со все возрастающей тьмой. В письмах и статьях Лав-

крафт многократно объясняет свою эстетическую позицию, и, несмотря на некоторую манерность выражения, его пассажи звучат вполне искренне: «Я не хочу описывать жизнь ординарных людей, поскольку это меня не интересует, а без интереса нет искусства. Человеческие взаимоотношения никогда не стимулировали мою фантазию. Ситуация человека в космической неизвестности — вот что рождает во мне искру творческого воображения. Я не способен на гуманоцентрическую позу, так как лишен примитивной близорукости, позволяющей различать только данную конкретность мира... Проследить отдаленное в близлежащем, вечное в эфемерном, беспредельное в предельном — для меня это единственно важно и всегда увлекательно». Такого рода фразы можно прочесть практически у каждого значительного писателя или эссеиста двадцатого века, такого рода направление мысли означает следующее: традиционно говорить о «герое» или «персонаже» литературного произведения уже нельзя, поскольку в тексте присутствует не герой, но неопределенная сумма вероятностных качеств, мимолетный фокус пересечения полярных экзистенциалов, случайный центр психологических притяжений и отталкиваний, константа энергетического состояния группы и т.д. Человек рассеян и разбросан в протяженности повествования, идентификация проблематична: след голый ступни на песке, судорожно сплетенные пальцы, вкрадчивый шепот, равномерный гул механизма, клекот воображаемых птиц, раскрытые губы, раскрытая могила — в месиве «непосредственных данных восприятия» едва заметен антропоцентрический ориентир. Человек Пруста не имеет ничего общего с человеком Бальзака, герой Лавкрафта несравним с героем Эдгара По, следовательно, нет преемственности и тем более подражания. Если жизнь лишена смысла, ценности и цели, уместно задать элементарный вопрос: чем эта так называемая жизнь отличается от смерти? Ответ Лавкрафта сразу ставит его вне традиции не только По, но и тех писателей фантастического жанра, которые, как считает американская критика, серьезно на него повлияли: имеются в виду лорд Дансени, Артур Мэчен, Ф. М. Кроуфорд. Этот ответ формулируется приблизительно так. «Жизнь» и «смерть» — две звезды в бездонных галактических россыпях: жизнь только частный случай смерти и наоборот. Данные понятия, вполне пригодные в этике и эстетике, неприменимы для характеристики сложных до хаотичности космических про-

цессов. Но Лавкрафт, вероятно, никогда не стал бы «литературным Коперником» (выражение Ф. Лейбера), если бы не сумел экстраполировать свой «космоцентризм» на вселенную восторженного, на самую проблематичную область гадательного человеческого знания.

* * *

Огаст Дерлет — друг и биограф — писал: «Лавкрафт так никогда и не смог искупить первородный грех романтизма». Действительно, несмотря на свои многократные утверждения о ложности романтических идеалов и о безусловном приоритете материалистического постулата, Лавкрафт создал слишком много чисто романтических историй, чтобы можно было ему поверить всерьез. Однако можно расценивать эти истории как попытки преодоления позитивной романтической тональности. Традиционный романтизм раздражал Лавкрафта по двум причинам: во-первых, ему была чужда мифо-религиозная трактовка человека и вселенной, что, по его мнению, непростительно сужало иррациональный горизонт бытия; во-вторых, он не мог допустить принципа иерархии, составляющего основу платонической или иудео-христианской тезы. Он считал, что идеи добра, справедливости и красоты — просто наивные грезы человеческого детства. В прозрачных лабиринтах пространства, в прихотливом пересечении временных протяженностей не может быть никакого приоритета одной формации над другой, никакой иерархии как необходимого условия перехода от низшего состояния к высшему. При этом Лавкрафта нельзя назвать нигилистом или пессимистом, поскольку подобные воззрения предполагают наличие в некоем прошлом целого, которое ныне распадается. Понятие целого в свою очередь подразумевает сумму каких-то частей, связанных единым центром. Связующий центр делает один объект пейзажем, другой — мелодией, третий — философской системой, но что это за центр и где он расположен, определить невозможно. Невозможно даже точно сказать, образует ли гипотетическое «нечто» какое-то «целое» или это «нечто» есть случайный результат взаимодействия составляющих. Крыло, клюв и полет могут сочетаться в общем понятии «птица», но могут создать и любое другое понятие. Реальность приобретает дина-

мичный и бесконечно вероятностный характер хаотических всполохов и турбуленций, которые, будучи неожиданно организованы каким-либо блуждающим центром, могут на какое-то время создать иллюзию инвариантной системы. Нелепо придавать значение этой иллюзии, потому что «...следующий космос равнодушно скалит зубы из ничто в ничто, из нечего снова в ничто, не обращая внимания или вообще игнорируя существование так называемых разумных существ, которые на секунду-другую вспыхивают в темноте» («Серебряный ключ»).

Механизмизм в понимании Лавкрафта означает безусловный приоритет свободной комбинаторики над любой «предустановленной гармонией». Это не Лавкрафт придумал, и здесь он далеко не одинок: подобные соображения высказывались практически всеми теоретиками авангардного искусства начала века. Немецкий философ Вальтер Ратенау писал: «Механизм — это система децентрализованная. Во всякий момент всякая деталь механизма может стать его центром» (Цит. по: Kirkinen H. Les origines de la conception moderne de l'homme-machine, 1960, p. 100). Фразы аналогичного смысла можно без труда найти в текстах Маринетти, Кандинского, Шёнберга. Но если они использовали данную концепцию для теории новой поэзии, живописи и музыки, то Лавкрафт — для обоснования «механистического тотального иррационализма» вообще. Здесь вдохновение и воображение вытесняются принципом самодовлеющей фантазии. Вдохновение как частный случай мистической аберрации не может приниматься всерьез. Воображение допускает некоторую свободу колебания реалистических доминант, но никогда не ставит под сомнение существование оных. Фантазия утверждает полную и свободную неопределенность, взаимопроникаемость и текучесть макро- и микрокосмоса, то есть любых данных материального, психического и ментального мира. Отсюда явное или скрытое отрицание любых противоположностей: жизнь и смерть, добро и зло, материя и дух освобождаются от дихотомического фатума и превращаются в компоненты сколь угодно сложной, но отнюдь не противоречивой реальности. Человек становится объектом среди объектов, и Лавкрафт охотно обозначает его как „thing“ или „entity“ (объект, вещь, креатура, единство), поскольку подобные слова ничего специально конкретного не выражают. Здесь нет никакого романтического высокомерия, а просто, как полагает Лав-

крафт, трезвая оценка положения человека в космосе. Но между теоретическим космоцентризмом и практическим антропоцентризмом всегда рождается грозная атмосфера, очень благоприятная для блеска художественного эффекта, ибо ни один человек и никогда, при всей любви к свободе и равенству, не признаёт себя ничтожным густком материи, а всегда заявит, хотя бы самому себе, что он неизмеримо выше блох, пауков и жаб, а может быть, и многих других людей. Художественный эффект заключается в том, что человек, выброшенный из воображаемого центра в бесконечную периферию реальных кошмаров, продолжает гештальт себя этой стерильной иллюзией.

Несмотря на свои научные пристрастия, Лавкрафт всегда оставался поэтом и писателем: нельзя сказать, что его «сформировало» новое научное мировоззрение, скорее, оно хорошо вошло в его общую духовную ситуацию. Он терпеть не мог своей эпохи, ненавидел «американский образ жизни», относился к техническому прогрессу более чем холодно. Он был аутсайдером под стать Эдгару По, только не разделял романтико-мистических взглядов мэтра. Он вообще не приходил в восторг от своих предшественников, о чем свидетельствует очень скучное, длинное и вялое эссе под названием «Сверхъестественный ужас в литературе», которое более напоминает обстоятельный каталог прочитанных книг, нежели критический обзор. Поэтому говорить о каких-либо серьезных влияниях на этого новатора нельзя, и по меньшей мере странно звучит мнение Огаста Дерлета, что, например, рассказ «Аутсайдер» мог написать Эдгар По. Даже нижеследующая короткая цитата демонстрирует совершенно противоположное: «...это был конгломерат всего, что можно назвать нечистым, неприятным, пугающим, отталкивающим, аномальным и ненавистным в прискорбной стадии ущербности, дряхлости и диссоциации — гниющий зйдолон зловонного разложения, мерзкая откровенность, обычно скрываемая милостивой землей» («Аутсайдер»). Эта типичная для Лавкрафта манера письма всегда раздражала критиков. Его всегда упрекали в небрежности, в многословии, в тщетных поисках нужного и точного эпитета. Это, возможно, справедливо, если сравнивать его с классиками девятнадцатого века, но не имеет никакого смысла проводить подобное сравнение, так как Лавкрафт не только писатель, утвердивший сугубую самостоятельность жанра литературы «ужаса сверхъестественного присутствия», но и мыслитель, создавший вполне оригиналь-

ную онтологическую систему. Говорить о точности эпитета допустимо только в том случае, если какой-либо автор, считая, что язык необходимо должен отражать «окружающую действительность», упорствует в создании своих вербальных фотографий. У Лавкрафта языковая система ничего не может отражать, более того, функционирование его пейзажей, объектов и креатур возможно только в непредсказуемых контактах этой системы с более чем проблематичной реальностью. Он фанатичный исследователь сверхъестественного аутсайда, и для него доступная органам чувств позитивная действительность лишь незначительный эпизод в зловещей материальной и психологической безграничности аутсайда. Он денди этического релятивизма, меломан, предпочитающий бетховенской симфонии вой космического хаоса, спелеолог inferнальных подземелий, математик, созерцающий внегеометрическую просеку иной цивилизации, он — последователь какого-то невероятного материализма — способен видеть фосфоресцирующие глаза гоула на будничной физиономии торгового агента, а также оценивать, каким образом эманация, исходящая от похороненного в подвале вампира, сводит с ума и убивает обитателей «заброшенного дома». Его поиск не прекращается ни на минуту, и когда персонаж проходит сквозь явь, сон, галлюциноз, он идет за ним в неведомые области, доступные только вербальной фиксации. Отсюда беспрерывная агрессия эпитетов, разъедающая субстантив, расплывчатость времени и места действия, частые многоточия и фигуры умолчания, сложная неопределенность описаний, в просторечии именуемая небрежностью.

Постоянное употребление безличных предложений, запутанных фонологических комплексов, бессодержательных или многозначных существительных характеризует стиль Лавкрафта, и это понятно: фантастический континуум не имеет никакой стабильности, никаких осей координат, а поэтому законы его гибельной активности и способы его функционирования в нашем мире должны беспрерывно изобретаться. Однако если трудно сказать что-либо вразумительное о параметрах фантастической вселенной, то гораздо легче определить психологический тип, наиболее подверженный ее влиянию. (Кстати говоря, число людей этого типа все время растет, о чем свидетельствует популярность интересующего нас жанра беллетристики.) Это интроверты и неудачники, мечтатели и скептики, мономаны неконвенциональной доктрины и страстные искатели чудесного, иронические абсурдисты и патриоты

гипотетического прошлого — словом, все те, кто нарушил молчаливую взаимодоговоренность — главное условие существования человеческой группы. Они, а также многочисленные им подобные индивиды обладают тайной энергетикой автодеструкции, которая открывает их влиянием фантастического континуума, ломает психологические компромиссы, искушает интеллект миражом уникального и чудовищного эксперимента. В них расширяется смерть, то есть трансформирующаяся активность аутсайда. Смерть ни в коей мере не представляется Лавкрафту оппозицией жизни или окончанием оной, а только частичным или радикальным изменением экзистенции. Отрывая человека от среды обитания, от фиктивной централизации — интеллекта, памяти, эмоциональности, — смерть освобождает его от этической и эстетической цензуры и позволяет стать самим собой — существом принципиально жестоким, равнодушным и агрессивным, ибо таковы законы неизмеримых бездн времени и пространства. С одной оговоркой: они кажутся таковыми дихотомически ориентированному интеллекту, не умеющему расковать структуру объекта и почувствовать колоритную напряженность смысловых и эмоциональных обертонов. Вторжение «неизвестного» всегда сопровождается атмосферой чуждой эмоциональности, психологическим ударом, ломающим неустойчивое равновесие между объектом и воспринимающим индивидом, которое обуславливает иллюзию гармонии, красоты и справедливости. Наша способность к адаптации основывается на аксиоме тождества: мы предполагаем, что в каждый следующий момент объект сохранит свои предыдущие параметры. Когда этого не происходит, когда магическая координата «неизвестного» искажает знакомую систему, мы ощущаем недоверие и страх и мучительно пытаемся «узнать объект»: «...о господи, эта гримаса, это подобие лица, эти красные глаза, мерцающие из курчавых, спутанных волос альбиноса, этот срезанный подбородок... это Уотли? Нет. Креатура, напоминающая стоногую паука, и все же... подобие человеческого лица среди бесчисленных мохнатых лап... Уотли?» («Ужас Данвича»).

Почему вообще возможен столь гротескный вариант Уотли? Очевидно, в глубине человеческого существа кроется «нечто», способное реагировать на магический континуум «неизвестного». Чтение Лавкрафта не оставляет сомнений касательно характера воздействия этого «нечто». Сознание обладает сведениями о чем угодно, даже о глубинах подсознания, но никакие его зонды не в силах достигнуть тайной

доминанты бытия. Роберт Фладд — знаменитый астролог и каббалист семнадцатого века — определил это как «черный, невидимый центр микрокосмического эллипса» (Fludd R. *Philosophia mosaica*, 1638, p. 11). Лавкрафт вслед за своим соотечественником Чарльзом Фортон назвал тайную доминанту бытия — «ло». Всякая вещь, всякое живое существо несет в себе «ло», но его разрушительная активность (а действие «ло» всегда разрушительно) проявляется только в контакте с магическим континуумом. «Ло» превращает Джо Слейтера в дегенерата и убийцу, но в то же время делает его медиумом «солнечного брата» («По ту сторону сна»). Точно так же «ло» постепенно уничтожает человеческую персональность героя «Тени над Инсмутом» и обнажает его чудовищное амфибическое «я». Иногда, по непонятным причинам, некоторые предметы, пейзажи и звуки могут пробудить активность «ло». Трудно даже представить себе, что один вид осязаемого и доступного измерению предмета может так потрясти человека: судя по всему, живет в некоторых очертаниях и объектах тайная повелительность символики, которая, искажая перспективу чуткого наблюдателя, рождает в нем дедяное предчувствие темных космических отношений и смутных реальностей, скрытых за обычной защитной иллюзией («Судьба Чарльза Декстера Уорда»). Недурное подтверждение этой мысли — рассказ «Артур Джермин». И практически в любом произведении Лавкрафта проходит след страшной «тайной доминанты».

Теория «ло» очень помогла этому парадоксальному мыслителю в его борьбе с антропоцентризмом. В самом деле: если в психосоматическом комплексе присутствует потенциальная возможность его уничтожения и радикальной трансформации, следовательно, и речи быть не может о каком-то централизованном единстве. Слово «человек» может обозначать либо стадию метаморфозы данного комплекса, либо пустоту, конфигурацию которой образована всем, что не имеет человеческих признаков и свойств. Человек является открытой системой, и, таким образом, гуманитарные понятия ценности развития и совершенства как минимум теряют традиционный смысл. Более того, только философская трактовка открытой системы дала рождение науке и прогрессу в современном понимании. Как обстояло дело до Галилея и Декарта, в данном случае роли не играет, поскольку ничего убедительного на эту тему сказать нельзя. Открытость системы обусловлена страхом и вызывает страх (у Хайдеггера есть ана-

логичная идея: сам факт «бытия в мире» уже вызывает чувство страха (Sein und Zeit, § 40). В принципе, «человек децентрализованный» всегда живет в климате «беспокойного присутствия», но большинство людей притупляют или обманывают экзистенциальный страх с помощью своих банальных наркотиков — любви, денег, честолюбия. Для тех, кого Лавкрафт удостаивает своим вниманием, подобной панацеи не существует: иррациональное «ло» парализует всякий натуральный интерес и превращает их в жертвы магического континуума или в фанатических исследователей аутсайда. Поначалу они еще считают себя пионерами познания, открывателями новых горизонтов, но постепенно эта утешительная мысль рассеивается: слишком уж ощутимо становится влияние чьей-то враждебной воли, которая медленно и верно делает из властителя эксперимента материал для другого эксперимента. Сомнение в существовании собственного «я» не дает им возможности персонифицировать враждебную волю — они чувствуют себя во власти смутных сил, энергий, магнитных полей, суггестий аутсайда. Иногда им удается узнать имя могущественного инициатора, но через некоторое время его конкретизация снова распадается в различных энергетических модификациях. И сознание истощается, изолируясь в изобретении решений бесчисленных и фантазмальных: «Во тьме, возможно, таятся разумные сущности и, возможно, таятся сущности вне пределов всякого разумения. Это не ведьмы или колдуны, не призраки или гоблины, когда-то пугавшие примитивную цивилизацию, но сущности бесконечно более могущественные» («Тень из бездны пространства»). Втянутые в игру неведомых трансформаций, признающие «хаос» последним словом человеческой мудрости, герои Лавкрафта сходят с ума, гибнут в подземных и надзвездных лабиринтах. Распоротые острыми слоями гиперпространства, заброшенные в сновидения монстров, вырванные из собственного тела зубами гоулов, запутанные в мохнатых, липких, желеобразных лесах полиморфных биоманифестаций, они грезят о роскошном небытии атеистов, ибо знают, что их собственная смерть не сулит им ничего, кроме очередного кошмара. Конец текста всегда фиктивен, ибо авантюра героя не прерывается никогда. Гибель Герберта Уэста — лишь финал карьеры талантливого медика и начало новой жизни в качестве пациента среди оживленных им трупов («Герберт Уэст — воскреситель мертвых»). И когда доктор Жан-Франсуа Шарьер после гениальных своих опытов с вытяжками

из спинного мозга крокодилов превратился, так сказать, в антропоморфно-рептильный этюд творения («...короткий чешуйчатый хвост, дерзко торчащий из основания позвоночника, уродливо удлиненную крокодилию челюсть, где все еще произрастал клочок волос, напоминающий козлиную бородку...»), читатель может быть спокоен: главные метаморфозы гения еще впереди («Потомок»). Необъятный звездный космос — только химера телескопа, материк — только плавающий островок, человек — только „thing“...

* * *

Теории Лавкрафта, набросанные в статьях и обширной корреспонденции, не составляют сколько-нибудь законченной системы — он, разумеется, чувствовал, что его прихотливое и парадоксальное мышление никогда не примирится с теоретическим схематизмом. Лишь в свободном художественном тексте, могли, не особенно стесняя друг друга, соединиться несколько составляющих единого Лавкрафта персон: великолепный научный эрудит, замечательный рассказчик, механистический материалист, поэт, мифотворец.

Лавкрафт никогда не верил в оккультные феномены, точнее говоря, в «оккультность» феноменов, и философские постулаты оккультизма были ему полностью чужды. Иерархия инфернальная, земная и небесная, конфронтация бога и дьявола, трансцендентный выход за пределы видимого мира, посвящение, обретение неслыханных способностей и возможностей — все это, по его мнению, только наивные антропоцентрические грезы. Да и как иначе мог рассуждать человек, для которого «всякая религия — только детское и нелепое восхваление вечного томительного зова в беспредельной и ультимативной пустоте». Если нет всеобщей органической идеи, связующей все сущее, стало быть, можно рассуждать в лучшем случае о связях локальных — вспыхивающих и затухающих. Если нет всеобщей органической идеи, значит, любая композиция возникает стохастически и ее компоненты связаны меж собой неожиданно и насильственно. Предположение о наличии постоянного центра, о свободном соединении компонентов ведет к бесчисленным метафизическим понсенсам, к религии и мистицизму.

Каковы же более серьезные доводы против религиозного миропонимания, кроме того, что это суть «детская игра»?

Они совершенно понятны из вышеизложенного. Остается только добавить, что Лавкрафта особенно не устраивал тезис Фомы Аквинского о «модусе непричастности» человека ко всему окружающему. Модус непричастности санкционировал теорию микрокосма, утверждающую возможность самостоятельного развития человека независимо от космических тенденций. Лавкрафт весьма интересовался гипотезами о структуре микрокосма, поскольку эти гипотезы относятся также к ситуации человека в сфере потустороннего. Мы позволим себе чуть-чуть задержаться на данной проблеме. Прежде всего, человек не являет собой микрокосм, а лишь его зародыш, погибающий, как правило, без тайной божественной помощи, которая тоже недостаточна — необходима напряженная внутренняя работа. Структура микрокосма такова: тело славы, свободный звездный двойник (астральное тело), квинтэссенциальный андрогин, лунарий (тело сновидений), физическое тело, пассивное тело (тело смерти). Эту схему дал Джанбатиста делла Порта. Лавкрафт вполне мог ее знать, поскольку имя итальянского мистического философа несколько раз встречается в его текстах. (Парацельс, Беме и Гихтель предлагают иные, но не принципиально отличные варианты). Несмотря на распространенное мнение, микрокосм ни в коем случае не «зеркальное повторение макрокосма», а система, тотально враждебная вселенной, доступной восприятию. Но в данном случае нас интересует интерпретация Лавкрафта. Как выдающийся пропагандист «сверхъестественного присутствия», он очень и очень недурно знал мистическую традицию — по крайней мере он поместил в библиотеку университета Мискатоник чрезвычайно редкие книги на эту тему (чего стоит один «путеводитель в страну мертвых» — «Некрономикон» сумасшедшего араба Абдула Альхазреда). Так вот, в произведениях Лавкрафта часто встречается художественный комментарий к каждому компоненту микрокосма, но ни разу не сделана попытка осмысления системы в целом. Понятно почему: внутреннее солнце, зажженное божественной любовью и оживляющее микрокосм, свободный двойник, побеждающий смерть «пассивного тела» холодом «звездной росы», — все это грезы мистического оптимизма. Мысль о возможном существовании органического единства, независимого от внешних воздействий, изначально абсурдна. Взаимосвязь компонентов, ущербная сама по себе, есть результат стихийной космической комбинаторики. Таков один из главных постулатов черной магии.

Конечно же, Лавкрафт не мог не отметить капитального факта: идеология современной науки слишком во многом сходна с принципами этого древнего контртрадиционного знания, и здесь нет случайного совпадения. И дело даже не только в том, что у Роджера Бэкона и Альберта Магнуса можно найти вполне «современные» пассажи касательно разнообразия дьяволических энергий, заключенных в недрах лишенной эйдоса материи. И дело не в том, что черная магия отрицает бытие божие и в лучшем случае соглашается констатировать «фанес» — атмосферу божественного вероятия. Главное заключается в следующем: «дьявол» (или злой архонт, или космократор) есть принцип бесконечной делимости и бесконечной трансформации. И еще: дьявол не обладает абсолютной креативной возможностью — он оператор, а не творец, он может создать нечто новое только из обломков старого. Поэтому «новое» — только новый способ соединения элементов в более или менее децентрализованную конструкцию, основные признаки которой транзитность и преходящность. Как заметил один немецкий философ, современник Лавкрафта, по поводу сходства науки и черной магии: «Тонкая наблюдательность и хорошие аналитические способности необходимы в обеих этих областях. И, вероятно, черную магию и позитивистскую науку объединяет единая концепция: и там, и здесь вечное привносится в жертву преходящему» (Joel K. Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mistik, 1926, S. 210). Если этот мир никогда не был озарен божественным присутствием или потерял таковое — а тому подтверждений более чем достаточно, — нам решительно нечего возразить Лавкрафту.

ISBN S-86080-001-0

Сдано в набор 02.01.90. Подписано в печать 27.07.90 г.
Формат 84x108 1/32. Бумага писчая. Гарнитура "Литературная".
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13.44. Ус. кр.-отг. 14,28. Уч. изд. л. 13.20.
Тираж 100.000 экз. Заказ N 1036. Цена договорная.
Изд. N 12-1 - 91 г.
Типография Издательства ЦК КП Республики Кыргызстан.

МП. "Пилигрим"
191028, Ленинград, ул. Пестеля, 4.



Коллекцию
Ведет
ЕВГЕНИЙ
ГОЛОВИН

Х. Ф. ЛАВКРАФТ
ПО ТУ СТОРОНУ СНА

Чтение, вероятно, не лучшее время-
провождение, но проблема нашего вы-
бора не блистает сложностью.

Когда вязкая тина бессмысленной и
стерильной повседневности засасывает
наши амбиции, когда бабочки наших
иллюзий превращаются в серых гусе-
ниц и когда телевизор ломается —
книга остается.

Несколько часов напряженного за-
бытия. Мы незримые спутники и при-
стальные созлядаты. Лежа на диване,
мы блуждаем с героями Лавкрафта
в губительных подвалах и чудовищных
лабиринтах.

На страницу глухо и тяжело падает
капля.

Мы поднимаем глаза — на потолке
расплывается пятно.

Но дождь не бывает красного цвета.
Так ли уж безопасно чтение вообще,
а Лавкрафта в особенности?